

АНДРЕЙ РЕЙЗВИХ

СТЕПЬ



Андрей Рейзвих

Степь

Историческая повесть

Минск
«Колорград»
2021

УДК 821.161.1(476)-31
ББК 84(4Бей=Рус)-44
Р35

Художник Гани Баянов

Рейзвих, А. К.

Р35 **Степь : историческая повесть / Андрей Рейзвих ; худ. Гани Баянов. – Минск : Колорград, 2021. – 360 с. ISBN 978-985-896-046-9.**

Кахар – последний представитель казахского некогда уважаемого рода, владеющего пастбищами и обширными стадами. Но ничего этого больше нет: ни аула, ни цветастых ковров в юртах, ни радостных праздников, ни отправленного в сталинские лагеря отца. Есть только годы в детдоме и бесконечное ожидание мамы, которая так и не придет. А затем – самая страшная война.

Ольга родилась на Украине в семье религиозных и честных меннонитов, предки которых переселились в Российскую империю из Германии. Они трудятся на земле, воспитывают детей и никому не причиняют зла. Но они – немцы. И при Советах их ожидают обвинение в шпионаже, каторга, Трудовая армия и переселение в голодные, бескрайние, занесенные снегами степи Казахстана, разоренного коллективизацией.

Судьбы героев и похожи, и непохожи одновременно. И вот их пути пересекаются...

УДК 821.161.1(476)-31
ББК 84(4Бей=Рус)-44

ISBN 978-985-896-046-9

© Рейзвих А. К., 2021
© Гани Баянов,
иллюстрации, 2021
© Оформление.
ООО «Колорград», 2021

*Пострадавшим от беззакония,
репрессий и депортаций посвящается.*

*Повесть основана на реальных историях
реальных людей. Они, как и мы, любили,
мечтали и верили. Только жить им пришлось
в бесправные, трагичные и очень трудные годы.*

Слова благодарности и признательности за помощь и поддержку в появлении этой книги:

прадеду Молдрахмету Кыдыралиулы, 1844–1915, летописцу, хранителю истории рода;

деду Кенжегали, 1885–1955, знатоку, хранителю истории и традиций;

Райжану Таубайулы, 1910–2007, знатоку, хранителю истории и традиций, участнику Великой Отечественной войны;

Мырзабеку Канен Коржынулы, 1930 г. р., знатоку, хранителю истории и традиций;

Кенжебеку Кенжегалиулы, 1956–2006;

Нарбаеву Рахметулле Амировичу
(все из с. Амангельды Костанайской обл.);

Гани Баянову, г. Алматы;

Александрю Алдабергенову, с. Березовка Костанайской обл.;

Геннадию Русакову, г. Костанай;

Сергею Мирошникову, 1953–2014, г. Костанай;

Есету Дауренбекову, г. Костанай;

Лидии Нагель (Рейзвих), г. Ратинген, Германия;

Зинаиде и Николаю Эрбес, г. Нойштадт, Германия;

Дине Геберт (Алдабергеновой), г. Мюнхен, Германия;

ангелу-хранителю – супруге Оксане.



*Не могут люди вечно быть живыми,
Но счастлив тот, чье помнить будут имя.*
А. Навои

Часть первая

Кахар

Глава 1

1

Кенигсберг, апрель 1945 года

Пронзительное воспоминание детства...

Бескрайняя Степь до горизонта. Полуденная дрема, солнечное марево, пыльная трава и легкий ветерок...

Он играет с жуком: черный жук ползет по кошке строго по выбранному курсу, но палец останавливает его, направляя в другую сторону. Жук на мгновение замирает, шевелит усиками, пробует залезть на палец, от щелчка отлетает и, оказавшись на спине, монотонно перебирает в воздухе своими цепкими лапками... Воспоминание пришло не отдельными фрагментами, а сразу, целиком, в одно мгновение уместив в себе необъятные степные просторы, переливающиеся волны золотисто-серого, мягкого, как шелк, ковыля, запах кизячного дыма и ощущение бесконечности детства.

После таких всплывших из глубин воспоминаний человек вдруг говорит себе в мыслях или вслух: «Хочу домой», – туда, где было безопасно, тепло и счастливо.

...Вернулась действительность. Его щека была прижата к мокрой земле, бешено билось сердце. Стучал пулемет. Пули, свистя, веером расходились над головой, резали кустарник на низком холме. Пальцы чувствовали нежные ростки травы, недавно взошедшие на поле. Перед холмом – ложбинка, мертвая зона. Взгляд машинально отметил эту ложбинку за секунду до того, как ударила пулеметная очередь, и он успел залечь. Напоролась разведка на скрытую позицию, на пулеметный расчет, вокруг чистое поле, очереди разлетаются низко над землей, не давая возможности приподнять голову.

Начало апреля. Поле возле аккуратного немецкого хутора под Кенигсбергом. Восточная Пруссия...

По всему участку фронта шло наступление, тысячи людей умирали, штурмовали, взламывали три ряда хваленной Кенигсбергской обороны, в некоторых местах артиллерия работала по 400 стволов на квадратный километр, разнося вдребезги блиндажи и укрытия, превращая искусство войны просто в мясорубку. Битва была грандиозная, но для четверых разведчиков, прижатых сейчас к земле возле хутора, вся огромная война сосредоточилась в одной точке. В бьющем по ним прицельно злыми очередями пулемете, возле которого пригнулись два человека.

После нескольких дней дождей ласково светило солнце, в саду хутора набухали соком фруктовые де-

ревья, скоро ветви должны были покрыться белыми и нежно-розовыми цветами. За полем – лесок, откуда бил пулемет. Разведчики, увешанные подсумками поверх ватников, вздрагивали спинами, когда рядом выбивались фонтанчики земли. Попались они... Расслабились, как пацаны...

Весна, воздух пахнет новой жизнью, природа расцветает, губы сами растягиваются в непроизвольную улыбку: расстегнули вороты ватников и пошли, как у себя дома. Немцы дали им понаблюдать с хутора, а потом зайти на середину поля, на открытое пространство, и ударили, как по зайцам.

Разведчики оставались опытными, проползшими войну на животе бойцами, сейчас каждый из них напряженно вслушивался в стук пулемета, стараясь не пропустить момент, когда раздастся далекий металлический щелчок отстрелянной ленты.

Знали – тогда у них появится несколько секунд.

Какар всю силу тела перенес в согнутое колено и ногу, упирающуюся в мягкую землю, готовясь к рывку. Он не видел остальных, свист пуль не давал возможности приподнять голову. В какой-то момент приглушенно лязгнула лента. По округе еще расходились отзвуки последней очереди, как он рванулся вперед и, низко пригибаясь, побежал к ложбинке перед холмом.

Действиями руководил внутренний голос, подсказки судьбы – что-то древнее, спрятанное, совмещенное с приобретенным опытом четырех лет войны. «Бежать... рассредоточиться... пригнуться... влево...

вправо...» Он упал за мгновение до того, как вновь застучал пулемет, и, быстро работая локтями, как уж, заполз под спасительную защиту холма. Еще двое успели добежать до ложбины, один остался на открытом пространстве. Сорокалетний усатый боец в грязном ватнике – при жизни безжалостный, расчетливый сибиряк Лешуков Илья Петрович. Теперь он лежал в весенней луже, и пулеметчик на всякий случай шевелил его, мертвого, очередями.

– Ну че, куда? – немного отдышавшись, спросил один из разведчиков Трофим Ярчук.

Под расстегнутым воротником его ватника виднелась застиранная тельняшка.

Ответа не последовало. Командир разведгруппы, старший лейтенант, прополз чуть вперед, повыше, приподнялся на локтях и замер там, наблюдая. Но каждому из разведчиков было ясно: вперед ползти нельзя. Назад тоже. Хорошо бы дождаться темноты, ночью бы ушли, но солнце еще высоко, да и не дадут им немцы вот так спокойно отлежаться в ложбинке. Здесь, похоже, целая система «секретов», и чем дальше они пролежат за холмом, тем плотнее их обложат.

Старлей сполз обратно:

– Влипpli!.. – произнес он, вытирая рукавом ватника мокрый от пота лоб. – Не разойдемся мы. Надо решать, мужики...

Какар прикрыл глаза. Хотелось снова хоть на мгновение вернуться в Степь, в полумрак юрты, в раннее детство, когда еще оставались живы родители и все было

как в полузабытой сказке. Пулемет простреливал пространство длинными очередями, прошелся по невысокому кустарничку – полетели, запрыгали срезанные ветки. Никуда им отсюда не уйти – по кругу повторялась в сознании тревожная, до холода в животе, мысль.

Какару было всего двадцать два года – самый молодой в группе, но он воевал уже четыре долгих, как вечность, года. Невысокий, жилистый, скуластый казах-сирота с узкими припухшими глазами. Из его призыва 1923 года рождения в войсках к концу войны в строю оставался всего один на сотню годков, остальные легли в братские могилы или оставались лежать ненайденными в лесах, овражках и болотцах, по всем местам, где прошла война. Он выжил благодаря везению и закалке, полученной в детдоме. Не на романтических книгах рос – в жесткой реальности. Старшие разведчики считали его ровней. Новобранцы-земляки по прибытии в полк сразу начинали виться рядом, пытаясь найти в нем опору. Они обращались к нему уважительно по-казахски «Ағай» (рус. дядя), хотя он был старше их всего на пару лет. Осторожность и отвага сочетались в нем в нужных пропорциях, поэтому и служил в полковой разведке.

– Ползти кому-то одному смысла нет. Не доползет никто. Всем надо прорываться, разом. Может, кому-то и повезет... – нарушил молчание Трофим.

Его синие глаза были особенно выразительны сейчас, на грязном лице. Он отвинтил крышку фляжки, глотнул, протянул ее по кругу. Сказанное опытным разведчиком было очевидным. Немцев у станкового

пулемета, как правило, человека четыре, и пристреляно все кругом, кроме этой ложбинки, а на подступах, возможно, и заминировано. Да еще наверняка крутит в эти минуты фашист рукоятку полевого телефона, вызывая минометную поддержку, – это наработанная тактика.

Убираться нужно всем сразу и прямо сейчас, раскидать дымовые гранаты – и к леску, вниз и влево, со смещением, так немцам сложнее попасть. Там переждать, отсидеться до ночи – и к своим через линию фронта.

На войне и в миру, когда решился, нужно делать что должно – и будь что будет. Как только приняли решение, сразу засуетились: снимали подсумки, развязывали вещмешки, выкладывали из карманов все лишнее, кроме патронов. Трофим, сунув за ремень поверх ватника картонный тубус дымовой гранаты РДГ-1, передернул затвор автомата и выговорил:

– Слухай, Какар! Зуб даю, отвоюем – в Казахстан к тебе приеду. С детства мечтал на верблюде, корабле пустыни, покататься, заодно и кумыса вашего попить...

Это был ритуал. Перед выходом кто-то обязательно заговаривал с Какаром про Казахстан, хмельной кумыс и про красивых круглолицых казашек. При волнении всегда кому-то требовалось поговорить. Обычно Какар при подобных разговорах лишь улыбался, а сегодня кивнул и очень серьезно ответил Трофиму:

– Приезжай, брат. Праздник-той устрой! Прокачу и на верблюде, и на белом коне.

А сам при этом подумал: «Куда приезжай? Нет у меня дома. И будет ли?!»

Они не успели. Старлей вдруг замер и приподнял голову, вслушиваясь в окружающее пространство. На войне, как и в жизни, все плохое случается неожиданно. Явственно прозвучали два далеких хлопка. Потом еще. Какар закрыл голову руками и зажмурил глаза, вжимаясь в землю. Он знал, что будет дальше. Все знали...

С воем и свистом разрезало воздух. На вершине холма два раза полыхнуло светом, ударила волна воздуха, полетела земля, и поднялся серый дым. Немцы решили не дожидаться, что станет предпринимать разведгруппа, и связались с минометной батареей. Где-то в полукилометре засуетились люди в серых шинелях у прикопанных минометов: кидали хвостатые мины в трубы-стволы, выкрашенные в грязно-зеленый цвет, приседали, закрыв руками уши. Отстреляв положенное по инструкции количество мин для уничтожения пехоты, отрапортовали: «Первый стрельбу закончил, второй стрельбу закончил».

Рвался воздух, пронзительный вой мин проникал сквозь пальцы в зажатые уши, сыпалась сверху земля вперемешку с травой. Разрывы сверкали дымным светом. Заходило в бешеном ритме сердце. И снова в который раз за день – Степь, яркое солнце, юрты и пыль за табунком лошадей. Осколок с рваными краями попал в ногу, но Какар в тот момент ничего не помнил и не почувствовал.

Опомнился засыпанный землей. Минометный обстрел прекратился, наступила тишина. Контуженный и очумелый, он некоторое время приходил в себя. В голове стоял звон, тошнило. Правую ногу словно осу-

шило. Приподнялся и сел. Кругом дым. Провел рукой по голове, смахивая землю, – рука оказалась мокрой и красной. Впереди увидел воронку и бело-розовые ошметки старлея. Понял, что его забрызгало чужой кровью, кровью командира. Оглянулся. Пониже без головы лежал его закадычный друг, ставший для него старшим братом, сержант Трофим Ярчук...

Какар бездумно, равнодушно переводил взгляд с останков старлея на изуродованное тело дружка... Отстраненно подумал: «Неплохой был командир, не трус и не карьерист – в разведке таких уважают. Ходил как они – сродненным с землей: в порах кожи несмывающиеся черные точки, руки и лицо землистого цвета, впитавший жидкую грязь ватник, перетянутый портупеей. Не приказывал – спрашивал, советовался. И вот от него одни ошметки...» Трое его товарищей лежали мертвые, обезображенные, а он сидел с ними рядом, контуженный, опустошенный, равнодушно и машинально переводя взгляд с одного на другого, на третьего.

Шок проходил. Накатывала боль.

Посмотрел на ногу и увидел на правом сапоге среди прилипшей грязи рваную дыру с оплавленными краями в районе ступни. Несколько мгновений сидел, сжав зубы, стараясь унять сердце. Он уже бывал ранен, понимал, что надо делать дальше. Сапог снимать не стал, зная, что сразу станет дурно. Стараясь чаще и глубже дышать, достал нож. Разрезал голенище и штаны, острая финка с трудом кромсала промокшую вату. Он пытался остаться спокойным, заставляя себя думать только о том, что делает. За разрезанными кальсонами показалась белая,

с разводами грязи кожа. Разорвал индивидуальный пакет и, наложив петлю жгута чуть выше колодки сапога, сухо всхлипнув, затянул что было силы жгут.

Тут и пришла настоящая боль, зажгла, закрутилась в сознании огненными кольцами. Успел подумать, что хорошо бы написать химическим карандашом прямо на коже возле жгута время наложения, но, потеряв сознание, завалился на бок.

Готовилось наступление, они недалеко отошли от переднего края, им надо было только провести инженерную разведку, посмотреть, что там за поле за хутором, что в лесочке за полем на предмет прохода батальонов. Эти батальоны и пошли часами позже, а Какара нашли санитары с ребятами-разведчиками из группы прикрытия.

Но он тогда этого не понимал.

Плыл куда-то по течению, где нет ни детства, ни пространства, ни времени.

2

Проблемы эвакуации раненых начинались еще с первичных пунктов.

Не хватало транспорта. Легкораненых с передовой отправляли в медицинский санитарный батальон пешком. Даже раненых в голову. Группами и по одному они брели в тыл. Получалось – ловили попутки. Нетранспортабельных отправляли при первой возможности, но, если бомбили, этой возможности приходилось

ждать сутками. А санинструктор в батальоне мог лишь поправить жгут, сделать противостолбнячный укол и перевязать, посыпав рану стрептоцидом.

Но часто и этого не бывало. Особенно если на участке фронта шли активные действия. Отправляли в медсанбат таким, какой есть. В медсанбате тоже могли забыть. В далеких тыловых госпиталях иногда возмущались, что людей привозили вообще без первичной обработки раны, даже без наложения повязки, и их нательные рубахи не отдирались от запекшейся корки крови. У таких, как правило, в карточке появлялась надпись «газовая гангрена».

Какару повезло на всех этапах транспортировки. Санинструктор, девушка с погонами старшего сержанта по имени Галя, черноглазая, с родинкой на матовой щеке, первым делом попросила санитаров разрезать колодку его сапога. В полку к разведчикам было особое отношение, кроме того, Какар считался «старичком», выделяясь из постоянно меняющейся массы солдат, и наград у него было побольше, чем у многих офицеров.

Медпункт располагался в длинном одноэтажном здании в недавно занятом поселке, недалеко от штаба. Стекла в здании были выбиты, окна завесили плащ-палатками для светомаскировки. Несмотря на утро, здесь царил полумрак. Горели керосиновые лампы под потолком, освещая импровизированный стол, сделанный из носилок, стоящих на козлах. Кто-то стонал. Какар пришел в себя. Стиснув зубы, он приподнимал голову, стараясь посмотреть на ногу, которую держали на весу. Ножницы вгрызались в жирную от крови портянку. Капало на пол.

– Зафиксируйте ногу... – коротко отдавала приказания санинструктор.

На месте ступни оказалось месиво из почерневшей крови, грязи, осколков костей и обрывков кирзы и ткани. Всплыло в памяти: Ржев, снег, поле в черных воронках от артиллерийских разрывов, и его друг Бахчан, имя которого можно было перевести с казахского как «счастливая душа», вот так же смотрел на свою ногу со срезанной осколком коленкой и кричал по-казахски в полный голос: «Ойбай! Ойбай-ай! Ей, Алла! Саған не істеп едім! Көрсетейін дегенің осы ма еді?!» (рус. Ойбай! Ойбай-ай! За что мне это?!). По его лицу текли слезы, и глаза были пронзительно-жгучие, прозрачные, какие-то неземные, словно он в тот момент видел Аллаха...

– Так... Жгут. Молодец, боец, кровью бы точно истек, – произнесла санинструктор и, не ожидая ответа, скомандовала: – Режьте жгут.

Ниже жгута все было набухшим, иссиня-черным.

В этот момент в медпункт зашел командир полка подполковник Аляксин. Он направился к перевязочному столу.

– Жунусов. Ты один? А остальные? Что ж вы, разведка?..

Какар промолчал в ответ. Природный, чуть смугловатый цвет его лица стал бледнее, четко обозначились морщинки, как у старика. На лбу проступали крупные капли пота.

– Опытные же, – подполковник снял с головы фуражку, взъерошил волосы и с размаху надел фуражку

обратно. – Чего вы на то поле вообще полезли? Среди белого дня?.. Да еще все вместе... Решили хутор на предмет трофеев проверить? Всю группу положили... Старичков в полку по пальцам пересчитать, состав за месяц почти полностью сменился. И где я теперь разведчиков найду?..

Командир переживал о своем. Задерганный – шло наступление. На летнюю форму еще не перешли, в шинели ему было жарко, а без нее холодно. Под перетянутой португеей шинелью орден Отечественной войны на новенькой полушерстяной гимнастерке. Посмотрел на месиво вместо ступни Какара и с досадой бросил санинструктору:

– Да что ты там рассматриваешь? Видно же, что отвоевался. Давай, отправляй его в тыл...

– Я сама знаю, что мне делать, – неожиданно резко ответила девушка, и было понятно, что это у них продолжение какого-то бесконечного спора, постоянного выяснения отношений, начинающегося с любой фразы. – Какар, потерпи, дорогой, – с подчеркнутым вниманием произнесла она. – Сейчас я тебе рану обрабатую... Ты живучий, потерпи, все будет хорошо...

Командир несколько секунд молча постоял, потом нагнулся вплотную лицом к лицу к Какару и тихо, не по-уставному произнес:

– Держись, солдат. Спасибо за службу и прощай.

Резко выпрямился, четко через левое плечо развернулся и быстрым шагом вышел из помещения.

А с его уходом пришла настоящая боль. Ногу словно сверлили ледяным сверлом, Какар стонал, уже не сдерживая себя, и трясся от озноба. Санинструктор пинцетом повытаскивала торчащие куски кирзы, портянки, мелких костей. Воспаление поднялось высоко по лодыжке. Она обработала рану стрептоцидом, сделала новокаиновую блокаду поверх красноты и плотно забинтовала. Потом его напоили сладким горячим чаем, чтобы хоть как-то согреть и восполнить кровопотерю.

Отправить в медсанбат покалеченного разведчика удалось быстро: по всему фронту шло наступление, порожних попуток назад в тыл возвращалось много. Спустя всего час-полтора Какар вместе с другими ранеными трясся в кузове полуторки, корчась от боли на ухабах полевых дорог, изрытых тяжелой гусеничной техникой. Шло наступление на укрепленный город.

Война оставалась позади, но он этого тогда не воспринимал. Уходили в прошлое лица погибших товарищей и сотни других, уже размытых в памяти образов, уходили в безвозвратное прошлое яростные атаки, остервенелые рукопашные схватки, горечь отступлений, зарево горящих городов, походы за линию фронта за языком, нестерпимые зимние дни и ночи в засадах на вражеской территории, когда промерзала насквозь каждая клеточка тела, а согреться, развести костер значило обнаружить себя и, не выполнив задания, погибнуть.

Уходили в прошлое и зарево горящих деревень, разбитых бомбежками городов, трупы мирных жителей, детей и накопленный за годы войны страх. Он, молодой, покалеченный солдат, еще не знал, что все оставшиеся

ему на земле двадцать лет жизни будет цепляться памятью за это время. Время, когда радость была настоящей радостью, а беда бедой, когда для счастья надо было всего лишь пережить день и товарищ оставался товарищем: не бросит, не оставит – спасет. Иные и не запоминались.

С пронзительной ясностью он ощутил, что земля становится родной от количества закопанных в нее боевых товарищей, от густо политой на нее и за нее крови. А значит, и эта немецкая земля Восточной Пруссии навсегда осталась для него и русской, и украинской, и казахской.

В медсанбате, развернутом в палатках, раненые первым делом попадали в сортировочное отделение, где им по нормативам за сорок (!) секунд должны были поставить точный диагноз и расписать по направлениям и очередности на операцию. Едва глянув на обнаженную распухшую ногу и рану Какара, дежурный врач санбата определил – на ампутацию.

Ногу ему молча отпилил хирург без лица, в надвинутой на лоб белой шапочке и застиранной марлевой повязке до глаз. От наркоза отходил тяжело в палатке, забитой ранеными, они поочередно или сразу в несколько голосов кричали, зовя сестричку или санитарку, те безостановочно сновали между ними, поили водой, кололи обезболивающие, перевязывали и уносили тазы, полные кровавых комков ваты, марли, бинтов.

Минно-осколочные ранения имеют свою особенность: из-за ожога прилегающих тканей и загрязнения рана быстро начинает кваситься, краснота поднимается по ноге все выше, и наступает заражение крови, бич фронта под названием «газовая гангрена». Тогда в тыл можно было уже не попасть. После опыта первых лет войны особо тяжелых оставляли в медсанбате. Транспортировка их была запрещена – вплоть до трибунала. Чтобы не занимать места в санитарных эшелонах и койко-места в госпиталях. Они оставались в палатках.

Лежал рядом обгоревший танкист, обложенный, как снеговик, толстым слоем ваты под бинтами, с розовым кругом на марле – там, где дырка рта. И невозможно было смотреть и слушать, как он повторял постепенно слабеющим голосом: «Братцы, отправьте в тыл... я честно воевал, я хорошо воевал... У меня дома дочка маленькая... Там меня вылечат, отправьте, братцы...»

Врачи и санитары на таких безнадежных старались не смотреть. Берегли нервы. Если они еще оставались...

Какару поставили в карточке резолюцию на отправку и перевели в эвакуационное отделение. Образцово-показательные санитарные поезда – с операционными, перевязочными, с заботливыми медсестрами, какие показывали в советской хронике, – ходили где-то в другом измерении. Как правило, раненых отправляли в легучках, санитарных эшелонах, в обычных товарных вагонах без отопления, без надлежащего количества нар, матрасов, одеял и сена, чтобы лежать на полу. Часто раненые ехали без перевязок по 8–10 суток.

Какару снова повезло: в эшелон его погрузили в теплушку, в отапливаемый вагон. Он словно ссохся, стал маленьким, скулы остро выступили на его широком лице, в глазах и мыслях оставалась пустота и боль. Почти ни о чем не думал. Вслушивался в тишину в вагоне, прерываемую стуком колес и чьими-то стонами.

По ночам долго смотрел, как старшина разжигает печь-буржуйку, пьет черный, как деготь, чай, курит махру, неотрывно смотря на огонь. Чтобы отвлечься от боли и навалившейся тоски, старался вспомнить что-нибудь хорошее. Но вместо этого перед глазами постоянно всплывала земля.

Мерзлая, как камень, или жидкая от воды, хлюпающая грязью в окопах, налипающая огромными комьями на сапогах. Сухая и пыльная. Разных цветов и оттенков – желтая, коричневая от глины, жирная и черная, полная перегноя. Ему казалось, что за четыре года он сроднился с этой землей – столько он ее перекопал и поползал по ней, при бомбежках и артобстрелах прижимаясь к ней, как к родной матери.

И если его не забрала к себе эта земля, тянувшаяся корнями трав к почерневшим Иванам, Болатам и Трофимам, значит, ему дан самый ценный дар – время.

Время на что угодно. Найти себя в будущей жизни, встретить жену и нарожать детей, вместе с ними пережить детство, светлея душой; время написать письмо со словами благодарности Галине, санинструктору с родинкой, увидеть не во снах, а наяву родную Тургайскую степь, приехать к такому же инвалиду – другу Бахчану в его Березовку, обнять и сказать: «Вот и я! Здравствуй, брат!»

Война отдавала его обратно – искалеченного, но отдавала. А все остальное было неважным. Тот, кто умирал много раз, знает, что все, что не смерть, есть жизнь.

3

Для Какара военный путь начался летом 1941 года.

Эшелон из города Кустаная, что вез призывников, остановился на каком-то уральском полустанке. Кругом стоял туман, продолжение вагонов терялось за серой дымкой. Близкий паровоз, всю последнюю неделю грохотавший на стрелках, стоял тих и неподвижен. В тумане проглядывались очертания невиданного леса, темных елей, подступивших к полотну. И угадывалось, что этот угрюмый лес такой же огромный и нескончаемый, как Степь.

Тишина закончилась, паровоз со свистом выпустил пар, загрохотали двери теплушек, из них посыпались призывники. Закричали с разных сторон старшины, и безликая масса людей, кое-как с руганью и матом построенная в десятки, маршем двинулась по лесной дороге.

Состав новобранцев-призывников был разномастным, в основном казахи и русские, еще украинцы, киргизы, узбеки, белорусы – мальчишки, которым исполнилось по восемнадцать-двадцать лет: с чубами, в кепках, в праздничных белых рубашках, в которых шли в военкомат, а теперь почерневших от грязи в эшелоне, в пиджаках, в войлочных казахских шапках, в парусиновых туфлях, с котомками и торбами – все оторванные от

мамок, зацелованные со слезами на проводах. Или такие, как Какар, – побритые наголо бывшие детдомовцы, которым не с кем было прощаться-целоваться.

Привели всех в полуподвальное темное здание без окон, бывшее овощехранилище, приспособленное под карантин. Сам военный городок запасного полка, где формировали маршевые роты, находился за высоким забором. Пола в казарме не было, под ногами песок, покрытый еловыми лапами. Пахло хвоей.

Первый день в армии запомнился бесконечным и суетливым. Из военного городка пришли три солдата-парикмахера. Мучительно и долго наголо стригли будущих солдат заедающими механическими машинками, потом пополнение проходило санобработку, мылись в бане, а когда их с загорелыми лицами и белыми лысынами после бани переодели в военную форму, многие вообще перестали узнавать друг друга, смеясь и удивляясь, показывали друг на друга пальцами, спрашивали: «Это ты, что ли?»

Возвратившись в казарму, обнаружили, что почти все торбы с остатками домашних продуктов выпотрошены начисто. Причем постарались свои же. Проворным досталось вяленое мясо – сур ет, колбаса из конины – шужук и казы, твердые сухие белые шарики творога – курта, баурсаки – брусочки кислого теста, обжаренные в кипящем жиру, иссохшие домашние лепешки и, конечно, сало с цибулей, куда уж без них в дороге.

Наука – в большой семье не щелкай... Здесь каждый выживает как может. Наверное, в ту первую ночь

многие тихонько плакали, еще цепляясь за исчезнувшее прошлое. Какару к такой жизни привыкать было не нужно, он другой и не знал.

Месяцы учебки запомнились голодом, постоянными мыслями, где что раздобыть, практическими занятиями по оружейной матчасти, муштрой, тыканьем деревянной винтовкой в чучело, дремотой с открытыми глазами на политзанятиях, жарой, грозами и запахом еловой смолы от свежевывструганных досок на нарах.

В запасных полках находились и фронтовики, попадающие сюда, как правило, после ранения или после расформирования своих разгромленных частей. Некоторые из них переводились в постоянный состав – обучать молодежь, другие ожидали отправки с маршевыми ротами. Те, кто ожидал отправки, внутренне матерились: гори они огнем, эти запасные полки с их голодом и бардаком, прикрытым красными кумачовыми лозунгами. Другие оставались с явным облегчением и рьяно гоняли молодняк, плохо понимающих по-русски азиатов, чтобы начальство отметило и оставило здесь как можно дольше.

Рота разбилась на группки по землячеству и интересам. Какар еще в Кустанае на эвакуационном пункте подружился с одногодком Бахчаном, крупным, статным, под два метра ростом, красивым белолицым казаком. Оба отлично говорили на русском языке, были веселыми, компанейскими ребятами. Они как-то сразу сблизились, всегда были вдвоем, легко ввязывались в возникающие редкие разборки и били первыми, зная, что или дашь

кому-нибудь перейти незримую черту и будешь тряпка, о которую все вытирают ноги, или покажешь себя мужчиной, с которым считаются сильные.

При распределении в спецроты те, кто успел прогнуться и услужливостью приглянулся начальству, попали в хорошие, сытые места – в химчасть, на конюшню, в фуражно-продовольственные отделения. Какара и Бахчана определили к пулеметчикам: Бахчана больше за физическую силу – таскать на горбу станок «максима», он выглядел настоящим батыром, Какара – за смекалку и знание матчасти. Минометчикам и бронебойщикам тоже не завидовали, им пришлось таскать минометные плиты и пэтээры.

И вот наступил тот день, к которому их готовили. Три месяца подготовки в запасном полку закончились. Из новобранцев сформировали маршевые роты и выдали со склада новенькое обмундирование, шинели, тяжелые винтовки, патроны, подсумки, пулеметы – все необходимое, чтобы они сходу смогли вступить бой, в огонь, который пожирает маршевые роты, как печка деревянные чурки. Их повели той же лесной дорогой, только по уже осеннему лесу к эшелону с открытыми теплушками.

Начинался октябрь, среди темных елей вспыхивала пронзительная ярко-красная и желтая листва осин. Высоко в небе улетал с подмерзающих моховых болот на юг журавлиный клин. Через несколько дней клин будет пролетать над бескрайней Степью, откуда родом эти маленькие фигурки в шинелях внизу.

– Молча летят. Раньше курлыкали... – произнес усатый сержант в годах, возвращающийся вместе с их ротой на фронт.

Какар посмотрел на него, ожидая продолжения фразы, но сержант больше ничего не сказал. Был угрюм и сосредоточен.

Когда погрузились в вагоны, двери теплушки оставили приоткрытыми. Хотелось посмотреть на краски осени. В вагонах насыпали табак в самокрутки щедрой рукой. Все тоже стали угрюмыми и серьезными, как тот бывалый сержант, даже те, кто изначально в любой ситуации играл роль шутов.

Состав дернулся, потом медленно, наваливаясь своей массой на рельсы, тронулся с места и, набирая скорость, стуча на стрелках, пошел на запад, на войну.

Откуда, если повезет, можно вернуться и живым, и даже нераненым, но никогда – прежним.

4

Первый бой остается в памяти у всех. Какими бы ни были страшными последующие бои, они стираются в памяти, уступая место более свежим. Но первый бой остается навсегда, до мелочей, до отдельных пронзительных картинок со звуками и запахами. У их полка первое сражение с врагом длилось без перерыва больше десяти дней.

Пополнение привезли куда-то под Малоярославец. Выгрузили из эшелона. Шли колонной, ночью, темно-та вдали озарялась мигающими красноватыми вспышками. Почти непрерывно слышались раскаты, словно к ним приближалась гроза. На рассвете вышли на опушку леса, за которым виднелась дорога, лески и поля.

Какой-то незнакомый командир с кубиками на грязной шинели, казах, не представившись, ничего не объяснив, сходу скомандовал:

– Занять позиции! Стоять насмерть. Кто побежит – лично расстреляю! – И, проходя вдоль шеренги, почему-то повторил приказ по-казахски, грозно поглядывая на солдат-земляков.

Окопы были вырыты не глубже, чем по колено. Пулеметный взвод, усиленный отделением бронейщиков, распределили по флангам стрелковой роты. Рядом расположились курсанты подмосковного артиллерийского училища, русоволосые мальчишки, успевшие отучиться по пятнадцать дней. Испуганные, со стеклянными глазами – такие же, как прибывшие с Какаром солдатики. Лихорадочно окапывались в рассветных сумерках. Какар запомнил, как дрожали руки, когда набивали парусиновые пулеметные ленты патронами. Не успели они еще толком прийти в себя, как начался артиллерийский обстрел. Немцы долго били по опушке. Снаряды пролетали над траншеями с низким гулом, ахая и светясь вспышками в роще. Деревья ломались, как спички. Взрывы позади рвались с треском и грохотом молний и свистом разлетающихся осколков.

Какар все время спрашивал себя: «Не страшно?» – и тут же мысленно отвечал: «Не страшно». Хотя от дрожи стучали зубы. Было абсолютное ощущение нереальности. Кроме шока, еще оставалось чувство, что все это происходит не с тобой, что ты посторонний зритель в чужом сне. Не верилось, что вот сейчас можно умереть.

А затем в какой-то момент в небе раздался рев пикирующих самолетов. И тут же пронзительно завывали бомбы. Все случилось как-то мгновенно.

Вот тогда пришел страх – панический, от которого хотелось превратиться в дождевого червя и вкрутиться в землю как можно глубже. Или бежать без оглядки туда, где этого не слышно. Какару казалось, что он мог только вдыхать, а выдохнуть почему-то не мог – не получалось. Представлялось, что вот сейчас от самолета отделяются бомбы, и одна из них, тяжелая, кружится, падает прямо на его стриженую голову, и через секунду его разорвет на мелкие клочки и раскидает по поломанной роще, по полю, перепаханному воронками.

Вздрагивала, вставала фонтанами в небо земля. Курсанты с фланга побежали.

– Танки! – дошел до сознания срывающийся крик.

Какие-то фигуры побежали в дыму вслед за курсантами. В первом бою сразу определяется, кто есть кто. Причем очень быстро. И помимо воли. Страшно всем, но кто-то терпит свой страх, как боль. Главное, чтобы в такие минуты рядом нашлась стена, на которую можно опереться хоть взглядом. Стержень, вокруг которого собирается оглохшее, обмочившееся, но не побежавшее подразделение. У них в пулеметной команде таким оказался старшина Иван Кожин, основательный, хладнокровный помор, уже побывавший на войне и понюхавший передовую еще в финскую, – единственный, кто знал, что надо делать.

– К пулемету, быстро, – погнал он пинками скрючившихся в низком окопе друзей.

Первый номер, друг Бахчан, суетливо смахнул землю с пулемета, убрал предохранитель, нажал на гашетку и одной длиннющей очередью за полминуты расстрелял всю ленту в сторону неприятеля. Какар тут же

вставил вторую ленту, протянул ее в лихорадочной суете, ему стало легче, появилось дело.

– Короткими, короткими, мудаки! Прицельно! – кричал старшина Бахчану. – Гранаты готовьте!

Танки – их было видно ясно и четко – катились от дороги по полю прямо на них. А за танками, прячась за броней, серыми кучками бежала пехота. На удивление, танки приближались как-то очень быстро. Рокотали перегазовкой, было слышно, как лязгают траки на гусеницах. Где-то в окопах роты сверкнуло, разорвало воздух выстрелом из ПТР, искрой прошло по одному из танков.

Дальше в памяти сохранились обрывки. Бахало кругом. Таймас, тоже подающий, высунулся за полусрезанный бруствер окопа, выстрелил из винтовки в приближающийся танк, затем с искаженным лицом, заходясь в крике, бросил гранату, не докинул, бросил в танк винтовкой, затем сорванной с головы каской и, получив по уху от своего первого номера, сел на дно окопа с одуревшими глазами. Позицию у опушки, где стояло единственное орудие – сорокапятка, несколько танков расстреляли в упор, а потом катались по окопам, живо хороня в них бойцов.

Запомнилось, как бутылкой с зажигательной смесью попал в бензиновые баки вражеского танка шустрый земляк Есет, который при знакомстве в вагоне эшелона в шуточной стихотворной форме представился им с Бахчаном:

– Я Даурена сын, Есет из Кенерал,
Моя судьба-кисмет, я буду генерал!

И пояснил:

– Кенерал – село на реке Уй в Федоровском районе.

За грохотом боя было не слышно, как о броню разбилась стекло, за башней появилось огненное пятно, но танку было все равно, он прорвался на соседние позиции и крутился гусеницами, ровняя людей с землей, а потом вдруг запылал.

Кто-то словно хорошенько вымочил малярную кисть в крови и махнул ей на Какара, враз обрызгав, а потом оказалось, что это Болат, земляк-пехотинец, лежит рядом и у него нет лица.

Атаку каким-то чудом они отбили, несколько танков осталось дымиться в поле, но им даже не дали оглянуться вокруг себя, снова начался артналет, а затем самолеты. Только били на этот раз немцы уже не квадратами, а по проявленным огневым точкам. И они с Бахчаном ползли менять позицию – оказалось, что ползти вместе с пулеметом невыносимо тяжело и неудобно. Также оказалось, что пулемет «максим» – не совершенство техники, как говорили, что он закипает, а большая фляга с водой, специально для охлаждения, лежит развороченная осколком на дне окопа, и они с Бахчаном лили в горловину раскаленного кожуха воду из своих фляжек.

Запомнился сбежавший курсант с выжженными, словно запеченными, глазами, кричащий и зовущий маму, и сам Какар, уже лежащий за соседним пулеметом и бьющий, как приказал старшина, короткими злыми очередями – желая драться, желая убить, уничтожить каждого из немцев, кто бежал за следующими танками.

С той атаки от роты осталась пятая часть – около тридцати человек. Их выбили артиллерией с позиций, они очутились в лесу за опушкой, еще час назад раскрашенной в краски осени, а сейчас разбитой, с торчащими метровыми пнями, с посеченными пополам березами. Никто не дал опомниться, только успели попить воды из чужих фляжек да стереть с лиц кровь и грязь. Остатки рот соединили вместе с собранными по лесу разбежавшимися курсантами и другими солдатами и отправили обратно – занимать те же раскуроченные позиции, потому что нельзя было отдавать немцам дорогу за полем: дорога вела на Москву и был приказ стоять насмерть.

И снова все по кругу. На фронте опытными бойцами считаются те, кто пережил три атаки. Какар с Бахчаном пережили несколько суток непрерывных атак. Кидали бутылки, кидали гранаты, били из пулемета, у которого постоянно заклинивало затвор не полностью сгоревшим порохом. По-звериному дрались, врукопашную, и оказалось, что это самое страшное, что есть на свете. Рвали с немцами друг друга, заходясь от диких криков, валились один на другого, ища пальцами чужие глаза, раздирая друг другу рты, впиваясь зубами в лица. Винтовки оказались совершенно непригодны, возможность выстрелить была всего один раз, потом приходилось дергать затвор, а времени на это не оставалось. Ползали, оглохшие после бомбежек, откапывали друг друга из черной дымящейся земли.

Дедушка Какара не зря ходил в паломничество семь раз в Мекку, видно, отмолил его, и за Бахчана тоже кто-то молился; а может, родители и все предки помогали им с неба, посылая ангела-хранителя.

И наверное, в эти первые безумные, жестокие и страшные дни Какар с необыкновенной ясностью в уме осознал, что лгали воспитатели в детском доме и политруки на политзанятиях о том, что на свете нет Бога. Если Бога нет, то в никуда уходят людские мольбы, страдания, страхи, любовь, вера и надежда. А такого быть просто не может. Он есть. И все без исключения, верующие и неверующие, в самые трудные мгновения своей жизни, обращаются к Нему первому!

Непонятно как, но они выжили. Черные, оборванные, в обгоревших шинелях, бурых от пятен крови, с безумными глазами, контуженные по несколько раз – но выжили. Продолжая в мыслях воевать, материться, биться, бежать.

От полка из трех тысяч личного состава в живых осталось полторы сотни человек. Все они даже не осознавали, что вышли из боя и будут жить дальше. Их привели в тыл, а оттуда отправили эшелонам на Урал, на переформирование в такой же запасной полк, откуда они прибыли, – с казармами и кумачовыми лозунгами на штабе.

Прошло каких-то два десятка дней с тех пор, как они ехали на фронт той же дорогой. В вагоне почти не разговаривали, отходили от кошмара первых, самых трудных, убийственных дней войны. Им надо было заново научиться жить. Все они были уже другими людьми, увидевшими жизнь человеческую в самом диком ее обличье – в виде разорванных, задавленных, убитых навсегда земляков, друзей-товарищей. Один из них, выживших в этой безумной мясорубке, застрелился прямо в вагоне. Молча и просто. Из трофейного, взятого в рукопашной грызне пистолета.

Пошли затяжные дожди, через несколько дней повалил мокрый снег. На одном из полустанков они открыли двери теплушки: вокруг все было белым-бело, высились темные ели в шапках белого снега. Наступила зима.

Потом был ад – десять месяцев бойни в болотах под Ржевом. Сражение под Ржевом в газетах преподносили как бои местного значения, но на самом деле это была битва – не менее кровавая, чем в Сталинграде. Просто трагическая и неудачная, в которой погибло около четырехсот тысяч советских воинов. Каждый третий-четвертый, участвовавший в войне, воевал в тех местах.

И для каждого операция на Ржевско-Вяземском плацдарме осталась в памяти самыми страшными, самыми печальными днями Великой Отечественной войны.

Был приказ – наступать. Немцы закрепились на высотах, наши батальоны ползли из болот к тем высотам, а их сверху секли пулеметами. Приказ «Ни шагу назад» имелся не только у Красной армии, немцы карали своих отступавших не менее жестоко. Побежавших расстреливали перед строем, даже тех, кто сошел с ума. Похоронные команды на передовой не показывались, в памяти остались «долины» и «рощи» смерти, где трупы лежали один на другом в три уровня. Зима, окопы, где по колено воды со льдом и где под водой лежат мертвые, по которым приходилось ходить ногами. Сошедшие с ума молодые солдатики, хохочущие в осклизлых траншеях, один человек, оставшийся в живых со всего батальона и потом поющий с пеной у рта

«Расцветали яблони и груши». Он так и не понял, что все погибли, его уводили, а он пел и старался обернуться туда, где остался его мертвый батальон.

Там, под Ржевом, Какар видел, как плачут командиры полков, – взрослые сильные мужчины плакали, как дети.

Зимой снег вместо воды в кожухе пулемета, рвань шинелей, белые от инея брови. Замерзали до обморожений. Смертная тоска и отчаяние. Одним морозным утром Бахчан по-казахски сказал ему тихо: «Болды, жетер, бұданәрі соғысқым келмейді» (рус. Не могу, не хочу больше воевать). Ангел на его плече – окровавленный, израненный, замороженный – устал защищать. А через два дня Бахчану осколком снаряда срезало колено. Какара этим же взрывом оглушило и засыпало землей. Кругом стоял дым, он едва услышал крик и подполз к другу.

Бахчан, зажав двумя руками колено, катался по земле и кричал на родном языке.

– Сейчас, сейчас, – торопливо выговаривал Какар.

Перебинтовывать было бесполезно. Оставаясь лежать, он попробовал снять с винтовки ремень, но замерзшими, непослушными пальцами замки оказалось не разжать. Тогда он просунул брезентовый винтовочный ремень под набухшую кровью ватную штанину и принялся проворачивать винтовку по кругу, стягивая штанину чуть ниже паха брезентовым ремнем, как жгутом, пока не начало хрустеть. Из глаз Бахчана лились слезы, он кричал не останавливаясь.

– Потерпи, брат, потерпи... Сейчас, сейчас, – приговаривал Какар.

Тяжелую, неудобную винтовку прокручивать было трудно, но он знал, что делает. Ремень заплелся в тугую косичку, а сама винтовка превратилась в шину, привязанную бинтом к ноге. Так часто делали, когда выносили из боя. Затем, ухватив за мокрый ватник, рывками тянул друга за плечи, стараясь покинуть зону обстрела. Воротник давил Бахчану на горло, он старался помочь товарищу, загребая руками мерзлую землю.

– Не попали в нас... Может, еще и не попадут... – задыхаясь, приговаривал Какар, со стоном перетаскивая друга на метр, затем замирая на несколько секунд.

Понял, что так не вынесет, разложил Бахчана крестом, лег на него спиной сверху, перевернулся с ним на живот и потащил на спине на четвереньках. Перед глазами от напряжения плавали красные круги, сверкало и ахало со всех сторон, разлетались в дымном небе бледные огоньки трассеров, а он все тащил друга, и не хватало даже сил крикнуть: «Санитары!» Каска с головы Бахчана слетела, стриженная наголо голова безвольно болталась за спиной. Он потерял сознание. Какар дотащил его до траншеи опорного пункта – дальше было нельзя, существовал специальный приказ, запрещающий бойцам проводить эвакуацию раненых с поля боя, иначе с каждым раненым уходили бы дезертиры. В траншее Бахчана приняла бойцы.

– Бахчан. Бахытжан. Брат... Они тебя доставят врачам... Только не умирай, не сдавайся... Я тебя в медсанбате найду, а сейчас мне к пулемету надо. Жди меня, брат, – прощался с другом Какар.

Но Бахчан его не слышал.

К вечеру, когда бой утих, Какар договорился с ротным, что завтра с попуткой съездит в медсанбат, отвезет личные вещи друга. Положил в вещмешок немецкий нож и трофейный фонарик, чтобы санитары в медсанбате пошустрили насчет обезболивающего, записали пораньше на эвакуацию. Но не получилось. Ночью их отрезали от тылов, они попали в котел, и больше Бахчана он не видел.

А когда вышли из котла, ранили и самого Какара. При атаке получил тяжелейшую контузию и сноп мелких осколков в спину. Рота отползла – кто остался жив, а он несколько часов пролежал на снегу. Помнил снег, тени и брызги искр взлетающих по дуге осветительных ракет. Ночью к нему подползли по сугробам, обмотали веревкой и на этой веревке дотащили до своей траншеи. Кроме ран, получил еще обморожение рук, потом руки ожили, только кожа сошла на пальцах.

Госпиталь, реабилитация, 382-й запасной полк, затем 12-й запасной. В запасном полку перед отправкой маршевой команды на фронт он переоделся в парадную форму: на груди нашивки за ранения, орден Красной Звезды, ряд медалей, самыми главными из которых считал медали «За отвагу» за Ржев и «За оборону Москвы». Двадцатилетний парень, с резко очерченными скулами и лучиками морщин возле узких, чуть припухших глаз, во взгляде которых чувствовались достоинство, сила и затаенная ярость настоящего воина. Он стал соответствовать своему нареченному имени: Какхар – «боль, ярость».

Новобранцы-земляки, взирающие на него как на взрослого мудрого дяденьку, как когда-то он сам

глядел на фронтовиков, спрашивали его: «Как там, на войне?» А он смотрел на них и не знал, что им ответить. Словами было не передать – как там. Вместе с заново сформированной армией он попал на 3-й Белорусский фронт, уже в штате полковой разведки. В нее брали добровольцев. Какар перешел в разведку, понимая, что он один на земле, терять ему некого и нечего, у него есть накопленный опыт и знания, чтобы справиться с этой службой. Ему нужно было мстить. За пережитое.

К фашистам был беспощаден. Ненавидел их. Все их ненавидели. Собирали у убитых, зарезанных ими фрицев фотографии их девушек и желали найти в Берлине, отвести душу – было в этом что-то затаенное, мстительное, звериное. В разведке, сначала в группах обеспечения, прикрытия, а потом захвата, Какар прошел, прополз до Белоруссии, затем Прибалтику. До Берлина оставалось недалеко, но не повезло...

Остановил пулемет у аккуратного немецкого хутора в Восточной Пруссии.

В санитарном эшелоне Какар часто возвращался памятью к моменту своего ранения. Горели огнем швы на культе, заходила кость, жар разносился по всему телу, выступал желтым налетом на губах. И все же он понимал, что ему повезло. Ему раньше не верилось, что он доживет до конца войны. Не сегодня – так завтра, не завтра – так через неделю... Когда-то ему не верилось, что его могут убить, а потом не верилось, что он может выжить. Мечтал – но в глубине души не верилось. Как-то странно, нереально: он – и нет войны... Можно спать и во сне не ждать, что сейчас позовут

бежать, ползти, прятаться под маскхалатом, взрывать, брать языка, душить, убивать.

– Ну вот, скоро приедем, – говорила ему санитарка, делая перевязку, снимая с культи присохшие, розовые от сукровицы бинты. – Там подлечат – и домой.

– Радоваться буду, – облизнув высохшие губы, неожиданно сказал он санитарке, словно она спрашивала, чем он будет заниматься по жизни дальше.

Ему дан драгоценный дар – время. Он давно умер вместе с товарищами, просто ему дали возможность еще немного порадоваться жизни: новому рассвету, виду улыбающихся девушек, цветущим садам, запаху сирени и безмятежному, бездумному сидению где-нибудь на лавочке в сквере, – послушать пение птиц или просто погреться на ласковом солнышке.

Он никогда не читал книги философов, сама жизнь открывала ему познания сокровенной мудрости. Он понял, что те, кто вечно чем-то недоволен, недостойны и того, что имеют. Счастье – это когда ты способен радоваться каждому новому дню, каждому новому рассвету.

И война научила его этому.

Она подхватила его в водоворот, опускала на глубину, кружила и топила, взрывала, расстреливала, но потом сжалась и отпустила жить. А тағдыр-кисмет, трагическая судьба земляка Есета, друга Трофима, как и миллионов других солдат, офицеров, курсантов, ополченцев со всего Советского Союза, – остаться навсегда в братских и безымянных могилах на полях страшных

и кровопролитных сражений под Ржевом, Вязьмой, Малоярославцем, Серпуховом, Псковом, на Курской дуге, в битвах за Сталинград, Киев, за Днепр. Какар не знал, что в боях за Москву погибли ближайшие родственники: двоюродный брат Султан и сын Нарбая, родного брата дедушки Молдрахмета, – троюродный брат Сейдак. После лагеря он попал в штрафную роту и бесследно растворился в кровавом прибое передовой.

А из полутора миллионов призывников-казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны погибло больше трети – 630 тысяч, 497 стали Героями Советского Союза, 110 воинов – полными кавалерами ордена Славы. Многие из них награждены посмертно.

5

Житомир, 1945–1946 годы

Говорят, что когда-то на месте госпиталя находился огромный монастырский сад. Потом сад вырубил, оставив небольшие скверы.

Сам Житомир утопал в зелени. Стоял жаркий, засушливый июль, листва на кленах и тополях покрылась пылью. Город внешне оправился от войны: по улицам, звеня, ходили трамваи, в центре города было довольно многолюдно, по утрам на рынок с окрестных сел тянулись торговцы, молочницы, везли парное молоко, сметану, раннюю картошку, зелень, домашний хлеб, мешки с жареными семечками.

Госпиталь находился недалеко от реки с обрывистыми берегами, в старинной части города. Вместимость

госпиталя была двести койко-мест, но людей лежало в полтора раза больше. Добавочными койками были заняты зал, часть столовой и все коридоры. Некоторые спали на составленных стульях.

Койка Какара стояла возле открытого окна, на облезлом подоконнике весело светились солнечные зайчики. К кровати приставлены костыли. Культя ноги затянулась багровыми шелушащимися шрамами, кое-где на швах шрамы трескались и проступала кровь.

Народ в палате собрался разный. В основном мальчишки, покалеченные в первом же бою. Неподалеку лежал заросший щетиной мужик с желтыми, под золото, рандолевыми фиксами на передних зубах, тоже с культей вместо ноги. В палате его звали Клепа. Ошивался где-то в тылах, в зенитном батальоне, нога загнила – отрезали выше колена.

Присутствовали и бывалые фронтовики. По соседству с Какаром лежал солдат лет сорока пяти, полностью седой. Усы бело-желтые, без единого черного волоска. К нему обращались Евгений Павлович, в крайнем случае – Палыч, и никак иначе. Чувствовалось, что он был из тех бойцов, которые создают настрой в подразделении. Закончил свою войну под Сталинградом. В палате он больше молчал, лежа на спине, уставившись в потрепанный, давно не беленный потолок. У него не было обеих рук, розовые культы заканчивались на локтях.

Палыч редко вступал в палатные разговоры: обычно скажет пару слов и снова замолкает, уставившись в какую-то точку на потолке. Кто-нибудь из соседей по палате скрутит ему самокрутку, присядет на

кровать, Палыч покурит из его рук, глубоко вдыхая дым, и снова молчит. Кормили его с ложечки. Он быстрее и острее остальных в палате осознал одиночество инвалидности. Наверное, воевал во снах – Какар по ночам слышал, как он ворочается на панцирной кровати. А может, война его уже не тревожила и он постепенно перебирался душой на небо, оставляя здесь свою ненужную искаленную плоть.

Никто не знал, что у него произошло с родными, он остался один. На фронте, пока были руки, начал переписываться с какой-то заочницей – многие так делали. После того как потерял руки, переписка прекратилась. Палыч сам прекратил. Но сохранил все ее письма: треугольники, исписанные крупным почерком. И по вечерам, когда в большой накуренной палате на двадцать человек раненые готовились ко сну, иногда просил Какара перечитывать ему эти письма. Именно его – других почти не замечал: знал, что он сирота, что девятилетним пацаненком попал в детдом, чувствовал одинокую родственную душу.

– Знаешь, Какар... Один случай не могу забыть... – Палыч дернул кадыком и негромко продолжил, словно рассказывал сам себе: – Сцепились как-то в траншее врукопашную. Немец попался здоровый, сытый, сбил меня с ног, навалился, старается винтовкой горло передавить. У меня финка в голенище, не успел достать, и уже ясно, что не достану. Пытаюсь руками винтовку от шеи оторвать. Чувствую – все... Хриплю... А дальше случилось непонятное. Что-то на немца нашло... Или в моих глазах что-то увидел, или его Бог остановил – не знаю. Прекратил давить и вдруг

рукой по плечу похлопал, мол, живи... Встал и улыбается, словно сейчас сделал что-то важное в своей жизни. Пожалел меня... Сам знаешь, бывает такое. Что-то находит... Короче, он повернулся и пошел по траншее, а я чуть отдышался, догнал его, прыгнул на спину, и с размаху нож в горло воткнул. Перерезал ему горло, он еще дергается, а я сижу на нем без сил. Кругом бой идет, а мне закурить хочется – страсть... Выбили мы фашистов из траншеи, начал я обыскивать этого немца на предмет трофеев, а у него фото – девочка с косичками: дочка, такая же, как моя Настюша, я ей маленькой такие же заплетал.

Палыч сглотнул слюну, приподнял пустой рукав халата, как будто хотел вытереть глаза, но вспомнил, что рук у него больше нет.

– Дочку мою с женой в сорок первом в доме бомбой накрыло, ничего не осталось, даже могилки, – продолжал он. – Некуда мне. Не к кому возвращаться. Нет желания жить. Тогда в горячке этот немец забылся, а сейчас вернулось... Вспоминаю постоянно его лицо, его улыбку, его дочку с косичками...

Белый как лушь Евгений Павлович, в застиранном больничном халате с пустыми рукавами, спиной опершись в стенку кровати, тихо рассказывал свою тайну, морщась и часто моргая ресницами. Какар, хоть сам не курил, умело закрутил ему самокрутку и поднес к губам:

– Покури, Палыч. Не вини себя. Это война, падла, нас такими зверьми сделала. А жить нужно, не зря мы за нее воевали, слишком дорого эта жизнь нам с тобою досталась.

Хлебнувшие полной чашей людского горя, потерявшие самых близких, одинокие инвалиды, они чувствовали и понимали друг друга – седой безрукий мужчина и безногий парень, вдвое его моложе.

Какар лежал и смотрел, как девушка-санитарка моет пол в проходах между кроватями. Вся палата на нее смотрела. Невысокого роста, бледная лицом, черные брови, прядь волос выскочила из-под завязанной позади косынки. Лет восемнадцать-девятнадцать, не больше. Она сама была похожа на подростка, но у нее уже имелся ребенок. Житомир больше трех лет находился в оккупации, освободили город года полтора назад, местные санитарки и медсестры госпиталя сплетничали, что ребенка она нагуляла от немца, и об этом, конечно, знали раненые.

Девушка с сыном жила где-то на окраине города, родных у нее не было. Ей не с кем было оставить ребенка, поэтому она приносила годовалого малыша на смену и оставляла в сестринской или в прачечной. Мальчик выглядел болезненным, ползал, тянув ножку, вывихнутую при родах и, похоже, никогда не плакал, ожидая маму. Она же по возможности в рабочей суете находила время забежать проведать его.

– Эй, – окрикнул санитарку лежащий возле входа Клепа, улыбаясь рандолевыми фиксами. Перед этим он наблюдал, как девушка, согнувшись, возила тряпкой по полу возле его кровати. – Санитарочка! Хорош тут ма-

рафет наводить. Иди лучше присядь ко мне. Соскучился я по женскому обществу...

Девушка выпрямилась, поправила рукой выскочившую на глаза прядь челки и, не глядя на него, молча принялась выжимать тряпку в ведро с грязной водой.

– Что, брезгуешь?! Ах ты шалава... – на всю палату возмутился заросший щетиной инвалид. – С нами даже разговаривать не хочет. Немцев любишь, да? Шлюха фашистская! Тебя бы на площадь голой выгнать, пусть все твою срамоту видят, раз от врага не скрывала. Смотри на меня, лява...

Даже если кто-то в палате внутренне и морщился от слов Клепы, защищать девушку никто бы не стал. Сразу бы услышал: «Ты что, за фашистскую подстилку заступаешься?» Фронтовики – настоящие фронтовики, а не те, кто ошивался в тылах, к подобным девушкам относились с презрением. Как к предателям. Они вызывали чувство брезгливости. Хотя могли, конечно, при случае ей попользоваться: одно другому не мешало.

– Немца своего ждешь? – не унимался Клепа. – Так мы его убили! Папашу выродка твоего... Милого твоего! Выпустили ему кишки. И друзей его, и братьев, и сестер, и маму его с папой – всех порешили... Думаешь, мы за таких, как ты, воевали?

В начале ругани девушка как будто ничего не слышала. Продолжала мыть полы, словно кричали не ей. Только сжалась. Потом не выдержала, схватила ведро и, выплескивая воду под ноги, бросилась из палаты. Клепа с размаху кинул ей в спину костыль.

Дверь в палату по случаю жары оставалась открытой, его крики раздавались на все отделение.

– Клепа, не поднимай нервы, – негромко произнес Евгений Павлович, не отрывая взгляда от потолка. – Все здесь воевали. И побольше тебя.

– Хорош выступать. Слышь, что тебе говорят? – поддержал Палыча Какар. – В следующий раз иди с ней договаривайся в коридор. И поменьше ори в палате.

Клепа зло глянул на них, но промолчал и попрыгал поднимать свой костыль.

В перевязочной зеленая листва деревьев лезла прямо в открытые окна. Проникая сквозь путаную листву, солнце зайчиками играло на стенах и шкафах с перевязочным материалом. Поблескивал металлический поднос на столе. Возле подноса набор никелированных зажимов и ножниц.

Пахло летом, садом, йодом. В рукомойнике капала вода.

– Садись на кушетку, боец, – медсестра отделения, полная пожилая женщина Анна Николаевна, кивнула Какару, приковылявшему на костылях на перевязку.

Выговор у медсестры был нездешний, без мягкой украинской округлости. Говорили, что она из самой Москвы. Устроилась в этот госпиталь, когда он был эвакуирован отсюда в Воронеж, а затем, когда госпиталь вернули в Житомир, переехала сюда.

В отделении Николаевну любили. Неторопливая, душевная, она была из тех людей, возле которых отдыхаешь сердцем. Хорошо понимала психологию раненых фронтовиков, их переменчивое настроение: успокаивала буйных, когда те начинали швырять миски с кашей в санитаров, бодрила тех, кто уходил в себя, переставая реагировать на внешний мир. В отделении было полно мальчишек, побывших на фронте всего день, два, неделю, так и не успевших стать солдатами. Какар сам видел, как один из таких русоволосых мальчишек без ног плакал, уткнувшись в ее полное плечо, а она гладила его по голове, что-то шепча, и по мере ее поглаживания спина мальчишки перестала вздрагивать. Она словно знала какие-то заговоренные слова, а может, в отличие от других врачей и медсестер, ей было не все равно, и инвалиды это чувствовали.

– Какар – что за имя такое? Никогда не слышала, – поинтересовалась Анна Николаевна, когда он уселся на кушетку.

– Какар – это по-русски записали. А у нас, казахов, Қахар – это «страдание, боль, ярость», – пояснил он.

– Понятно. Страдание. Что ж... Вижу, ты его хлебнул сполна. Теперь жить рвешься... – пожилая медсестра склонилась над культей, осторожно обрабатывая ему незажившие места на ране. Руки у нее были ласковыми, умелыми. – Что же вы это сегодня мою санитарочку затравили? Ушла с сыном на руках – глаза красные, заплаканная. Презираешь ее, да? По лицу вижу, что призираешь. Ну хоть в постель не тащишь... А то тут много таких... желающих.

– Те, кто с фашистами, для меня не люди, – жестко ответил. – Зачем она здесь? Ей здесь не место.

– Да, не место, – согласилась медсестра. – А кормить ребенка ей чем? Где работу найти? Везде одно и то же. Я ее отправляю белье кипятить в прачечную, бинты утюгом прожаривать. Подальше от ваших глаз. А она все равно в палаты идет. Вам услужить старается.

Узкие глаза Какара оставались непроницаемыми.

– Сила жизни в тебе кипит. Это хорошо, – Анна Николаевна осторожно приложила тампон с мазью к трещинам на рубцах. – Тебе бы еще людей научиться прощать. Тогда жить легче будет. Я ведь до войны акушеркой работала. Знатной акушеркой считалась. Вот таких девушек потрошила. Ты, наверное, немало немцев жизни лишил, а я в тысячи раз больше тебя советских детей убила. Нерожденных, невинных, как фашистов, вырезала. И в таз выбрасывала... Я не знаю – силой ли немец санитарку взял, с голодухи ли, а может, и по любви... Но я знаю одно – ребенка своего она не бросила. Знаешь, сколько таких детей в роддомах, на вокзалах да в подъездах оставляют? А она нет. Не отходит от него. Он ей и позор, и утешение. Поэтому санитарочка наша за то, что ребенка сохранила, для меня уже прощение заслужила. И от людей, и от неба. Но это понимать надо – не каждый поймет. Скоры вы, мужчины, на суд...

Перевязка закончилась. Анна Николаевна, мягко улыбаясь, напутствовала шутливо:

– Все. Скачи казах о трех ногах, зови следующего...

В кармане халата медсестры очерчивалась пачка папирос. Она не курила, значит, кому-то из раненых приготовила подарок.

В тыловых госпиталях, кроме плохого снабжения, существовала серьезная проблема с кадрами. По мере удаления от фронта лечебные учреждения переводились из ведомства Наркомата обороны в ведение Наркомата здравоохранения. Поэтому лучшие специалисты переводились поближе к фронту, чтобы не терять воинские звания, льготы и войсковой паек. С окончанием войны они старались попасть в госпитали крупных городов. В уездных городках вроде Житомира оставались люди, равнодушные к себе и другим, часто пьющие, с выгоревшей душой. Такие медсестры, как сумевшая сохранить сострадание Анна Николаевна, попадались редко.

Но сейчас Какар был с ней не согласен. Выдумки, что мир сложен и многогранен, на самом деле он прост и понятен, черно-белого цвета. Друга обними. Врага убей. Подлецу дай в морду, гордеца – приземли. Трусую плюнь под ноги – большего он не стоит. Ребенок от фашиста – фашист. И нечего ей здесь делать, среди фронтовиков, покалеченных от немцев.

Вечером раненые готовились ко сну, кто-то читал подшивку газет, кто-то негромко переговаривался, докуривал последнюю папиросу. Палыч, укрытый простыней до подбородка, смотрел в потолок. Знал, что его отсюда уже не выпишут.

И когда Какар глядел на людей в палате, ему вдруг сделалось до того тоскливо, что он повернулся лицом к обшарпанной стене. Раньше тосковать не позволяла

война, надо было выживать, не было времени оставаться наедине со своими мыслями. Сейчас ему мучительно захотелось увидеть хоть одного земляка-казаха, поговорить с кем-нибудь на родном языке, но казахов в отделении не оставалось.

Он сказал сегодня медсестре, что его имя означает затаенную ярость и страдание. До этого о значении своего имени не вспоминал. И родных не мог вспомнить, чтобы хоть памятью оказаться рядом с ними.

Всплывали размытые фигуры матери и тети, но он знал, что это ложная память, мираж – не помнил он их лица. Помнил только родной запах детства и ласковые губы и руки матери на своем лице и голове. Он постарался уловить в памяти запахи Степи. Если закрыть глаза, можно на мгновение вернуться в родной край и почувствовать ароматы тургайских трав, впитанные им с первого дня жизни и переданные ему тысячелетними генами предков – степных кочевников.

6

Когда-то на месте Степи простирался океан, земля сохранила отложения морской глины, песчаника и ископаемые останки морских обитателей. Затем белели бескрайние льды. Отступая, отползая, ледники оставили за собой ровную поверхность – Степь без конца и без края, где теряются понятия расстояний.

Зимой в Степи трескучие морозы за сорок градусов и снежные бураны. Вьюга гоняет снежную пыль,

на белых, ровных, как стол, просторах виднеются лишь надутые ветрами линии воздушных приборов. При оттепели бескрайние снега проседают, журчит вода. А потом снова в мороз вся Степь до горизонта становится ледяным полем: светит в морозной дымке в синем небе солнце и, куда ни глянь, блестит лед с травинками желтого ковыля.

Весной Степь оживает, начинается цветочное великолепие, знаменитое цветение тургайских трав: желтый ковер адониса-горицвета и лапчатки сменяют сон-трава, подснежники, распускаются тюльпаны, ирисы, касатики. Следом буйство золотого ковыля, мятлика, ветреницы, позже время цветения тысячелистника, пижмы. Весна в этих краях быстротечна, дрожит воздух в мареве жары, травы желтеют, лишь в тех местах, где глинистая почва сохраняет влагу, остаются зеленые пятна, покрытые пылью. Но если лето выдается с дождями, то Степь вновь оживает необыкновенными красками и запахами, и неожиданно появляются лесные растения: розовый чабрец, белая таволга, синие колокольчики, желтые лютики, розовые гвоздики. Можно увидеть в такое лето и большой белый гриб, и шампиньон, и даже лесную землянику! Друг за другом возвращаются птицы, очаровывают своими грациозными танцами серые журавли, стаи лебедей, как белые покрывала, ложатся на гладь озер, щебечут и поют свои песни любви жаворонки и сотни других пернатых, возвратившихся на родную тургайскую землю.

На берегах реки Тургай в это время буйство жизни и зелени, и можно увидеть, как переплывают реку тысячные стада степной антилопы-сайги, ровесницы ма-

монта, вместе с молодыми сайгачатами, вытягивая над водой морды с широко раздутыми ноздрями.

Летом кочевая Степь приходит в движение: стада овец и верблюдов гонят к петляющей между разломами тектонических плит реке Тургай. Холодный воздух с отрогов Уральских гор смешивается с жарким воздухом Аральского моря, и дрожат над Степью видения, миражи, делающие далекое близким и несуществующее видимым. На протяжении многих веков ходят среди кочевников рассказы о гибельных огнях, заманивающих заблудившихся путников вглубь Степи, об идущей над травой белой женщине и коне из огня...

Какар происходил из рода Аргын. Это одно из самых крупных древних племен казахов, входящих в состав Среднего Жуза. Их ветвь рода Акташи в зимний период проживала в урочище Кен-Табан, где стояло несколько десятков саманных домов и многочисленные юрты по периметру, кошары, загоны, навесы. Летом огромные стада овец, верблюдов и табуны лошадей кочевали по Степи.

Когда-то у тургайских акташей было много людей: мужчин, женщин, детей, – много лошадей, овец, коров.

Одним из основателей их ветви рода был знатный скотопромышленник по имени Кыдырали. Старейшина и общественный судья – бий. Он оставил после себя двух сыновей, старший из которых, Молдрахмет, являлся дедушкой Какара.

Дедушка родился в 1844 году во время кочевки на джайляу в местечке Молдир и получил соответствующую

щее знаку судьбы имя. А судьба его и вправду была необыкновенной. С детства обучался грамоте, потом в медресе, духовном училище, освоил арабский язык и стал таким набожным, что дал обет и исполнил его, совершив за свою жизнь паломничество в Мекку семь (!) раз. Поставив тем самым своеобразный непревзойденный рекорд Степи. Молдрахмет дал обет совершить семь хаджей, потому что семь – магическая цифра в исламской культуре – обозначает законченный цикл: семь дней творения мира, этим числом обозначаются атрибуты Бога, которых семь, также семь ступеней просвещения, семь дней недели.

Учитывая обстановку того времени – 1900-е годы, каждое путешествие длилось от восьми месяцев до года. Паломники передвигались на лошадях, на верблюдах по степям и пустыням, по гибельным безлюдным местам. Кроме финансового обеспечения, каждый хадж требовал стойкости характера и безграничной веры во Всевышнего, иначе до Мекки было не добраться. Чтобы легче переносить тяготы и испытания в пути, дедушка брал в паломничество своих близких друзей – Мусабая Беркенулы из рода Кыржигит и Алдеша из близкого рода Таз, из которого мужчины-акташи часто брали себе жен. После очередного хаджа в 1905 году Молдрахмета-хаджи пригласили в ставку семьи влиятельного в Степи рода Кыпчак, откуда происходил будущий Тургайский хан Абдигапар, и одарили за подвижничество чистокровным скакуном и дорогим чапаном. Впоследствии дедушка принимал активное участие в общественной и религиозной жизни края, остался почитаемым хаджи во всем Тургайском уезде.

После смерти в 1915 году ему был воздвигнут мавзолей из красного кирпича на кладбище в Батбаккаре. В 1935 году при советизации и гонениях на религию мавзолей был разрушен земляками-коммунистами. Остался только серый надгробный камень-валун с арабской вязью: «Здесь нашел пристанище МОЛ-ДРАХМЕТ КЫДЫРАЛИУЛЫ, совершивший хадж семь раз».

Оставалась в жизни деда какая-то тайна. Паломничество в Мекку – это главное событие в жизни мусульманина. Считается, что после совершения хаджа правоверные обретают покой и очищаются душой. К их имени добавляется почетное звание хаджи. Венцом долгого опасного пути становился совершенный дважды по семь раз против часовой стрелки обход священного дома Каабы с черным камнем внутри, посланным Аллахом всем мусульманам с неба. После этого долг верующего на земле считается исполненным. Но дедушка ходил семь раз. У него словно была своя особая миссия, свой личный долг перед небом и перед своим родом.

Потом, когда возвращались в памяти к этим событиям, внукам казалось, что дед предчувствовал, предвидел что-то страшное в грядущих временах. Он очищался в пути от мирских мыслей, чтобы по приходе в Мекку у него в сознании остались только слова, которые надо сказать Аллаху. И он нес эти слова в надежде, что Аллах его услышит и пощадит его родных в будущих трагических и губительных событиях в жизни степного народа.

От Урала до Арала раскинулась Тургайская степь Российской империи, где пересекались кочевья Среднего и Младшего жузов, – и именно Тургайская степь оставалась самой нетронутой цивилизацией и продолжала вне времени жить своей жизнью, своим укладом.

Когда Степь покрывалась белыми сугробами, первыми на пастбище выгоняли табуны лошадей, которые копытами взрыхляли слежавшийся снег и поедали лучшую траву. После них на пастбища гнались верблюды и овцы. Зимой забивали скот – снег в округе был красным от крови. Готовили казы, шужук, вялили мясо, варили черное мыло из бараньего сала, женщины ткали из шерсти одежду для семей. Окрашенные кафтаны из шерстяной ткани, напоминающей атлас, высоко ценились за пределами Тургайского уезда. В Оренбург, Кустанай, Троицк, Акмолинск, Челябинск гнали на ярмарки живой скот на продажу. Тургайские казахи жили по своим вековым традициям добротны, сытно, спокойно.

Изменения, как это часто бывает, начались незаметно и далеко в стороне.

В Европу пришла война, начавшаяся с одного пистолетного выстрела. Самая непонятная война в истории, война без победителей, в которой проиграют все, которая похоронит несколько империй и источит в христианской Европе веру в Бога. В Степи ходили слухи о грозных событиях на западе. Вести оттуда казались отвлеченными и далекими – какое дело кочевникам, что христиане между собой что-то не поделили? Как

при приближении грозы – еще не слышалось грома, только горизонт пока отсвечивал красными зарницами да играла трава при порывах ветра.

По договоренности между ханами Степи и российским царем кочевников в армию не призывали. Но 25 июля 1916 года царь издал указ о привлечении мужского населения Средней Азии на тыловые работы. В уезды пришли разнарядки – казахов призывали ехать копать окопы. Призывали определенное количество людей, но по Степи, как пожар, полетел слух, что забирают всех мужчин из каждой юрты. К тому же для большинства казахов это было, по сути, оскорбление: копал землю степняк-кочевник в двух случаях – для могилы и для колодца, а копать рвы и окопы казалось для него непристойным занятием. Воевать – пошли бы. Копать – нет. По всей Средней Азии начались волнения, стихийные выступления кочевников.

Запылали дома волостных управляющих, горели выброшенные на улицу мобилизационные списки, валились телеграфные столбы, запылали почтовые отделения, огонь пожаров озарял скуластые лица скачущих по кругу гикающих всадников в отороченных мехом шапках. В Киргизии перебили насельников Иссык-Кульского монастыря. В каждом уезде создавались параллельные структуры власти, избирались ханы. Ханом самого непокорного Тургайского уезда стал Абдигапар Жанбосынулы, род которого подарил скакуна дедушке Молдрахмету. Последняя телеграмма, пришедшая в Петербург, извещала ставку царя, что положение резко ухудшается и что вот-вот будет перерезана же-

лезнодорожная ветка Оренбург – Ташкент. После чего связь оборвалась.

В Петербурге долго не разбирались. В Среднюю Азию был направлен специальный экспедиционный корпус, в состав которого вошли части, снятые с фронта, под командованием генерала Лаврентьева.

Горели аулы, горела Степь. Доходило до открытых боев. К февралю 1917 года восстание было жестоко подавлено по всей Средней Азии, везде, кроме Тургайского уезда – родных земель рода Аргын Акташи. Отряды сардара Амангельды Иманова, одного из ставленников хана Абдигапара, сражаясь с исключительным упорством, отошли поглубже в пустынные места и перешли к партизанским действиям.

В памяти тургайцев сохранилась картина тех времен.

Зимняя белая Степь, ясный морозный день. И огромная колонна беженцев – женщин, детей, стариков, мужчин в меховых шубах и тулупах из обработанных овечьих шкур, раскрашенных настоем из коры ивы. Повозки, запряженные волами. Беженцы из числа мирного населения стремились уйти от карательных отрядов. Когда люди по льду переходили реку Тургай, по ним открыли огонь. Может, командирам генерала Лаврентьева поступила информация о том, что реку переходят мятежники, может, солдаты мстили кочевникам за убитых солдат, представителей царской власти, русских поселенцев на юге.

Но после того как стихли залпы, рвущие морозный сухой воздух, на льду реки осталось лежать убитыми

несколько сотен человек. Женщины в ярко раскрашенных одеждах, мужчины в тулупах, отороченных по рукавам мехом, дети с открытыми глазами в теплых шапках-тымаках из меха лисы и куницы. Они лежали на льду в разных позах, и особенно выделялась одна казашка с лицом необыкновенной красоты, с нетающими снежинками на длинных черных ресницах.

Когда с других убитых снимали серебряные серьги и кольца, пояса из кожи и бархата, ее не тронули.



Глава 2

1

Тургайская степь

Четыре тысячелетия люди в Великой Степи жили скотоводством. Когда-то со своими стадами здесь проходили арии, часть из них при переселении осела в Иране, откуда и название – Ариана. Затем скифы – древние греки называли Великую Степь Скифской. Древнейшие известия о кочевниках Средней Азии и Казахстана содержатся в персидских клинообразных надписях, персы называли их общим именем – саков.

Канули в вечность неизвестные скотоводческие культуры, от которых в Тургае оставались загадочные геоглифы: невысокие рукотворные курганы, неприметные с земли, но соединяющиеся с высоты птичьего полета в гигантские таинственные знаки – квадраты, круги и свастику. На них до сих пор почему-то не растет трава. В Степи часто находят послания из забытых времен – неизвестные ранее артефакты, монеты, мавзолеи, курган сарматского вождя в золотом одеянии, мумию юноши в золотых сапогах...

Время веками не трогало этот пустынный край. Изменялась только мода в одежде женщин да металл для утвари. В остальном Степь как будто застыла в вечности. Скот не пасли в обычном понимании этого слова – кочевники просто шли за стадами с их скоростью. Пути выпасов не менялись веками. Непонятная людям с севера степная культура, не подверженная изменениям.

Но дальше на север – там, где время, где холодные каменные столицы, чиновникам постоянно не давал покоя вопрос: «А является ли кочевое скотоводство самым эффективным вариантом использования степных ресурсов?».

Первый опыт освоения Великой Степи начался после отмены крепостного права, когда туда по новой Сибирской железной дороге и на запряженных лошадьми и быками повозках поехали тысячи переселенцев из центральной России. Поехали за хорошей долей, выращивать пшеницу, даже не представляя себе мест, куда они попадут. Непредсказуемый климат, неравномерное распределение осадков, постепенное засоление земли, суховеи и пыльные бури, изменяющие линии степных водоемов, стали проклятием для переселенцев. Неудача по освоению Степи стала настолько очевидной, что в 1891 году Степное генерал-губернаторство издало указ, закрывающий Казахскую Степь для дальнейшей колонизации.

Но большая часть поселенцев-колонистов, этнически и религиозно чуждых степнякам, осталась. По указу и за мзду местной администрации они активно занимали лучшие пастбищные земли, у водоемов и водопоев, нарушая извечные пути кочевков. Выбыло порядка 4,5 миллиона десятин, немногим больше 4,5 миллиона гектаров лучших пастбищ казахов. Кроме того, кочевников обложили реквизициями и непомерными налогами, в том числе военным, – империя ввязалась в кровопролитную войну. Обиды и недовольство копились, нарастали, все это пошатнуло вековой уклад общинно-патриархального строя, авторитет биев,

волостных правителей и стало основными причинами национального восстания 1916 года.

Мобилизация мужского населения от 19 до 43 лет на тыловые работы стала лишь последним поводом для того, чтобы Степь запылала.

В ноябре 1916 года учредительное собрание представителей тринадцати волостей Тургайского уезда избрало Абдигапара Жанбосынулы, бывшего авторитетным у степняков волостным управителем, своим ханом, он возглавил народное восстание в Степи, а Амангельды Иманов был назначен сардарбеком, главнокомандующим восставших.

После жестокого подавления волнений сопротивление осталось только в Тургайском уезде. Когда в России началась революция и царские войска ушли, отряды Амангельды Иманова заняли Тургай.

Абсолютное оружие – идея, которая ничего не весит, не нуждается в материальном подтверждении, которая сама перемещается по умам со скоростью эпидемии, оставила от великой Российской империи одни развалины. Нового мира никто толком не понимал. Пришло время исполнения древних пророчеств – «и восстанет брат на брата», предвиденного дедушкой Молдрахметом.

Хан Абдигапар поначалу поддержал советскую власть, но в скором времени разуверился, понял, к чему приведут Степь утопические идеи и проводимые революционные реформы коммунистов, стал их резко критиковать и призывал казахов противостоять больше-

викам, за что в ноябре 1919 года во время молитвы был застрелен красноармейцами. Сардар Амангельды Иманов под влиянием земляка, первого казаха-коммуниста Алиби Джангильдина, вступил в члены партии большевиков и стал красным военным комиссаром Тургайского уезда, воевал с белогвардейцами атамана Дутова и алашординцами, провозгласившими автономию, от рук которых погиб в мае 1919 года.

Один из сыновей Молдрахмета Ыдырыс тоже поддержал Советскую власть, ушел добровольцем в красный отряд Иманова и в 1918 году в бою под Урицком был зарублен белогвардейцами. О нем в роду старались не вспоминать, чтобы не тревожить боль утраты и непонимания. А потом как-то все поуспокоилось, позабылось, кочевники приспособились существовать в зыбком мире, ставшем таким непонятным и переменчивым.

Советская власть утвердилась, но до глухих безлюдных пространств Тургая пока не дошла, оставаясь где-то в районных центрах. В Великой Степи теперь постоянно что-то происходило. Какие-то люди приезжали реквизировать скот, собирали всеобщие собрания: стояла пыль от копыт коней множества всадников. Мелькали люди с красными лоскутами на папахах, потом их видели пострелянными, сваленными в яму друг на друга, а по степи по-волчьи проходили эскадроны атамана Дутова. Кто-то откочевывал вглубь Степи, в пустынные районы, семьями бежал в приграничные области, много казахов ушло в Китай и Монголию. Большинство – навсегда.

Казахстан потерял за эти смутные времена около шестисот тысяч коренных жителей.

Степь, уже окропленная кровью, изведавшая огонь пожаров, зимой привычно белела снегом, летом желтела от сухостоя травы, весной в родные края возвращались птицы. Ходили слухи о странном видении: люди говорили, что небо над рекой Тургай покрылось низкими серыми тучами, сливаясь на горизонте с потемневшей степью, и там, над желтым морем ковыля, между небом и землей, показалась радуга, состоящая только из оттенков красного цвета.

По наследству пяти сыновьям Молдрахмета перешли родовые земли – места кочевков весенне-осенних и летних пастбищ, а также скот, около десяти тысяч голов – лошадей, верблюдов, овец и коров. После восстания, революции, Гражданской войны, реквизиций, грабежа скота всех домашних животных осталось не более пятисот голов. Их отгоняли на зиму в родовое урочище Кен-Табан, где густые заросли камыша и кустарника защищали животных от снежных метелей и губительных буранов. Жизнь в Степи продолжалась по своему определенному исторической судьбой сценарию.

В тот апрельский день, когда появился на свет Кахар, стояла ясная солнечная погода. Степь цвела. Царила весна – лучшее время на земле, когда оживают надежды, когда хочется верить, что все плохое уйдет без следа, как исчез с земли до последней снежинки снег. Дымили вынесенные на природу очаги.

Счастливым Кенжегали зарезал барашка, чтобы по традиции лично приготовить жене наваристый бульон для восстановления сил. А сморщенный, как старичок, мокрый, с прилипшими темными волосиками младенец в полумраке юрты, наплакавшись в первые секунды без мамы, затих у нее на груди. Сама бледная и счастливая Акжигит лежала в женской половине.

На третий день рождения мальчика мужчины рода собрались праздновать Шилдехана-той – первый праздник в жизни младенца, которых до смерти у него должно пройти ровно двенадцать. Считалось, что на протяжении сорока дней ребенок и мать беззащитны от нечистой силы, от злых духов и сглаза, поэтому в женскую половину юрты не пускали никого, кроме бабушки. А гости за дастарханом на улице должны были произнести как можно больше добрых пожеланий, чтобы на небесах Тот, кто ткёт узор судьбы младенца, их услышал.

– Бауы берік болсын, – звучало со всех сторон.

И эти слова означали «пусть будет крепкой нить» – и нить, которая соединяет ребенка с его матерью, и нить, соединяющую человека с его духовным началом – с небом и другими правоверными на этой земле.

Счастливым Кенжегали в белой войлочной шапке с вышивкой нарезал гостям мясо.

В этот вечер произошло таинство – имя наречения ребенка. Обычно имя давал дедушка по отцу, но Молдрахмет не дожил до этого момента. Поэтому младенца передали в руки самому почитаемому старейшине.

Морщинистый, с руками землистого оттенка, сам похожий на Великую Степь старик в высокой войлочной шапке какое-то время молчал, внутренне произнося молитву, а потом тихонько шепнул младенцу три раза на ухо:

– Имя тебе – Кахар.

Кахар с казахского переводится как «боль», «страдание» и означает «затаенную ярость». Никто так и не понял, почему старейшина дал ребенку такое имя. Гости для себя решили, что старейшина назвал младенца в память о восстании 1916 года и пережитой боли утраты одного из сыновей Молдрахмета. Но ни один из присутствующих тогда не подумал, что мальчика назвали не в память о прошлом, а в предчувствии будущего не только младенца, но и в его лице всего многочисленного степного рода.

На праздник сороковин – сорока дней с рождения Кахара – собрались только женщины. Это был их день, их праздник. В глазах пестрило от яркости нарядов. Приталенные кафтаны красного, синего, зеленого цвета, украшенные вышивкой. Серебряные подвески, тяжелые серебряные кольца на руках, символизирующие чистоту и защиту от злых духов, остроконечные шапки, отороченные белым мехом.

Вынесли белую скатерть с вышитым орнаментом и деревянную чашу, в которую положили сорок серебряных монет и сорок бобов фасоли для сытной и долгой жизни. Женщины по старшинству налили в чашу сорок ложек воды. По верованию, на сороковой день в младенца вселяется душа: он окреп и готов для встречи с миром, судьба ему уже уготована, пусть идет на-

встречу ей своими ножками. Маленького Кахара омыли этой водой и специальными серебряными ножничками впервые постригли ему волосы и ногти.

– В дом пришла радость, – говорили одни женщины. – Пусть этот мальчик вырастет опорой для своей семьи. Пускай золотым будет его сердце.

– Пусть его судьба будет легкой, как пух, пусть он станет гордостью отца и матери. Завидного здоровья ему и благополучия. Пусть растет на радость родителям, – вторили им другие.

Цветастые, как орнамент, пожелания перекликались с яркостью нарядов женщин. В Степи, где зимой на белом девственном пространстве не найдешь даже следов зверей и взгляду не за что зацепиться от однообразия и однотонности, людям подсознательно хотелось яркости красок.

– Пусть младенец растет в благодати Всевышнего, станет красивым и мужественным, пусть его смех радует ваш дом и наш мир, – не переставали желать женщины.

И счастливая Акжигит, с нежностью смотря на своего ребенка, верила, что именно так все и будет. После заката молодая мать вышла из юрты. Плыла над степью ночь, в черном небе мерцали миллиарды далеких звезд. На линии невидимого горизонта земля сливалась с небом, и казалось, что звезды светят в самой Степи. Ветерок нес запахи цветущей степи, вокруг было тихо.

И в душе Акжигит тоже было покойно и светло.

Когда кого-то любишь, кажется, что любви хватает на всех. В памяти еще продолжали звучать добрые пожелания ее сыну, которого она принесла в этот мир, и сейчас матери казалось, что и Степь, и небо, и звезды разделяют эти слова.

Судьба нареченного имени ребенка проявила себя очень быстро. Так как у старшего брата, молчаливого Жунуса, длительное время еще не было детей, старейшины решили передать Кахара в его семью. Так было принято. Первенца передавали бездетным ближайшим родственникам для продолжения рода: считали, что передающая ребенка семья способна нарожать себе еще наследников.

Акжигит несколько дней не выходила из женской половины юрты, отвернувшись к закрытой ковром стене. То, что жена Жунуса Турсин являлась ее родной старшей сестрой и мальчик попал к ней, молодую женщину не утешало. По обычаю мать должна была забыть о ребенке. Вход в юрту, куда отдавали первенца, настоящей матери оставался запрещен. Ее муж, Кенжегали, который с такой любовью и благодарностью подавал ей бульон, когда она лежала после родов, тоже ничего сделать не мог. Ходил по юрте тихо, стараясь не заходить на женскую половину, слыша, как плачет жена.

Сколько в Степи было трагедий из-за этого обычая... Некоторые матери становились безумными: бились в истерике, когда их удерживали, старались попасть в юрту к приемным родителям, чтобы увидеть своего ребенка, который уже забыл тепло и запахи родной матери. Потом, каждый раз встречаясь с подро-

шими родными детьми, криком кричали внутри: «Ты мой, ты мой, сыночек!» – но ни обнять, ни приласкать его не могли.

Против обычая никто пойти не мог. Здесь была владычицей Степь, у которой свои суровые законы. Для выживания рода нужно делить все. Беды и горе. Успехи и радость. Последний кусочек мяса и новорожденное дитя.

2

Нам не дано видеть завтрашний день. Облака темнеют над степью, значит, скоро будет дождь, ночь прошла холодной, значит, на траве будет роса, – знамения природы мы различаем, а знамения времени – нет. Никто не может наверняка заглянуть в будущее, кроме пророков, но они замолчали в веках, исполнив свою миссию, сказав все, что нужно для спасения души.

Страшному и беспощадному голодомору в Казахстане, который навсегда разрушил вековой уклад жизни кочевников, предшествовал целый ряд больших и маленьких событий. Приход и расселение колонистов в Степи, изъятие пастбищ, реквизиции скота для военных нужд, восстание 1916 года с его тяжелыми последствиями для края. Еще засуха, желтый, высохший на корню ковыль, засоление и высыхание водоемов, а потом зимой – оттепель и сразу мороз, сделавший степь ледяным катком. Подо льдом еще оставалась трава, скот ее видел, но ледяной покров остался слишком крепким, овцы и верблюды первыми гибли от

истощения на зимних пастбищах. Степь показывала людям, что она здесь хозяйка.

Но главная беда, как всегда, пришла от людей. Кто-то озабоченный в далекой Москве, в ЦК партии рабочих и крестьян, вновь задался вопросом: «А является ли кочевое скотоводство самым эффективным вариантом использования степных ресурсов?».

Одни спросили, другие сказали, что казахов давно пора делать оседлым народом, третьи выразили готовность со рвением исполнять; до этого выдумали колхозы, кто-то нарисовал себе цифры в миллионы тонн зерна, кто-то захотел одним махом решить проблемы с националистическими настроениями в крае, диктатом и насилием в одночасье все разрушить, разорить под ноль, а потом строить новое. Неважно, какой ценой.

Секретарем Казахстанского крайкома был назначен Филипп Исаевич Голощекин, настоящее имя – Шая, один из организаторов расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Сразу по прибытии в столицу Казахской автономной республики Кзыл-Орду в 1925 году он заявил об отсутствии в аулах Степи советской власти и необходимости «пройтись по ним Малым Октябрем». Первым делом забрали пастбищные угодья у зажиточных хозяйств, запретили традиционный забой животных в зимнее время для пополнения запасов продовольствия, потому что скот запланировали передать в колхозы.

Следующим был запрет на откочевку на сезонные пастбища через границу. Раньше в тяжелые годы бескормицы скот всегда гоняли на пастбища в соседний западный Китай, границ не существовало: Степь вез-

де Степь. Теперь появилась граница. Главный разрушительный удар по вековому укладу нанесли насильственная коллективизация, принуждение к оседлости, к земледелию, обобществление частной семейно-родовой собственности, экспроприация домашнего скота – основы жизни кочевников-скотоводов в пользу колхозов. Все эти разрушительные действия и невиданные в истории эксперименты с собственным народом в огромной стране идейных фанатичных строителей коммунизма, потеря мотивации у простых тружеников быстро привели к печальным результатам. Буквально в течение одного года из-за большой концентрации поголовья, нехватки кормовой пастбищной базы в коммунах начался падеж скота и вынужденный забой домашних животных. Из сорока пяти миллионов голов скота в Казахстане к 1932 году осталось около четырех миллионов – количество поголовья уменьшилось в десять раз!

А когда с колхозами не заладилось, как обычно, свалили все на скрытых врагов советской власти. Шая Ицкович Голощекин лично написал распоряжение выехать в Степи и покарать десять тысяч врагов народа. Где он взял такую цифру, до сих пор непонятно. Крайкомам спустили плановые задания по уничтожению собственного народа, а они в свою очередь принимали повышенные обязательства, чтобы наверху заметили их рвение и старание.

Распоряжение в виде разнарядки разошлось по всем городам и районам. И в прокуренных чекистских кабинетах на столах с зеленым сукном круглосуточно, лихорадочно, чтобы быстрее исполнить, отрапортовать,

принялись составлять репрессивные и расстрельные списки.

12 ноября 1929 года в урочище Кен-Табан неожиданно приехал конный отряд из двух десятков вооруженных всадников и десятка пустых повозок.

Небо было сумрачным, серым, сухая трава в степи побелела от инея, от дыхания шел пар. Вот-вот должна была встать река Тургай. В такую пору Степь уже замирала, поэтому, когда показались всадники, все высыпали из юрт. Люди с удивлением рассматривали заезжающих в урочище всадников – в шинелях плохого сукна, с красными большими звездами на буденовках. Они были все какие-то одинаковые, с непроницаемыми лицами, с винтовками за плечами. Вперед вышел старейшина их аула, тот самый, который проводил обряд имянаречения Какара. В отличие от остальных жителей, седобородый старик в теплом халате-чапане не выглядел удивленным, он неподвижно стоял и спокойно смотрел на приехавших, словно уже понял цель их приезда. Понял и принял.

Один из всадников – казах с усиками и жидкой бородкой на круглом лице, с красными нашитыми полосами на шинели, легко спрыгнув с коня, первым делом подчеркнутым движением демонстративно расстегнул кобуру.

– Ассалаумағалейкум, – громко, чтобы его все слышали, приветствовал он собравшихся жителей, улыбаясь при этом самым дружелюбным способом. На его щеках обозначились ямочки. – Уважаемые... Я уполномоченный по вашему району. Мы прибыли, чтобы при-

гласить в райцентр всех мужчин рода Акташи. На сход. Пришла директива. Советская власть хочет с вами поговорить.

Наступило молчание. Маленький Кахар во все глаза смотрел на незнакомую одежду приезжих, на красные звезды на их шапках. Турсин стояла рядом, положив руку на его плечо. Ее глаза миндальной формы были расширены, в черных зрачках удивление и тревога. Такое же непонимание читалась на лицах всех стоящих по кругу жителей. Родной отец Кахара – Кенжегали, в овчинном тулупе, в теплой шапке, отороченной мехом, с каким-то детским удивлением смотрел то на усики уполномоченного, то на лица всадников, то на винтовки за их плечами. Кони всадников нетерпеливо переступали с ноги на ногу.

– Зачем нам ехать? Что от нас хотят? – выкрикнул он.

– Уважаемые... Я не знаю повестку собрания. У меня приказ доставить мужчин.

Весь вид уполномоченного словно говорил: «Ну не мучайте меня вопросами, я исполнитель чужой воли, поехали со мной – и сами все узнаете... Начальство хочет о чем-то поговорить, расспросить мнение каждого...» Но его рука по-прежнему оставалась на рукоятке нагана.

Этот знаковый ноябрьский день запомнился Кахару частями, яркими мазками, но, возможно, он просто позже сформировал эти картинки в памяти. Потом он не раз спрашивал себя: почему его настоящий отец и отец приемный, а вместе с ними все мужчины аула

поверили словам уполномоченного? Наверное, потому что они захотели поверить... Их зовет сам начальник райкома, надо проявить уважение, хоть по сердцу и прошло темной змейкой сомнение, холодное предчувствие. Они остались верить даже тогда, когда один из мужчин, переглянувшись с другими, направился в свою юрту за упряжью, но его остановил окрик уполномоченного:

– Нет, нет! Не запрягайте коней. Поедете на наших повозках. Мы вас обратно и привезем.

Уполномоченный прекрасно понимал: согласились в одном, согласятся и в другом. Есть такое в человеке. Уступили в главном, зачем же спорить по мелочам? Понятно, что неестественно, когда везут на сход в повозке, да еще и с конным конвоем. Но у людей всегда остается надежда – та самая надежда, благодаря которой человек убеждает себя подчиниться чужой воле, надеясь, что воля эта – человеческая.

Мужчины даже не попрощались со своими семьями. Первым к повозке направился старейшина: мрачный, но спокойный, как будто всю жизнь готовился к подобным моментам, заранее все знал и был готов достойно принять то, что уготовано ему судьбой. За старейшиной сразу вышел из толпы Жунус, за ним все остальные. Мужчины молчали, женщины тоже. Никто ничего не понимал. Как только мужчины расселись по повозкам, несколько всадников мгновенно спешили и, не спрашивая ни у кого разрешения, быстро и деловито пошли по юртам – проверять, не остался ли кто. Из одной из юрт сразу послышался женский визг – кто-то из людей

со звездочками зашел на женскую половину. Несколько возмущенных мужчин привстали с повозок, но один из всадников привычным движением снял с плеча винтовку и лягнул затвором. Винтовочный выстрел вверх разорвал воздух, эхом расходясь по округе. Кони шарахнулись, а всадник с винтовкой, придерживая коня, снова передернул затвор, досылая в патронник новый патрон.

– Спокойно, уважаемые... Просто проверяем, не забыли ли кого, – губы уполномоченного снова растянулись в успокаивающей улыбке.

Глаза оставались щелочками: наверное, даже злыми, но улыбка у него получалась какая-то светлая, обезоруживающая. И мужчины остались сидеть в повозках. Кто-то из спешенных всадников вывел из толпы женщин и детей мальчишку лет шестнадцати. Грубо держа за локоть, повел к повозке.

– Это мой сын, – запротестовал один из мужчин. – Он же молодой... Зачем ему на сход?

– Почему молодой? Мужчина! Пусть начальство посмотрит, какие у нас в Степи батыры растут! Поехали, уважаемые. Хватит вам спорить. Начальство не любит ждать, – уполномоченный вставил ногу в стремя.

Шаровары под шинелью у него оказались не казахские – темно-синего цвета, с желтой кожаной вставкой под седло, какие носили русские кавалеристы.

Позже Какару казалось, что он помнит лицо своего настоящего отца – Кенжегали. Затусшеванные дымкой родные черты: черные волосы с ранней сединой, высокий лоб, узкие, словно чуть припухшие, глаза, шрам

над левой бровью, обветренные, с красной сыпью губы. Казалось, что помнит до деталей момент отъезда мужчин: ноябрьское небо, понурые позы людей на повозках, меховые шапки, скрип колес, неспешные всадники, едущие трусцой.

Ни он, ни кто-либо другой: ни оставшиеся женщины и дети, ни уезжающие мужа и отцы – еще не знали, что мужчины из родов Акташи и Кыржигитов стали теми самыми щепками, которые летят, когда во имя нового рубят лес. Они просто попали в списки, составленные главой Батбаккаринского райкома Ажибаевым и начальником НКВД Тастемировым по пришедшей сверху разнарядке. Неизвестно, по каким причинам во враги народа записали именно их. Может, все дело было в их состоятельности, в независимости и нежелании переходить в колхоз или в дедушке Молдрахмете, известном на весь уезд богослове; может, их род выбрали потому, что они по крови не пересекались ни с кем из ныне властвующих и за них никто не просил.

В тот день, уезжая из урочища, они этого не знали. И на следующий день, и через неделю, когда им по очереди будут отбивать ногами почки в заплеванной камере райцентра, требуя сознаться в подготовке мятежа и свержения советской власти, они все равно до конца не будут понимать – что произошло? Не верить, что это происходит с ними и что это для многих навсегда.

Каждый день, каждую минуту они будут ждать, что двери набитой общей камеры откроются и им скажут: «Мы разобрались, вы мирные люди, езжайте назад в свою Степь, к женам и детям, им плохо без вас». Но вместо этого их всех отправят в Кустанай, где на

суде каждому из них будет зачитано обвинение в подготовке захвата власти в районе. Им дадут от десяти лет лагерей и выше. И все равно понимание придет не сразу. Уже после суда один из мужчин урочища, низкорослый и щуплый, с выбитыми на допросе зубами, непонимающе спросит у конвоира-уйгура: «За что нас так?»

Но уйгур не ответит, цыкнет только: «Тихо будь...»

Многие уйдут в лагерь, как в вечность. Сгинули в них навсегда родные дяди Кахара: Жунус, Мухамбет, Ергали, родной брат деда Молдрахмета Нарбай с сыном Темиром. Их всех в 1991 году посмертно реабилитируют, официально признают невиновными. Отец Кахара Кенжегали восемнадцать лет лагерными ночами будет вспоминать день, когда их увозили из урочища, и больше всего на свете будет корить себя за то, что не попрощался тогда со своей женой Акжигит и даже не взглянул на сына. Ему казалось, что это было крайне важно – посмотреть сыну в глаза и чтобы сын посмотрел в ответ, что ему было бы гораздо легче после этого взгляда. Он вернется в 1947 году – беззубый и седой, по полной хлебнувший познание добра и зла, знающий цену каждому дню и осознающий невосполнимость утраченного мгновения.

Он вернется, но это будет в далеком будущем.

А сейчас всадники и повозки отъезжали от урочища, пока не стали в белой от инея степи маленькими черными точками.

Оставшиеся в урочище женщины тоже не знали, что мужчины больше не вернутся. Верили, что их позвали на сход. Вечером в юрту Турсин зашла Акжигит. Кахар уже знал, что Акжигит его настоящая мать, а Турсин

приемная. В свои шесть лет мальчик особо не задумывался, почему так вышло, просто принял как должное, что у него две матери.

Женщины были разные, но родственная схожесть в их лицах читалась. Турсин считалась в ауле красавицей – статная, густые черные волосы с пробором посередине, прямые брови, глаза с миндалевидным разрезом, высокие скулы, узкий женский подбородок. Полные, ярко очерченные губы. Когда не надевала кимешек, головной убор замужних женщин, наглухо скрывающий волосы, шею и грудь, оставляя только овал лица, оказывались видны ее тяжелые косы до поясницы.

Акжигит была другой. Женственная, грациозная, ее лицо было словно освещено тихим светом изнутри. Черты лица оставались гармоничны, но неброски, красота пряталась во взгляде, в улыбке, в обаянии. Кахар давно заметил, что ее карие глаза были разного цвета, вернее, разного оттенка: на одном из глаз радужная оболочка была более светлой, чем на другом, и маленькому Кахару казалось, что в этом есть что-то мистическое.

В тот вечер Акжигит пришла грустная, с припухшими глазами. Ее мир стоял на двух основах – на сыне и муже Кенжегали. Сына у нее забрали давно, но она знала: он рядом в ауле. Теперь забрали любимого мужа, и она не находила себе места, страдала.

– Не переживай. До района путь неблизкий. Завтра мужчины вернутся, – сказала ей Турсин.

Акжигит соглашалась, что да, завтра вернутся, но глаза при этом оставались несчастными. Лишь по-

том, много лет спустя, Кахар понял, что она приходила к ним в юрту по единственной причине – увидеть сына, обнять его взглядом, каким-то одним жестом, мимолетным прикосновением выразить свою любовь к нему, показать, что связывающая их пуповина не разорвалась, а становится лишь крепче. Если бы она родила еще одного ребенка, ей было бы легче, но она не родила. Кахар тогда не понимал, что она приходила именно к нему. Тем более что у него в тот вечер были свои ребячьи дела.

Женщины о чем-то разговаривали, а он выскочил из юрты и, торопясь, пока не стемнеет, направился к растоптанному конями и людьми пространству между юртами, где утром стояли всадники. Он нашел ее почти сразу – стреляную винтовочную гильзу. Раньше он таких гильз не видел, у мужчин в ауле ружья оставались старыми – порох да пыжи.

Этот момент ему запомнился точно – желтая продолговатая латунная гильза на его ладони. От нее пахло порохом. И еще чем-то неосязаемым – войной, приключениями, взрослым миром, чем-то пугающим и желанным одновременно. Это было его сокровище. Подумалось, что завтра он покажет гильзу своим друзьям.

Они приехали на следующий день. Не отец, не их мужчины, а все тот же уполномоченный, всадники и повозки. В Степи, где полная свобода взгляда, где горизонт чуть закругляется и кажется, что ты

действительно видишь, что земля круглая, приближающийся отряд был виден издалека. Женщины и дети снова высыпали из юрт. Пахло кизячным дымом, в очагах, в булькающих котлах варилось мясо. Ждали мужчин. По мере приближения отряда и пустых повозок на лица женщин урочища словно легла тень. Все молчали. Глаза Турсин впились в вырастающие фигурки.

Этот день оказался еще страшнее предыдущего, потому что он не оставил за собой никакой надежды. Жизнь словно с размаху захлопнула дверь в будущее, где есть хоть какой-то проблеск света.

– Ваши мужчины арестованы как враги трудового народа, – уполномоченный с красными тряпичными полосами на груди шинели на этот раз даже не слез с коня.

Он больше не улыбался, вел себя самоуверенно и жестко. Его глаза-щелочки блестели. Остальные спешили и пошли обыскивать юрты, вынося на улицу ружья мужчин, ножи, порох. Некоторые ружья еще были с кремневым запалом. Оружие изымали как доказательство попытки поднять восстание. В каждой юрте стены были закрыты дорогими коврами – срывали ковры.

Возле юрты Кенжегали стояла Акжигит: в юрте раскидывали вещи, вспарывали подушки, а она в какой-то прострации сняла с себя головной убор, стояла простоволосая, с расширенными глазами, и ее лицо, потеряв природные краски, оставалось бледным, бескровным. Она ничего не говорила, не плакала, просто стояла и не отрываясь смотрела на уполномоченного. Ружья, ножи – все, что могло выдаться за оружие, скидывали в повозку.

– Вот вернутся наши мужчины, они тебя найдут! – в исступлении закричала одна из женщин.

– Ее тоже в повозку, – гася малейшую попытку поднять крик, приказал уполномоченный. – Угрозы и сопротивление советской власти. Пойдешь в Сибирь вместе со своими мужчинами... Кто еще хочет высказаться?

Судьбу жителей урочища решало много людей – кто-то в Москве в высоком кабинете сказал слово, это слово, переложенное машинистками на печатные страницы директив, читали другие люди, говорили свои слова, а круглолицый казах-уполномоченный являлся лишь материализацией этих слов. И все, что связано с бедой, осталось связанным с его обликом. Костяшки его рук были сбиты в кровь, когда вчера во внутреннем двореке НКВД мужчин загоняли в камеру. Акжигит этого, конечно, не знала, но не мигая смотрела на его руки.

Обыск закончился, плачущую женщину посадили в повозку, всадники сели в седла, только оказалось, что это еще не все.

– Слушать всем! – крикнул уполномоченный, приподнявшись на стременах. – Ваши мужья – враги народа. А по распоряжению крайкома скот врагов советской власти подлежит реквизиции!

Они забрали все, до последней больной овцы. На зиму скот загоняли на огороженное пространство, чтобы животные в тесноте переживали период буранов, а если трава на этом пространстве покрывалась льдом –

мужчины гоняли коней с привязанными на арканах бревнами, чтобы животные могли добраться до травы.

Верблюды, овцы, лошади – все находились за загоном на зимнем пастбище. Животных выгоняли, упирающихся вытаскивали на аркане, собирали в одно стадо. Ситуация была страшна тем, что запасов питания у женщин урочища практически не оставалось, все ждали зимнего забоя, когда пополняются припасы на целый год.

Когда выгоняли скот, маленький Кахар, еще плохо понимая, что происходит, смотрел на свою настоящую мать. Акжигит продолжала неподвижно стоять у юрты. А затем вдруг она с силой зажмурила глаза и закрыла ладонью рот, словно пыталась загнать обратно крик изнутри. Плач стоял по всему урочищу.

– Что вы делаете? Зима же! – кричали и плакали женщины.

И, глядя на них, дети тоже плакали. И Какар плакал. И женщина заходила в повозке, хотя у нее теперь была своя, отдельная от аула судьба. Уполномоченный не обращал внимания на их слезы. Он уже привык к своей работе, ему сказали, что Аллаха нет, и он искренне считал, что наверху в небесах пусто – небу нет дела до людей, и души у человека тоже нет, все это выдумки: человек от обезьяны.

– Отдайте наших мужчин, – кричала с искаженным лицом Турсин. – Чем мы будем кормить детей? Забирайте тогда и наших детей...

Несчастливая женщина тогда не понимала, что ее слова скоро сбудутся...

Падал редкий снег. Скоро Степь побелеет до горизонта. Всадники уехали, уведя весь скот. В юртах хаос после обысков. Зимнее пастбище осталось пустым. Деревянные загоны из столбов и досок, которые устанавливал еще дедушка Молдрахмет, сразу стали выглядеть заброшенными. Пространство пастбища скоро побелеет от снега, исчезнут следы копыт, загон пойдет на дрова, и зимовка, которая кипела жизнью здесь три века, сольется с белой степью, как будто ее и не было на земле.

Есть такая легенда... Великая Степь так полюбила своих детей-кочевников, что обняла их, не рассчитав силы. Поэтому у казахов остались заметно выраженные скулы и узкие глаза, словно они зажмурились от крепких объятий. Владычица-Степь дала своим детям скот для пропитания. Теперь этот скот забрали другие люди. И Великая Степь, с ее пустынными огромными пространствами, миражами и снежными буранами, из любимой и родной земли легко могла стать беспощадной и страшной.

3

Тургайская степь, 1932 год

Когда-то давно, когда Кахару было четыре-пять лет, он наблюдал одну картину, которая врезалась в память на всю жизнь. Ничего не помнил с того сытого и беззаботного времени, а эту картину запомнил.

Лето, жара, ему скучно, он гоняет по войлоку черного жука. Жук цепляется за его палец зубчатыми

лапками, щекочет кожу. Затем чуть дальше от юрты произошло какое-то движение, мальчишка посмотрел в ту сторону и увидел сокола, который поймал горлицу. Горлица была по пыльной земле распростертыми крыльями, а сокол, с развитой грудью, с коричневым оперением с белыми и черными перышками, крепко прижимая свою добычу когтистой лапой, выклевывал несчастной птице голову. Выклевывал не торопясь: клюнет коротким изогнутым клювом, к которому пристал пух, замрет, покрутит по сторонам своими красноватыми глазами, затем нагнется и снова резко клюнет.

Горлица билась, теряя перья. Если бы она могла кричать, она бы кричала не переставая. В какой-то момент птица вырвалась, побежала, волоча крылья по земле. Ее голова была красной от крови. Сокол нагнал ее в один прыжок, снова прижал к земле и продолжил не торопясь клевать дальше. Обычная картинка жизни, но маленькому Кахару так стало жалко эту горлицу, словно он пережил все ее чувства: страх, боль, надежду и снова боль и смерть. Мальчик подошел тогда к отцу, но Жунус лишь пожал плечами. Птицы есть птицы. Они не люди, им не дано познание добра и зла. Они не знают, что такое жалость. У них нет души. Действуют законы природы, выживания, и в них нельзя вмешиваться человеку.

Образ этого сокола, его круглые немигающие красные глаза стали для Кахара потом олицетворением не ведающего сострадания голода.

Прошло уже три года с тех пор, как из аула забрали всех мужчин. В первый год женщины еще как-то справлялись. Продавали, меняли на еду серебряные кольца,

подвески и серьги, ковры и упряжь, срезали с передаваемых из поколения в поколение свадебных головных уборов – саукеле – монеты, жемчуг и кораллы. Исчезли яркие краски, дорогие наряды поменялись на мешок с кониной, а те, которые остались, как-то быстро выцвели и обветшали, – голодная Степь раскрасила все в одни тона. Вначале еще кто-то что-то покупал, обменивал... Но потом все оказались в одном положении. Наступили годы Великого джута, страшного и беспощадного голодомора для жителей Казахстана, унесшего третью часть его населения.

После исследователи называли множество причин возникновения голодомора, из-за которого Степь потеряла более полутора миллионов жителей умершими и выбывшими. Здесь и засуха, и зимний гололед в Степи, бескормица, но главной причиной были эксперименты с людьми, с колхозами, советизация, насилие и принуждение к оседлости, то, что подорвало основы жизни казахов, – кочевое скотоводство. По идее, колхозы должны были заниматься реквизированным скотом не кочуя и одновременно осваивать незнакомое, нетрадиционное для скотоводов земледелие. Но из-за отсутствия кормов скот практически сразу пошел под нож. И вместе со скотом пошел под нож голода целый народ.

В начале времен земледелец Каин из ревности убил брата своего – пастуха Авеля. Древние иудейские тексты говорили:

«Каин принес Господу произведения своего земледелия, а Авель молоко и первородное от стад. Господь выбрал жертву Авеля, отдавая предпочтение тому, что

возникло самостоятельно, по своей природе, перед тем, что было насильственно вызвано из земли по расчету корыстолюбивого человека».

От земледельца Каина началась история цивилизации на земле: он поставил первые пограничные столбы, придумал систему измерения мер и весов и построил первые города. Степная же культура веками оставалась без изменения – одни и те же слова при обрядах, одни и те же места кочевков по неменяющейся Степи, гармония с природой. И снова земледельческая цивилизация Каина, как тогда, на заре человечества, погубила многочисленного на полтора миллиона ипостасей пастуха Авеля.

Голод... Это слово сродни смерти. Но не смерти желанной – упокою в полноте прожитых лет под плач родственников, а смерти мучительной и одинокой.

Сухая трава под снегом не давала ничего, кроме рези в животе. Пустые сусличы и сурочьи норы. Возле кустарника иногда попадались норки боялычной сони, похожего на мышку зверька, современника мамонтов, живущего здесь еще со времен ледникового периода. Можно было бы попробовать добраться до пищущего острозубого серого комочка, но соня прячется глубоко под землей в разветвленных ходах, и найти ее крайне сложно.

До горизонта желтая равнина с белыми пятнами наметенного снега. Высохшие метелки ковыля. Замерзшие озерца, в которых нет и никогда не было рыбы, сугробы возле пологих возвышенностей. Снежная позем-

ка. Серое безрадостное небо. Родная, единая с душой, любимая и беспощадная Степь.

Недалеко от урочища Кахар увидел на земле мертвую старуху. Не из их мест. Она лежала на спине среди высохшей полыни. Голову покрывал кимешек – когда-то белый, а сейчас грязный и запыленный от сухостоя травы. Кожа высохшая, одна рука откинута, другая лежит на груди. Рот открыт.

Эта женщина была уже не первым мертвецом, которого находили неподалеку от аула. В Степи шло неприметное глазу постоянное движение, люди, спасаясь от голода, уезжали на восток и на север, кто-то из них умирал по дороге, и его даже не хоронили, оставляя в бурьяне. Скоро эту пожилую женщину объедят лисцы, затем присыплет снегом, и она станет невидимой – сольется со степью.

– Не смотри в ее лицо, – шепнул сам себе Кахар.

Он собирал топливо для очага. Избегая смотреть на мертвую старуху, повернулся и быстро пошел в сторону урочища. Ему казалось, что женщина за его спиной села и сейчас позовет его по имени.

В ауле, где раньше царили оживленная суতোлка и гомон, сейчас было пусто и тихо. Он словно вымер. Не было видно даже следов на нетронutom девственном снегу. Саманные домики, построенные из глины с соломой, с провалившимися крышами, юрты, когда-то нарядные, с красивыми дверьми, смотрелись давно нежилыми. В огне очагов сгорели разломанные на дрова повозки, ненужные без лошадей. В самой юрте, где

жили Кахар и Турсин, раньше раскрашенной красками шелка и ковров, где каждая вещь когда-то подчеркивала достаток, сквозь отверстие для очага виднелась нищета: деревянная обрешетка и старый войлок. В юрте было холодно, очаг почти потух, красные мерцающие угольки в золе чуть тлели.

Когда были мужчины и оставался скот, юрты обогревались топливом из кизяка, высохшего на солнце помета животных. Их не стало, не стало и топлива. Приходилось ломать ветки кустарников и сухие стебли камыша, которых огню хватало на мгновение. В юрте не снимали тулупов. Турсин обычно лежала под одеялами, нагрев дыханием пространство под покровом, но сейчас она сидела у очага. Ее высокие, обтянутые кожей скулы резко очертились, полные раньше губы высохли, лишь заплетенные в косы густые черные волосы напоминали о прежней красоте. В глазах больной блеск.

– Акжигит приходила, – произнесла она, как-то странно взглянув на Кахара. – Нам нужно больше дров.

И мальчишка сразу увидел возле очага чистое полотенце, на котором лежал маленький почерневший кусочек мяса с отрубленной костью.

Кто голодал, тот знает: голод вытаскивает на свет все худшее, что есть в человеке, он разрушает даже кровные узы, но он же показывает и все лучшее, что есть в человеческой душе. Есть только одна бесспорная добродетель, которая не имеет заднего смысла, – это самопожертвование, и в голоде самопожертвование в сто раз ценнее, когда жизнь отдается во имя другого не разовым подвигом, не вспышкой, а долгим

горением подобно тому, как, оплавляя свечку, горит ее огонек...

В начале осени, когда еще были колхозы, женщины аула на последние средства втайне купили у одного из забойщиков старую кобылицу, последние украшения поменяли на драгоценную муку, разделили все по семьям и ели маленькими кусочками, сваренными в казанах с травой. Потом в ход пошли болтанки, кости и шкура. В семье Кенжегали Акжигит осталась одна, ей тоже выделили часть мяса и муки.

И с тех пор ежедневно Акжигит приходила в юрту Турсин и приносила ей и Кахару по маленькому кусочку этого мяса и кусочки печеных лепешек. Сама опухшая от голода, она приносила замороженный кусочек и, пытаясь улыбаться, при этом рассказывала какую-то сказочную историю, что мясо ей досталось от встреченного в степи случайного человека, когда она собирала хворост, что она уже наелась досыта и вот принесла остатки им. Что за нее беспокоиться не надо, она везучая – постоянно кого-нибудь встречает, кто-то приносит, делится с ней продуктами. Турсин было件 понятно, что к своей части кобылицы она даже не притронулась. А Акжигит каждую ночь засыпала с одной мыслью – завтра она опять увидит свою кровиночку, первенца, сыночка.

У нее больше не было детей, она не смогла еще родить, и ей было крайне важно спасти, поддержать его, быть ему нужной, настолько важно, что голод оказался над ней не властен, хотя он забирал человеческий облик и у сильных, храбрых мужчин.

Как-то в один из таких приходов Кахар вышел из юрты вслед за ней. И сказал ей в спину: «Мама». Негромко, чтобы не ранить Турсин. Может, он звал ее так и раньше, он не помнил. Запомнился именно этот момент. Акжигит обернулась. Ее губы вдруг искривились, задрожали, а широко раскрытые глаза стали мокрыми. Слезы полились, как вода, капая с подбородка. Все произошло в одну секунду, словно внутри нее что-то лопнуло, и они впервые, рыдая, обнялись. Родная мать и ею недоласканный сын.

– Мама, – тихо повторил Кахар.

Акжигит впервые после рождения сына снова почувствовала себя счастливой и любимой. Она плакала от этого счастья и улыбалась сквозь слезы. За любовь деньгами не расплатишься, за любовь надо платить любовью. Кахар этого сделать в полной мере не успел. И поэтому нерастраченный долг любви останется в его душе навсегда.

Маленький черный кусочек мяса, который олицетворял сейчас все сокровища мира. Его ели следующим образом. Вначале Турсин кидала его в воду и очень долго варила, чтобы мясо отдало в бульон все клетки жизни. Жира на поверхности не виднелось, но его можно было представить. Почти весь горячий бульон Турсин отдавала Кахару. Затем мясо варилось по второму кругу, доставалось практически разделенное на прожилки, а во вторую воду бульона добавлялась сухая трава. Чтобы обмануть желудок и, избавившись от нетерпения, посмаковать прожилки мяса. После дробили кость.

Мерцали красноватые отсветы на стене от огня очага. В юрте стало чуть теплее, горячая травяная похлебка в желудке создавала иллюзию сытости. На щеки Турсин вернулись слабые краски жизни. Она молча сидела у затухающего очага, на ее переносице обозначились две скорбные складочки. Думала о муже, о своей несчастной судьбе, о младшей сестре, которая оказалась сильнее и светлее их всех. Думала и о том, что наступающую зиму они с Кахаром не переживут. Мысли были отчищены от эмоций, она просто и строго констатировала факт. Маленький Кахар уже спал, укрывшись одеялами и старым отцовским полушубком, ему снилась еда, полная юрта еды, вся степь завалена едой, и он ел – много и вкусно, но эта прозрачная еда не насыщала даже во сне.

Утром небо очистилось, в низких облаках показались просветы, и степь на востоке загорелась красным морозным рассветом. И за далеким Уралом вставало солнце, поросшие лесом сопки отбрасывали тени, колючая проволока на запретках была белой и мохнатой от инея, в рассветном полумраке горели прожектора, и темная, дышащая паром масса людей строилась возле вахты на выход в рабочую зону.

Звенел от ударов рельс, лаяли, рвались с поводков собаки, конвоиры в валенках и белых полушубках с высокими поднятыми воротниками считали людей по пятеркам. В одной из пятерок прятал замерзшие руки в рвань рукавов телогрейки казах Кенжегали. Его глаза были мутными, страдальческими. Притопывая на месте, он смотрел на поднимающееся над тайгой в морозной дымке солнце и думал о своей жене и сыне. От проходящих с последними этапами казахов он слышал о страшном

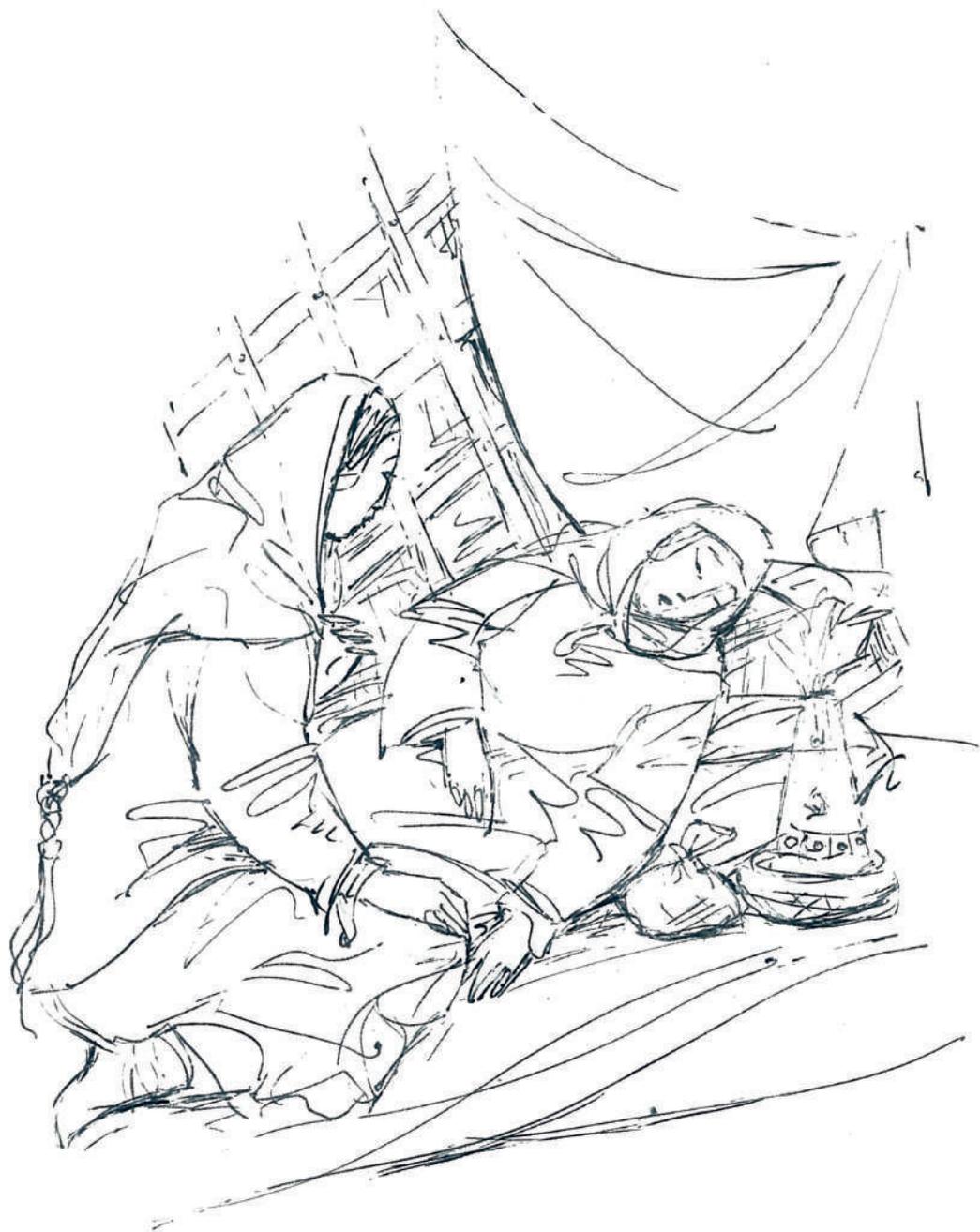
голоде в своем родном краю. И мучился за них. То, что происходило с ним, казалось ему неважным.

Когда человек любит, ему всегда кажется, что другим тяжелей.

4

А голод в Казахстане только набирал силу. Кто-то нашел в степи дохлую лисицу, съел ее, и пошла по аулам холера. Женщину с их урочища, высохшую, с желтым лицом, рвало на улице, потом у нее начался кровавый понос, она умерла в своей юрте, и никто к ней не зашел. Во многих юртах лежали мертвые, еще больше людей, пока были силы, старалось уйти в районный городок Тургай, в Кустанай, в Китай – куда угодно, лишь бы подальше от смерти; жевали по пути овечью шерсть и высушенную черную полынь, чтобы обмануть желудок, но смерть находила их по дороге. А те, кто доходил, умирали в городах. Голод их добивал, как тот сокол из воспоминаний Кахара с незнающими жалости круглыми глазами клевал и клевал бьющуюся на земле горлицу.

Целыми семьями люди снимались с места, шли к железной дороге, где жили русские поселенцы и куда, говорят, привозили продовольственную помощь голодающим, но не доходили. Ели мертвечину, продавали все, в том числе и детей. По всему краю случались акты каннибализма. Стояли в Степи пустые аулы: в юртах оставались вещи, смерзшиеся ковры; стояли возле юрт повозки, и никого – только ветер и цепочки следов лисиц и волков на белом снегу.



Несмотря на то, что Кахару было девять лет, он плохо запомнил то время. Оно осталось в памяти каким-то темным мазком; память словно берегла рассудок, сделав воспоминания мутными, как воды реки перед замерзанием. Помнилось только исступленное чувство голода. Руки и ноги опухли, если надавить на кожу, там оставалась белая вмятина, которая долго не выравнивалась. Помнилось, как ходил за топливом для очага, собирал непослушными руками сухие ветки кустарника, помнилось, как потом уже не было сил, и голод стал меньше мучить, как он лежал в юрте на мерзлой постели, в какой-то сонной апатии смотря на влетающие в отверстие вверху белые снежинки.

Они кружили по юрте в столбе света, опускаясь на золу, на пол, ему на лицо – белоснежные кристаллики, каждый со своей неповторимой структурой. Турсин лежала под одеялами, кругом стояла тишина, в мертвом ауле не раздавалось ни звука, и в степи вокруг аула царило полное безмолвие.

Акжигит вчера не пришла. В последний приход было заметно, что она таяла на глазах, часто кашляла. Ее ждали, а она все не приходила. Турсин взяла Кахара, и они пошли к ней. Главные события в нашей жизни часто происходят как-то обыденно и просто, без осознания глубины случившегося. Оно приходит позже. Когда они подошли к юрте, Какар остался у входа, а Турсин прошла на женскую половину. В постели поверх цветного узорчатого одеяла лежала Акжигит, одетая в свой свадебный наряд и простоволосая, без саукеле – головного убора. Лицо с резко очерченными выпирающими скулами отливало золотистой медью.

Она улыбалась. Мертвая. У изголовья лежал увязанный крест-накрест матерчатый сверток. Турсин поняла, что вчера Акжигит собралась в последний раз пойти к ним, поэтому и оделась в свой свадебный наряд, чтобы попрощаться и чтобы сын навсегда запомнил ее такую, какой она была в самый счастливый день своей жизни, в день свадьбы. И не смогла, не хватило сил.

Турсин, плача, простилась с сестрой, накрыла ее цветастым курпе, прочитала молитву и, взяв приготовленный Акжигит сверток, пошла к выходу.

– Она потом к нам придет. Сейчас не может, – сказала сыну.

Наверное, Кахар тогда так и не понял, что мама умерла. Или он потом себе придумал, что не понял. Он не видел Акжигит мертвой, и это потом ему дало возможность придумать, что мама просто осталась, спала и что она и по сей день спустя годы находится в том исчезнувшем ауле.

Смерть Акжигит и содержимое свертка вывели Турсин из апатии. В свертке оказался саукеле, головной свадебный убор, самая дорогая часть женского свадебного наряда, украшенный драгоценными камнями, и кусок кости с остатками конского мяса. Акжигит словно указывала путь к спасению: «Уходите, это вам поможет выжить в пути». Сознание Турсин словно вынырнуло из сонного тумана. С пронзительной ясностью она осознала, что жить им здесь осталось несколько дней и никто на помощь не придет, потому что некому прийти. Начнется период метелей, аул занесет по крыши; затем весна, жаркое лето, снова

зима, а они так и будут лежать в юрте. Права Акжигит. Иного выхода, кроме как уходить, чтобы попытаться спастись, у них не было.

В своей жизни она знала лишь одну дорогу – по которой ее привезли в урочище на свадьбу с Жунусом. И поэтому она приняла естественное решение следовать туда, где своя кровь, в поселок Семиозерный, где проживали два ее брата. Семиозерный находился в трехстах километрах от урочища Кен-Табан, ее это расстояние не остановило. Она решила биться с судьбой в кровь за себя и приемного сына.

Разрубила деревянный узорчатый сундук, разожгла очаг, обожгла на огне кусок шкуры, тщательно соскоблила обгоревшую шерсть, нарезала ее узкими полосками и долго вываривала в казане вместе с мясной косточкой, драгоценным посмертным подарком Акжигит. Вечером они с Кахаром съели часть мяса вперемешку с вываренными добела полосками кожи, запивая горячей шурпой. Остатки мяса и уваренной кожи она бережно собрала и увязала в чистую тряпочку, в небольшой торсык перелила остатки шурпы, все уложила в корзин – им в дальнюю дорогу.

Ушли из урочища на следующий день на заре, невидимое за серыми тучами солнце вставало над Степью, даль посветлела, падал редкий снег. Уходили не оборачиваясь – закутанная в платок истощенная женщина и маленький мальчик в овчинном тулупе, в отцовской старой меховой шапке, которая постоянно сползала ему на глаза.

В первый день они прошли двойной «кунан шаптырым» – расстояние, преодолеваемое жеребенком вскачь, равное восьми-десяти километрам. Останавливаясь для передышки несколько раз, Турсин поила мальчика шурпой и давала пожевать, чтобы подкрепился, пару кусочков мяса и полосок кожи. К вечеру тучи разошлись, небо просветлело. Слегка подмораживало. На ночлег выбрали место на берегу озера, в камышах. Легли, укрывшись взятой из дома овечьей шкуркой, прижимались, согревая друг друга дыханием. Спать у Турсин толком не получилось, дремала в забытьи, Кахар же проспал почти всю ночь, согреваемый ее теплом.

Двинулись в путь рано, когда красный диск солнца вставал на горизонте и бескрайние пространства в лучах рассвета окрасились в розовые тона.

То утро осталось в памяти яркой картинкой. Путь по Степи не запомнился, а вот эта картинка осталась. Взойдя на пологую заснеженную возвышенность, они вдруг увидели недалеко целый город из юрт. Юрты почему-то были выставлены ровно в ряд. Богатые юрты из лучшего белого войлока. Морозная дымка стелилась по земле, как туман, пряча в себе основания степных жилищ, но крыши видны были явственно. И вроде приглушенно лаяли собаки. Это была рефракция – мираж. Лучи солнца в Степи переломились, меняя все понятия о расстоянии: город из юрт мог находиться в пятидесяти или ста километрах от них, причем совсем не в той стороне, где его показывала рефракция. Фантомное видение, заманивающее путников вглубь Степи.

На вид до юрт было не более двух километров. Но Турсин знала, что там ничего нет, и они не пошли в тот призрачный аул.

На самом деле город из юрт находился в восьмидесяти километрах, являясь воплощением одной из идей расстрелянного в Самаре осенью 1941 года секретаря крайкома партии Голощекина. Это был колхоз. Такие поселки ставились в разных местах: богатые юрты забирались у баев. Сейчас там не было ни души. Заброшенный колхоз стоял в голой Степи словно символ эпохи перемен и Великого голода, проходящего сейчас по всей казахской земле. Закутанная в платок женщина и маленький мальчик до этого видели голод только в их ауле, еще не понимая всего масштаба трагедии.

– Мы обязательно дойдем... – постоянно, как молитву, приговаривала в пути Турсин. – Там мои братья, там богатый край... Озера, много озер. Вода в озерах чистая, прозрачная, сладкая... Пей, сколько хочешь... И лес... Высокие деревья. Стройные хвойные сосны. Большие березы. Ты никогда не видел таких деревьев... А в лесу ягоды. У людей много скота. Когда придем, знаешь, как наши родственники обрадуются?.. Братья приготовят бешбармак, шурпу, будут о нас заботиться. И мы никогда в жизни не будем больше голодать...

Турсин рассказывала мальчику о прямых улицах поселка с удивительными домами из камня, о священном озере Аулиеколь, где по преданиям находится могила неизвестного святого – человека Божьего, пророка и странника. Кахар слушал Турсин, и перед глазами представлялись огромные деревья, стволами уходящие

в небо, зеркальная поверхность озер и наваристый бульон с золотыми пятнами жира. А потом, когда и мама придет к ним в это необыкновенное место, вообще все станет замечательно и прекрасно.

Мальчик не знал, сколько им надо еще идти, но вторая мать понимала это хорошо. И надеялась на чудо. У нее оставался посмертный подарок Акжигит – саукеле, ее свадебный головной убор. В переводе – «сау» – солнечный, «келе» – голова. Стоимость саукеле могла достигать до ста коней и выше. Свадебный убор представлял из себя высокую конусообразную шапку из дорогого бархата, по краям отороченную мехом норки и бахромой с золотыми монетами. Верх украшен традиционным пушистым пучком из перьев филина. Это символ перехода от беззаботной жизни девушки к ее призванию замужества и материнства. Сам убор был богато украшен драгоценными камнями – небольшими, похожими на капли крови, необработанными рубинами, темно-зелеными изумрудами, жемчугом, играющим на свету перламутром.

Все женщины урочища давно поменяли самоцветы, серебро и золото на еду, а Акжигит свой свадебный убор сохранила. Даже после смерти она продолжала помогать своему сыну и старшей сестре. Им было чем заплатить. И Турсин считала, что стоит им только увидеть какую-нибудь повозку, как они будут спасены.

И такие повозки действительно появились. В полдень одна медленно проехала мимо, на них даже никто не посмотрел, не отозвался на мольбу Турсин о помощи. Но не мерю Господь дает чудеса. Ближе к вечеру их

нагнал обоз из двух упряжек. Турсин вытащила саукеле и быстро пошла рядом с головной повозкой, показывая его мужчине в зимнем чапане, рядом сидели женщина с ребенком лет двенадцати и морщинистая старуха в закрывающем шею и грудь высоком кимешеке. Возница натянул вожжи, остановил обоз и, внимательно рассмотрев головной убор, молча передал его старухе. Она, оглаживая узловатыми пальцами морщинистых рук меховую оторочку саукеле, зорко рассмотрела каждый драгоценный камень.

– Жаксы (рус. хорошо), – сказала старуха.

Когда остановились на ночлег, их напоили чаем, выдали немного вяленой конины и почти полведра прожаренных семян проса. Кахар горстями ел вкуснейшие желтоватые мелкие горошинки, пока Турсин решительно не сказала: «Хватит!» Неделю они ехали вместе с этой семьей. Потом возле какого-то заросшего заснеженными камышами озера их пути разошлись. Турсин за эти дни отдохнула, поправила силы и теперь была уверена, что они спасены: до Семиозерного, необыкновенного места, где растут высокие сосны и живут ее сильные братья, было недалеко.

Трудно сказать, что стало с той семьей, которая их спасла и с родственниками направилась в Китай, далеко не все переходили границу. Приходилось за большие средства нанимать проводника, чтобы он провел людей ночью, минуя пограничные «секреты». Но пограничники, зная тропы, выставляли передвижные, «блуждающие» посты. Гремели в темноте пустынных нагорий Синьцзяна винтовочные выстрелы. За время Великого голода и джу-

та в Китай и Монголию уйдут сотни тысяч кочевников, и тысячи из них будут убиты на границе только за то, что они хотели выжить и спасти своих детей.

Красные рубины, срезанные с саукеле Акжигит, могли оказаться где-нибудь на уйгурских рынках Китая, а могли остаться в кармане шинели обыскивающего убитых краснозвездного пограничника.

Вокруг Семиозерного и вправду было много озер и сосновый лес. Когда-то здесь располагался Жакейлин-аул. Это был важный перевалочный узел на незримых картах кочевников, движущихся с юга на север. Кочевники останавливались на берегах озер, строили зимние загоны для скота, навесы для больных животных. Кругом стояли юрты, кошары, складские постройки. При освоении целинных земель колонистами из России и Украины в 1880 году часть переселенцев осела здесь. Разграничили улицы и участки для застроек.

И Жакейлин-аул постепенно превратился в поселок Семиозерный. Некоторые переселенцы скупили у местных баев участки земли, а также пахотные и сенокосные угодья. Построили церковь. Из Кустаная стали приезжать торговцы-хищники, без совести грабящие местное население. Они богатели, наглели. На берегах озер теперь стояли избы или большие каменные дома. Появились магазины, пекарни, мельницы, небольшие маслобойные заводы. Затем советская власть все это

экспроприировала. И на активах поселка Семиозерного был создан колхоз «Степь».

– Мы дошли с тобой, Кахар, – Турсин показала рукой на возникшие дома поселка.

Они шли по дороге, по бокам которой росли высокие деревья с голыми заснеженными ветками. Лицо женщины посветлело, на обветренных губах появилась слабая улыбка. Они дошли... Не остались лежать мертвыми в юрте исчезающего аула или в бескрайней степи, среди снега и желтого ковыля, с инеем на ресницах и открытыми стеклянными глазами. Они победили голодную Степь. Турсин вернулась в свой родной край.

Мелькнуло воспоминание из светлого детства: она в красивом небесно-синем платье и приталенном жилете с замысловатой серебряной вышивкой, вокруг шумит праздник, много лиц, братья в кафтанах, счастливые мама с папой, много солнца и ощущение полной беззаботности детства. Ей подводят жеребца, его короткая рыжая шерсть ощущается ладонью как бархат. Мир твердо стоит на непоколебимом основании, она любима всеми – все говорят, что она красавица. И завтрашний день для нее обязательно будет еще лучше, чем день вчерашний.

– Скоро мы будем дома, – взглянув на шагающего рядом Кахара, произнесла Турсин.

На его губах светилась слабая улыбка.

Мальчишка во все глаза смотрел по сторонам. Чтобы пройти к одному из озер, где располагались юрты зимовья рода Таз, им требовалось пересечь весь

поселок. И по мере того как они шли по улицам, с лица Турсин постепенно уходило выражение радости. Кругом были люди. Они сидели, лежали по обочинам. Черные от грязи степняки с иссохшими от голода лицами: матери с детьми на руках, от которых осталась только кожа да кости, мужчины, подростки, старики. В канаве лежали мертвые. Все они пришли в поселок из окрестных аулов и теперь медленно умирали здесь от голода. Их было невероятно много.

Возле какого-то вымершего заводика женщина и маленький мальчик увидели замерзшие лужи с красноватым льдом. Здесь находилось место для забоя скота, совсем недавно здесь забивали огромные стада. Сейчас там было черно от людей. Люди крошили лед с грязью и частичками засохшей крови, набивая им рты.

В поселке находился рынок. Проходя мимо него, Кахар увидел картину, которая навсегда врезалась в память. Ряды стояли пустыми, только на одном из них одетый в полушубок мужчина продавал хлеб. Белесые лепешки, похоже, приготовленные совсем без масла. Все взгляды сидящих на земле людей сфокусировались на этих лепешках. Там же находилась женщина с тремя детьми: одним мальчиком – ровесником Кахара и двумя девочками по три-четыре года, одетыми в какое-то рваньё. Они стояли и не моргая смотрели на лепешки. В какой-то момент женщина, пошатываясь от слабости, с испуганными глазами, направилась к прилавку. Дети остались стоять.

Ни слова не говоря, словно находясь во сне, женщина взяла одну из лепешек и пошла обратно.

– Эй! А деньги? – опешил продавец.

Женщина как шла, так и шла. Тогда мужчина в полубудке выскочил из-за прилавка. В два шага он нагнал идущую, как в прострации, женщину, схватил ее сзади рукой за волосы, сорвав платок, и повалил на землю. Она даже не вскрикнула. Мужчина вырвал из ее рук лепешку и принялся бить ее ногами, стараясь попасть по голове и в живот. Женщина пыталась прикрыть голову руками, сгибалась на земле. Одетые в рванье дети подбежали к ним. Мальчик вцепился в рукав продавца, но был отброшен в сторону, а девочки, плача и крича, легли на маму, закрывая ее от ударов.

Перед глазами Кахара сразу появился коршун, заклеывающий беспомощную горлицу.

Что было дальше с той женщиной и ее детьми, он не видел. Они с Турсин повернули по улице к озеру. Довольно большое по степным меркам озеро белело льдом. Вокруг стояли высокие сосны. С одной стороны озера на берегу виднелось здание местной школы-интерната. С другой стояли юрты. Турсин тяжело дышала, пальцами впиалась в плечо Кахара, словно искала у приемного сына силы пройти оставшиеся двести метров. В ней еще жила надежда.

Но не было никого. Нетронутый снег. Не пахло дымом, не лаяли собаки, завидев чужаков. Юрты смотрелись нежилыми, заброшенными – совсем как в покинутом урочище. Турсин отказывалась принимать реальность.

– Вот здесь. Эта наша, – выдохнула она, останавливаясь возле одного из жилищ.

Они вошли внутрь. И тогда мальчик испугался. Он не понял, что они шли сюда зря, – его испугала Турсин. Как слепая, она шарила руками по мерзлым стенам юрты, словно искала еще один, невидимый вход.

– Сейчас, – повторяла она. – Сейчас...

Кахар заплакал, схватил ее за руку и потащил из юрты. На улице она долго стояла, выговаривая вслух:

– Как же так, как же так? Где все, где мои сильные братья? Что с ними?

Какая-то согнутая старуха, закутанная в шерстяной платок, подошла к ним, Турсин очнулась и обратилась к женщине:

– Амансыз ба (рус. здравствуйте), – ее глаза были умоляющими. – Меня зовут Турсин. Я дочь Таубая. Это мой сын. Я ищу своих родственников, двоюродных братьев – Кентай и Конжатай. Они жили здесь. Скажите мне, куда они переехали?

Старуха подслеповато взгляделась в лицо женщины и маленького мальчика, пожевала губами и ответила:

– Ты дочь Таубая? Не помню тебя. А Кентай и Конжатай умерли. Оба. Еще осенью. Тут все умерли. Одна я осталась...

Старуха ушла, продолжая что-то бормотать себе под нос.

Потом Турсин и Кахар сидели на улице. Падал редкий снег. И казалось, что во всем мире осталось только три цвета: белый цвет снега вокруг и на крышах домов,

заснеженный лес, черные деревья и непроглядный серый цвет неба. На Турсин обрушилась вся Вселенная. Не сразу – постепенно, придавливая ее серым небом, далекими звездами за тучами, Млечным Путем. Постепенно приходило осознание, что идти им больше некуда. И тогда она завывала. Не осталось сил сдерживать в себе боль. Сидела на земле, раскачивалась из стороны в сторону, зажав голову руками, и тихонько выла. Для Кахара было бы лучше, если бы она кричала. Ему казалось, что в ней что-то лопнуло, словно струна на домбре. Ее натягивали и натягивали, пробуя пальцами на звук, она стала тугой и тонкой, но этого казалось мало, и она в один миг лопнула, закрутившись спиралью на грифе.

Кахар плохо помнил тот день. Память поставила заслон. Помнилось, что они сидели, а Турсин все выла – почти неслышно, на одной ноте. И он плакал. Не оттого, что с ними произошло, – ему было страшно за Турсин.

Потом они бродили по поселку, такие же темные от грязи и потерявшие последнюю надежду, как и все остальные. Великий голод властвовал над землей, таких, как они, были сотни тысяч, и их слезинки оставались лишь капельками в океане соленых слез. Слабея с каждым днем, Турсин поняла: день-два – и не сможет подняться, и они навсегда останутся в юрте ее родного аула, умрут так же, как умерла Акжигит. Она решила на отчаянный шаг, последнюю возможность спасти сына, – повела его на другую сторону озера, где стояло длинное здание школы-интерната, переделанное в детдом. Сильно и долго стучала в дверь. Вышел изможденный пожилой мужчина в круглых очках. Турсин, ни слова не говоря, подтолкнула Кахара вперед.

– Ну и куда ты его? – спросил по-русски. – Думаешь, здесь лучше? Думаешь, здесь не умирают? У нас больше не принимают детей.

Турсин не поняла, что сказал этот русский, ориентируясь больше на интонацию, но продолжала стоять на месте и молча, не мигая смотрела ему в лицо. Она была готова стоять перед закрытыми дверями, пока не умрет. Мужчина ушел. Потом к ним на крыльцо вышел казах. В костюме. На вид ему было лет сорок. Он посмотрел на Турсин, перевел взгляд на Кахара и заученно, видимо, в тысячный раз произнес:

– Мы не принимаем больше. У нас нет еды. Мне запретили брать.

Турсин подошла вплотную к нему и, глядя в его черные зрачки, произнесла:

– Я Турсин из рода Таз. Это наши родовые места. Сегодня я умру. Забери моего сына. Его надо спасти. Он последний.

Она произнесла это, чеканя каждое слово. Ее глаза, взгляд, слова, ее материнская сила всколыхнули спрятанные в душе заведующего глубинные, казахские, сыновьи чувства. Колеблясь, раздумывая, он спросил: «Как его зовут?» – прекрасно зная, что никаких документов у степняков не имелось.

– Кахар. Жунусов Кахар, – ответила Турсин.

– Ка-хар... – протяжно повторил начальник, словно раскладывая во рту имя на звуки. – Страдание... Боль... Весь наш народ сейчас надо так назвать. Ладно,

пусть заходит. Запишем как «Какар». Может, судьба поменяется...

Прощания с Турсин не получилось. Кахар ничего не понимал. Чувствовал, как ее мокрая щека прижалась к его щеке. Он обнимал ее, но ощущал, что она торопится, словно человек в костюме ее подгоняет. Только потом он понял, что она боялась долгого прощания, боялась, что у нее не хватит сил, что она сползет прямо у его ног и больше не встанет.

Она ушла, пошатываясь, ничего не видя перед собой. Ушла и навсегда растворилась в миллионе умерших от голода мужчин, женщин и детей. А его завели в длинный коридор с дощатыми полами, где чувствовалось тепло от натопленной печи. Он сел прямо на пол.

– Ну что ты? Иди вон в ту дверь. Там другие дети. Иди к ним, – пригласил заведующий.

Но Кахар отрицательно покачал головой.

– Я буду маму ждать, – ответил он.

– Ну... Ты же только что с ней попрощался.

– Это Турсин. Вторая мама. Она поживет пока в юрте братьев. А настоящая мама скоро придет. Мне надо ее ждать. А то она меня не найдет, – тихо ответил мальчик.

И кивнул головой куда-то в сторону, на юг, где в трехстах километрах, посреди голодной Степи, заметало снегом их безжизненный аул.

С тех пор он около двух лет будет ждать маму каждый день. Просыпаться и ждать, засыпать и ждать...

Придумав себе, что она не умерла, что просто прилегла тогда поспать на цветастом одеяле. Потом он перестанет ждать, но будет мечтать сам вернуться в родное урочище, пройти вдоль кустарника, вдоль места, где раньше был загон для скота, и неожиданно зайти в полумрак юрты, где сидит, что-то вышивая, ждущая его годами Акжигит.

И Турсин он тоже найдет. Чтобы обнять их и больше никогда от себя не отпускать...

– Мама скоро придет, – повторил мальчик.

Мужчина покачал головой в знак согласия, и Кахару показалось, что у него очень добрые глаза. Добрые и все понимающие.

– Да, – произнес заведующий. – Здесь все маму ждут. Пойдем...



Глава 3

1

Житомир, май 1947 года

9 мая в центре Житомира, как и по всему Советскому Союзу, из громкоговорителей с утра гремела победно-патриотическая музыка. Пахло цветущей сиренью. В этом году сирень цвела особенно густо, бело-розовые и фиолетовые гроздья утяжеляли ветки разросшихся кустарников в каждом закоулке. Ощущение праздника дополняли яркое солнце и безоблачное синее небо. Собирая очередь, на углах стояли тележки с мороженым, в киосках продавалась газированная вода с разноцветными сиропами, разлитыми по стеклянным колбам.

Страна восстанавливалась после войны: открывались предприятия, магазины, парикмахерские. Приехали из эвакуации какие-то тетки с накрашенными губами, с фикусами и домработницами – жены партийных и советских работников – и по благу засели в государственных учреждениях. Зарплаты рабочим и служащим выдавали облигациями госзайма. Город очистился от битых стекол и мусора разрушенных домов, и на самых глухих окраинах в окнах мазанок теперь по вечерам можно было видеть электрический свет.

Пройдет год, и празднование Дня Победы отменят, сделав эту дату обычным рабочим днем. Товарищ Сталин скажет: «Пора отложить боевые ордена, нужно стремиться к тому, чтобы грудь украшали ордена за трудовые заслуги». Но это будет через год. А пока

в центре Житомира из громкоговорителей слышались песни военных лет, в парке офицеры гуляли под ручку с девушками в легких ситцевых платьях. Стайками бегали мальчишки. Кругом было зелено от густой молодой листвы.

– Пирожки, горячие пирожки, – надрывались торговки. – Семечки, семечки, жареные семечки...

– Темная ночь разделяет, любимая, нас... – лился проникновенный голос Марка Бернеса.

Больше всего народа собралось на Житном рынке. Горожане с корзинками в руках, загорелые на весеннем солнце торговки из ближайших сел в белых платках, завязанных узелком на лбу. На прилавках можно было увидеть желтоватый зернистый творог, молоко, сметану. На одном из рядов торговали салом. Мелькали лисьи глаза карманников, тесно прижимающихся в очереди к покупателям, вскрывая сумочки и карманы отточенной копеечкой. Ряды гудели. Невзирая на гремевший репродуктор, прямо на земле сидел безногий баянист со слезящимися глазами, играл что-то печально-бравурное, растягивая инструмент. А потом вдруг остановился – меха баяна словно выдохнули – и рывком, с ритмом заиграл и запел:

*– Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...*

И от этой потрясающей песни-гимна, от которой у мальчишек, марширующих в 41-м на фронт, пробежали мурашки по спине, люди сейчас старались уйти подале. Страна не хотела больше помнить войну, она

хотела жить и радоваться жизни, как когда-то мечтал в эшелоне Какар. Стремилась побыстрее убрать горе в запасники памяти. Но это оказалось не так-то просто.

Из-за инвалидов.

Проблема была в том, что их было непомерно огромное число в стране.

2 миллиона 576 тысяч человек.

Одноруких. Безруких. Одноногих. Безногих.

С частично оторванными руками и ногами.

Так называемых самоваров – и безруких, и безногих.

С разбитыми черепами. Одноглазых. Слепых.

С изуродованными лицами. С кривыми шеями.

С поврежденными позвоночниками.

С оторванными половыми органами.

С сильнейшими контузиями.

В стране для них не хватало ни протезов, ни колясок, ни других приспособлений, чтобы не то что пополнить ряды трудящихся, но хотя бы просто приблизиться к обычной человеческой жизни в быту.

На рынке на углу рядов находился старинный двухэтажный дом с большими сводчатыми окнами. Называлось это здание Домом трудолюбия. В свое время такие дома стояли во многих губернских городах царской России, нищие или странники приходили туда наняться на поденную работу. Туда же приходили и те, кому эти работники были нужны, в основном одинокие женщины,

нимающие мужчин по хозяйству. Расплачивались по-разному: деньгами, продуктами, ночлегом. Сейчас дом оставался пустым, даже окна не были застеклены, но к нему по-прежнему стекались работники. В основном – инвалиды. В основном – бездомные. Ненужные стране.

Их не знали куда девать. Пока держали при госпиталях, но это не спасало. Своим видом они не давали забыть войну. На рынках инвалиды собирались возле подобных домов и пивных: дрались, хватались за ножи при наглom поведении здоровых тыловиков, швыряли в них костылями. Трясаясь, ослепленные яростью и свежестью переживаний, кричали: «Я же за тебя ногу потерял, сука...» Они не могли смириться с простой и беспросветной истиной – теперь они полностью зависели от милости окружающих.

Сильно увечных селили в интернаты, когда за ними некому становилось ухаживать, они превращались в невидимок для остального общества.

И на лицах молодых парней, которые и повоевать-то толком не успели, – безруких, безногих, слепых, с трясущимися от контузии головами – теперь виднелись робкие улыбки, словно они в чем-то провинились перед здоровыми и целыми. Отталкиваясь от асфальта деревянными колодками, под ногами прохожих разъезжали безногие инвалиды на самодельных деревянных каталках с колесиками из шарикоподшипников. Им работы почти не находилось. Если только торговать мелочью, сапожничать или чистить обувь.

И стоял возле такого инвалида молодежавый капитан-тыловик, в форме с иголки, в фасонных хромо-

вых сапогах, поставив ногу на подставку. Рядом с ним находилась женщина лет тридцати – кровь с молоком, с румянцем на все щеки, с косой-короной, закрученной на голове по местной моде. А внизу, работая щеткой, склонился молодой инвалид – седой, в поношенной гимнастерке с нашивками за тяжелые ранения, с орденом Боевого Красного Знамени и двумя орденами Славы. Наводил глянец на капитанский сапог, пока праздничное солнце не начинало играть на блестящих голенищах. И что калека при этом думал и чувствовал, знал только он.

Каждый день женщина в платке привозила к собирающимся у здания увечным в детской коляске своего взрослого сына без всех конечностей. В народе таких цинично называли самоварами из-за тела с обрубками рук и ног и «краника» внизу. У этого парня не было и языка – откусил, когда рядом разорвался тяжелый снаряд. Только голова и тело с короткими культями. Говорить не мог, лишь иногда что-то тихонько мычал. Мать ставила коляску с ним среди кучкующихся инвалидов, они его угощали пивком, водкой, поднося стакан к губам, а следом совали закусить или вставляли в рот закуренную папиросу. А он благодарил людей глазами и слезами за проявленное внимание и заботу. Потом мать забирала пьяненького и что-то мычащего сына домой, чтобы утром снова вывезти к Дому трудолюбия.

Находясь среди своих, фронтовиков, слушая их разговоры и перебранки, он тихо улыбался, шурясь на весеннем солнце, ему становилось хорошо, ведь кроме святой мамы и этих понимающих и принимающих его как равного инвалидов, он был никому не нужен.

– Темная ночь... – доносились отзвуки из громкоговорителя в открытое окно палаты.

На стенах светились солнечные зайчики. На подоконнике в солнечном свете стояла стеклянная банка с наломанными ветками бело-розовой сирени. За открытым окном шевелилась на слабом ветру молодая листва деревьев. Приятно припекало солнышко. Из окна виднелись вишневые сады частного сектора и водонапорная башня, построенная в готическом стиле. Дальше находилась трамвайная остановка, где на узкоколейке трамвайных путей между трещинами в асфальте пробивалась зеленая трава.

В госпитальной палате был собран импровизированный стол из табуреток, накрытых газетами. На газетах бутылки, кружки, стаканы, открытые банки консервов, тарелка с квашеной капустой, ливерная колбаса, хлеб, крошки... Медсестра заглянула в палату, но ничего не сказала – знала: в такой день лучше никому замечаний не делать.

– За всех, кто не дожил, – вставая, произнес надевший по случаю праздника парадную форму одноглазый инвалид с пустым рукавом гимнастерки, заправленной поверх ремня в карман галифе.

Все задвигались, встали. Какар тоже привстал, опираясь на трость.

– Вечная память, – добавил кто-то, держа стакан.

Почти два года пролежал Какар в госпитале Житомира. Ждал, пока сформируется кровотокающая незаживающая культя, пока на месте шрамов не образуется

твердая сухая мозоль, позволяющая ходить на протезе. Деревянный протез скрывал начищенный сапог. При помощи трости он учился ходить на протезе, но пока при каждом шаге морщился от боли. За это время в госпитале многое изменилось. Койки заняли молодые солдаты из местных гарнизонов, не успевшие увидеть войну. Умер сосед по палате Евгений Павлович, за которым так никто и не приехал, уволилась медсестра Анна Николаевна, когда-то советовавшая Какару научиться прощать. Инвалидов по отделениям осталось человек тридцать: тех, кому некуда было возвращаться. Пока таких держали при госпиталях.

Одно время Какар думал, что навсегда останется в этом полном садов украинском городе. В Казахстане его никто не ждал. Ходил вместе с другими инвалидами к Дому трудолюбия, иногда нанимался на работу к вдовам выполнить мелкую, не требующую передвижений работу по хозяйству. А пару недель назад получил письмо от друга Бахчана, с которым расстался, вытащив его из-под огня под Ржевом. Письмо лежало в ящике тумбочки. Там написано:

«Дорогой брат Какар! Я сейчас в Кустанае, живу в Доме инвалидов. Недавно создали. Организовывают инвалидную артель. Тут много наших из 325-й и 50-й армий. Есть и из нашей дивизии. Много тех, кто воевал под Москвой и под Ржевом. Пенсию платят 250 рублей. Не хватает, конечно, но обещают работу. Завозят швейные станки, будем учиться шить обувь, рукавицы и шапки. Приезжай, брат, что ты там один?..»

А в ночь после получения письма ему приснилась Степь. Снились необъятные дали, снег, морозное

звездное небо. Их урочище, где он прожил до девяти лет. Там, во сне, у него были целые ноги: он шел, ступая по снегу, и снег под ногами приятно хрустел. А когда обернулся, почему-то не увидел оставленных после себя следов. Было в этом сне какое-то важное скрытое значение, он проснулся смурной и целый день ходил под впечатлением сна: он идет – а следов позади нет.

Наверное, в тот день он и принял решение возвращаться в родные края, ехать к брату Бахчану в город Кустанай.

Если от Кустаная двигаться прямо на юг, то примерно через сто километров окажешься у детского дома в поселке Семиозерный, на берегу озера, где закончилось его детство. А если идти еще дальше, то в глубине пустынной Тургайской степи, которая сейчас цвела яркими красками весны, можно найти призрака из детства – их заброшенное родное урочище.

Того мальчика в полушубке и шапке не по размеру, которого оставила в коридоре детского дома Турсин, больше не существовало – на койке госпиталя за столом из табуреток сидел двадцатичетырехлетний парень с орденами на гимнастерке, инвалид, опаленный долгой войной, с морщинами на выдубленной коже и жесткими узкими глазами. И если бы время вдруг сделало петлю и они бы встретились – тот мальчик из детства и нынешний ветеран из госпиталя – то они бы прошли мимо, не узнав друг друга...

– Церковь, что на площади... При немцах открылась, сейчас там службы идут. Зашел... – рассказывал инвалид из другой палаты с протезом вместо руки. –

Какая-то старушка мне говорит: «Придет время, и все мертвые воскреснут». А я ей: «И немцы тоже воскреснут? И что нам с ними – по второму разу воевать? А?!»

– Какар! А ты что, домой собрался? – перебил инвалида кто-то из присутствующих. – Стол накрыл, а сам молчишь все время...

– Да, братья, уезжаю... – ответил Какар.

Он и вправду еще вчера ходил на рынок, заложил у менялы дорогой сердцу подарок погибшего друга Трофима – трофейные швейцарские часы, чтобы сделать праздничный той по обычаю сыновей Степи, всех помянуть и попрощаться.

– Друг письмо прислал, зовет. Я уже с учета снялся, завтра-послезавтра получу проездные документы, денежное довольствие – и на выписку... Вот решил праздник отметить. Давайте еще раз за всех, кто не дожил до этого дня!

К отмечающим фронтовикам в палату заехала на инвалидной коляске женщина, майор медслужбы, бывшая хирургом полевого лазарета. В Сталинграде при бомбежке лишилась обеих ног. Красивая когда-то женщина с чуть надменным, властным лицом, с тонкими выщипанными бровями и выразительными серо-голубыми глазами. До войны она была замужем, а когда потеряла ноги, выяснилось, что муж-инженер, тыловик с броней, давно нашел другую. Она не поехала домой, осталась здесь, жила в отдельной палате, специально для нее переделанной из кладовой. Для себя вариант возвращения она давно вычеркнула.

Вначале на кресле-каталке выезжала на операции, помогая госпитальным хирургам советом, делилась богатым опытом. А потом потихоньку начала спиваться. Сейчас ее лицо выглядело одутловатым, красивые когда-то глаза стали мутными. Она заметно опускалась, и было видно по ней, что уже где-то отметила праздник. Мужчины засуетились, сдвинулись, освобождая даме место у стола. Налили фронтные сто грамм в стакан и подали ей. Она пристально обвела каждого тяжелым пронизывающим взглядом и произнесла:

– За Победу, воины. И за вас. Вы приносите и победы, и поражения.

Залпом выпила не закусывая, развернула коляску и укатила из палаты.

Оставался еще один человек, с которым Какар хотел попрощаться. Он лежал в дальней по коридору офицерской палате. Когда тон голосов за столом повысился, разведчик взял бутылку с остатками водки и, опираясь на трость, хромая, пошел туда. Слепой, обгоревший капитан-танкист полусидел на кровати с подушкой под спиной. Одна часть его лица оставалась парализованной, другая изуродована рубцами ожогов. Невидящие глаза белели без зрачков. Вся его семья погибла при бомбардировке Минска. Он был из тех инвалидов, которые не таскали за собой войну, оставаясь в замкнутом одиночестве своих внутренних переживаний, как и покойный Евгений Павлович, еще при жизни начиная путешествие в иные миры, открывая для себя знания, что тело – это всего лишь одежда для души. Одежда изнасилась, пришла в негодность, но душа в ней осталась, молодая, чистая.

– С Днем Победы, товарищ капитан. Вот принес. Помянуть павших, – Какар присел к нему на кровать.

– А, Какар... За павших выпью.

Капитан приподнял голову, осторожно прикоснулся покрытыми шрамами ожогов губами к горлышку протянутой бутылки, сделал маленький глоток и тут же закашлялся. С ним было хорошо сидеть, разговаривая на темы, не касающиеся войны. В госпитале, во тьме слепоты, капитан разглядел Бога, которого не замечал зрячим. Он давно оплакал свою погибшую семью: знал, что умершие к нам не вернуться, но мы к ним придем обязательно, и это знание давало ему под утро засыпать с чуть заметной улыбкой на стогривших губах. Прикрыв бесполезные глаза, сейчас он прислушивался к звукам с улицы, к далеким звонкам трамвая, стараясь представить окружающий мир за окном – солнечные блики, игру света и теней, – сам оставаясь в мире темноты, неясностей, шорохов, отзвуков и голосов из ниоткуда.

– Скажи, казах, как пахнет степной ветер? – помолчав, спросил слепой.

– Я плохо помню, – признался Какар. – Весной – надеждой. Осенью – грустью. Там тысячи запахов.

– Хотелось бы побывать у вас. Ты попрощаться пришел? Правильно делаешь, что уезжаешь. У тебя впереди целая жизнь, не стоит ее по госпиталям тратить, жалеть себя и горевать. Главное, ты остался жив! Нужно победить свои страхи и обиды на уцелевших и здоровых – они не виноваты, найти себе место под солнцем и радоваться

каждому наступившему дню. Спасибо тебе, солдат, что не забывал меня все это время. И прощай...

Какар ушел, а капитан в мыслях пожелал ему найти то, что он ищет. Он давно понял, что приходящий к нему инвалид-разведчик – в одном лице и опытный ветеран, и парень, в котором бурлит молодость, за внешним спокойствием тщательно прячет в своей душе что-то сокровенное. И не столько военное, сколько детское.

2

Возле окошка кассы на железнодорожном вокзале толпилась очередь. Женщины в платках, селяне с мешками, какие-то типы явно спекулянтской внешности, в пиджаках и косоворотках. Стриженные солдатики. В основном все ждали билеты на местное направление. Военная бронь оформлялась в этом же окошке. Никто не посмотрел ни на трость Какара, ни на ордена на его парадной гимнастерке. Ему пришлось протискиваться через толпу.

– Нет билетов, – услышал от кассирши, как только добрался до окошка.

Перед ним она точно так же ответила какому-то селянину с обвисшими усами, которого тут же оттерли в сторону.

– Мне проездные оформить... До Кустаная, – выдохнул Какар, пытаясь просунуть в окно кассы сжатые в руке документы.

– Оформление проездных документов для воен-
нослужащих осуществляется только в день поезд-
ки, – толстая кассирша чеканила заученной фразой. –
Но свободных мест на проходящие поезда сегодня нет.

– Что же мне делать? Как доехать? Я демобилизо-
вался, – совсем растерялся Какар.

– Ждите проходящих поездов с наличием мест. Как
все ждут. Или обращайтесь к военному коменданту, –
равнодушно ответила тетка и потянулась за зеркальцем.

Какара тут же оттеснили.

Совершенно не понимая, что ему делать дальше, он
вышел из кассового зала на улицу. Денег у него почти
не осталось, на пенсию по инвалидности он выкупил
часы из ломбарда. Суточные выделили сухпайком.
В вещмешке, кроме пайка, находились обычные сол-
датские вещи – мыло, смена белья. Ничего такого, что
можно было бы предложить за посадку в поезд.

Он долго сидел на лавочке на привокзальной пло-
щади. Часто проходили военные эшелоны, товарняки.
Надо было что-то решать, попробовать вместе со всеми
штурмовать проходящие поезда, договариваться с на-
чальником поезда или проводницами. Или идти в ко-
мендатуру, просить, чтобы помогли. Но Какар знал,
что комендант отправит его обратно в кассу. Он теперь
остался вне армии, сам по себе.

Мимо проходила какая-то женщина в ветхом ста-
ромодном платье. Она рассеяно глянула на Какара,
прошла пару шагов дальше и вдруг резко остано-
вилась, повернувшись всем телом. Ее рот приоткрылся от
удивления.

– Ой, Боженька. Это вы? – ахнула она.

Какар недоуменно посмотрел на нее.

– Село Лозовое. Возле Доброполья. Под Ровеньками. На Донбассе... – видя, что солдат не понимает ее, торопливо заговорила женщина. – Не помните? Нас полицаи в церкви спалить хотели. Вы еще дочке моей, Марусе, сахару насыпали...

Память схватила название – Ровеньки. В 43 году после ранения под Ржевом, госпиталя и формирующего пункта он попал в дивизию резерва Ставки. Звучало это солидно, но на деле дивизией затыкали все дыры. В феврале 43-го их дивизию на два месяца перебросили на Юго-Западный фронт, задействовав в Ворошиловоградской наступательной операции. Названия сел – Доброполье, Лозовое – он не помнил. Память сохраняла ситуации, но не даты и названия разных населенных пунктов, номера высоток, возле которых ложились в землю батальонами. Хотя тогда казалось, что их запомнишь навечно. Но при словах «полицаи» и «церковь» в памяти мгновенно всплыло...

...Оттепель в феврале, морозящий дождь, мокрый лес. Слабый серый рассвет. Они по очереди смотрели в бинокль на постепенно проступающую в рассветных сумерках деревню – дворы, заборы, очертания бревенчатой церкви. Немцы покидали деревню, слышался гул двигателей бронетранспортеров и машин. В бинокль было видно, как серые фигурки солдат торопливо садятся в кузов грузовиков. Немцы уезжали, но по дворам суетились какие-то люди, одетые в черную форму, с винтовками в руках.

– Полицаи, – беззвучно шепнул тогда Какару лежащий рядом старшина – командир разведгруппы.

Грязно-белые мокрые маскхалаты превращали разведчиков в бугорки тающего снега на опушке. Еще двое наблюдали с другой стороны перелеска.

Неизвестно, чем жители деревни не угодили фашистам. Может, тем, что это было раньше еврейское поселение, может, помощью партизанам. Но действия полицаев не вызывали сомнения. Они собрали жителей деревушки в толпу и повели их в церковь. Белели платки женщин. Крики людей было не разобрать. В сером свете рассвета в окуляры бинокля было хорошо видно, как их подталкивали прикладами, как бежала женщина с маленьким ребенком на руках, как какая-то старуха падала полицаям в ноги, хватаясь за их галифе. И как один из них понес к церкви две железные канистры, а трое других начали поджигать дома.

С разных концов села в рассветное небо стали подниматься клубы дыма.

Задача разведгруппы оставалась предельно ясной. Проверить глубину обороны противника на данном участке. Им нельзя было обнаруживать себя, группе следовало обойти деревню и попробовать углубиться дальше. Но они не выдержали. Старшина подал знак разведчикам, и они, дождавшись, когда затолкают жителей в церковь, пригибаясь, с двух сторон побежали вперед к храму.

Все закончилось за пару минут: полицаев было человек восемь, их срезали очередями, прежде чем кто-то успел что-то понять. Они не выставили охрану, чувствовали себя как дома, за это и поплатились.

Какар помнил, как подбежал к церкви, как дал короткую очередь из автомата по фигурам в черном, двое рухнули, один сразу поднял руки вверх, его не раздумывая застрелил пробежавший рядом старшина. Услышав вспыхнувшую стрельбу, местные жители какое-то время оставались в церкви. Они еще не верили, что спасены. Потом высыпали на улицу, с изумлением смотря на разведчиков в белых маскхалатах, словно соткавшихся из сырой дымки рассвета. Все происходило быстро, группе нельзя было задерживаться.

– Уходите из деревни, – кричал людям старшина. – Спрячьтесь где-нибудь. Скоро наши пройдут, потом вернетесь...

И сейчас Какар вспомнил эту женщину. Вернее, понял, что это была она. Закутанная в старый шерстяной платок, бледная, она тогда держала на руках ребенка, намертво прижимая его к себе. Ребенку было около двух-трех лет. Тоже закутан в платок. Какар в спешке не разобрал, мальчик это или девочка. Он откинул капюшон маскхалата и снял с головы шапку, вытирая мокрый лоб. Достал из подсумка несколько кусков колотого сахара и, подмигнув, протянул ребенку. Запомнились глаза женщины – расширенные, черные, как ночь. Она, не отрываясь, всматривалась в скуластое лицо казаха.

Еще запомнилось, как какая-то старуха пыталась целовать руки старшине.

Через несколько минут разведчики ушли – растворились в лесу. И после никто из них в рапортах не упомянул про этот случай. Могли и под трибунал пойти за угрозу срыва задания. И не трепался никто: круго-

вая порука и взаимопомощь – это основа настоящего, по-боевому спаянного подразделения. А старшина, который тогда решил спасти людей, через несколько недель подорвался на mine...

Как эта женщина из прошлого сейчас узнала Какара, для него оставалось загадкой. Они виделись всего несколько минут. Казах и казах... Широкое скуластое лицо, морщинки под узкими глазами. Солдатская форма, а в то далекое утро – белый маскхалат и прядь волос, прилипшая к мокрому от пота лбу. Но она его узнала.

– Вы нас спасли. И меня, и дочь... Я вас всегда вспоминала. И дочери рассказывала. Других ваших не помню, а вас запомнила. Навсегда. А мы потом в балке спрятались... – женщина в нескольких словах рассказала, как сгорела деревня, как полсотни жителей дождались в балке прорыва фронта и наступления советских войск и как они с маленькой дочкой потом около месяца добирались пешком до Житомира, где жили их родственники. А через какое-то время снова попали в оккупацию, потому что Житомир пришлось освободить дважды. – Я сейчас здесь на товарной станции работаю. Родственники нам с дочерью полдома отдали. Может, пойдете ко мне? Я вас с Марусей познакомлю – сколько раз ей о вас рассказывала. Пойдемте, а?

Неожиданная встреча тронула Какара. Он тогда не знал, насколько будущая судьба свяжет его с тем далеким местом, где находилось сгоревшее село Лозовое и другие села, возникшие когда-то на черте оседлости еврейского населения и немецких колонистов. Тогда он думал о другом. Что часто то, что для тебя являлось лишь маленьким эпизодом, который и не вспомнишь

через неделю из-за насыщенности событий, для других оказывалось главным в жизни.

Мы не видим последствий своих поступков. Особенно на войне. Вовремя кого-то перевязал, зажал рукой рану, вытащил из-под огня, прикрыл огнем, в нужную секунду крикнул «Пригнись!». Для тебя это обычные минуты, а для кого-то новый отсчет. Люди, ради которых недоел, недоспал, недожил, враги, которых мог добить, но не добил, свои, с которыми делился последним глотком воды в фляжке, которых не помнишь, но которые помнят тебя, – все они твои защитники перед Богом.

Узнав, что он демобилизовался и не может уехать на родину, женщина попросила его подождать на лавочке, а сама, взяв его документы, ушла в здание вокзала. Она знала кассиршу. Вскоре вернулась с выписанной плацкартой без места до самого Кустаная и повела Какара к дежурному по вокзалу. Рассказала ему, как разведчики спасли жителей села Лозовое, которых полицаи хотели сжечь заживо. Дежурный проникся.

Через два часа военный патруль, растолкав осаждающих вагоны людей с мешками и чемоданами над головами, посадил Какара в вагон проходящего пассажирского поезда на Москву.

– Как звать тебя, спаситель? – только возле вагона спросила женщина.

Какар назвал себя. Женщина нежно обняла его, расцеловала в обе щеки, отстранившись от него, низко до земли поклонилась и промолвила:

– Храни тебя Господь.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Какара, если бы он остался в госпитале Житомира. Скорее всего, разделил бы долю тех, кто собирался у Дома трудолюбия на рынке. По официальным данным, инвалидами после Великой Отечественной войны стали более двух с половиной миллионов человек. Они наводнили города страны. Не живые и не убитые, они не давали народу забыть боль потерь. У многих из них семьи погибли или потерялись. От других отказались жены. Кто-то сам не захотел возвращаться домой, чтобы не становиться обузой. Писал родным: «Меня нет. Забудьте».

С теми, кто возвратился в семью, часто возникали проблемы: они конфликтовали с родителями, с женами, не сумев встроиться в новую жизнь. Бледили от ярости, если чувствовали себя лишними, швырялись костылями или, наоборот, уходили в себя, становясь для родных чужими. И пили, пили, заливая свою боль и неполноценность...

Везде: на рынках, на вокзалах, возле магазинов – они собирались в кучки, шумели, ярились и дрались между собой. Рвали рубахи на груди и плакали. Они до сих пор бросались под танки, тонули в темной ночной воде речных переправ, кричали от страха, поднимаясь в атаку, товарищей своих кусками собирали. Некоторые из них, стараясь привыкнуть к себе новому, искали работу, ходили на протезах на курсы бухгалтеров и счетоводов, пытались научиться жить под светлым мирным небом, о котором столько мечталось в землянках. А другие так и остались в тех боях, среди воронок и сгоревших деревьев, словно душу их убили, а тело продолжало по инерции жить на земле.

За 1–2-ю группу инвалидности давали пенсию – около 300 рублей, половину от средней зарплаты по стране. Плюс по 10–15 рублей доплачивали за каждый орден. Но те, кто собирался на улицах, свою пенсию быстро пропивали. А потом собирали милостыню. Некоторых калек, особенно «самоваров» с культями вместо рук и ног, родственники специально вывозили на рынки, надевая им ордена и медали.

И сидел в коляске такой изуродованный человек с небесно-синими, прозрачными глазами святого, собирая копейки и рубли в лежащую на земле кепку, прощая своими увечьями кормить семью. Ходили по поездам слепые с выжженными глазами, пели фронтовые песни ломающимся голосом, а потом какие-то приклатненного вида темные люди пересчитывали собранные деньги, а слепым наливали в стаканы водку за их унижение и увечья.

В 1949 году было принято решение переводить инвалидов в специально созданные дома. Такие дома существовали и раньше, но с 49-го отправка инвалидов осуществлялась массово и повсеместно. А в 1954 году комиссия Министерства внутренних дел предложила принять дополнительные меры по предупреждению и ликвидации нищенства. Для предотвращения самовольных уходов из домов инвалидов и лишения их возможности заниматься попрошайничеством часть существующих домов предлагалось преобразовать в дома закрытого типа с особым режимом. Что и было сделано.

Одними из первых поехали в дома инвалидов те, кто числился за госпиталями. Идея была проста и понятна – собрать инвалидов, обеспечить им надлежащий

присмотр, занять посильной работой, дать возможность пройти курсы по какой-нибудь специальности, социально адаптировать их к нормальной жизни. Но идея и ее воплощение – разные вещи. Висел на дереве подвешенный за шиворот на сучок человеческий обрубок – безногий, безрукий и слепой Герой Советского Союза, летчик, капитан Миронов, потому что обмочился. И санитарки таким образом сушили его на солнышке, чтобы лишний раз не переодевать.

Идеи сами себя воплотить не могут, их воплощают люди, а люди – разные.

Наиболее известным из таких обитателей являлся бывший женский Горицкий монастырь в Вологодской области. Позже этот монастырь оброс легендами. Древние стены с башенками в углах возвышались над рекой Шексной, по которой ходили трехпалубные пароходы. Пассажиры из Москвы и Ленинграда любовались просторами русского Севера, и когда пароход подходил к монастырю, за стены, на покрытый травой отлогий берег выносили и клали в ряд знаменитый хор «самоваров».

Человеческие обрубки лежали на траве под прищотром санитарок, кто-то выкрикивал: «Начинай, братва!» – и над рекой несло «Раскинулось море широко» или «Бьется в тесной печурке огонь». Говорят, некоторые пассажиры падали в обморок от такой картины.

Еще одной известной обителью являлся монастырь на острове Валаам. В семидесятых годах об этом месте узнали благодаря серии рисунков «Автографы войны» художника Геннадия Доброва. Потрясающие портреты забытых миром людей. Таких, как дважды заживо похороненный парень-солдат, оставленный в братской

могиле, откуда он выбрался, чтобы остаток жизни провести на Валааме.

Их было много. Неопознанный спеленутый немой парень-«самовар», неподвижно лежащий в закрытом от постороннего взгляда Никольском ските, где помещались сумасшедшие, не умеющий говорить и поэтому никому не назвавший своего имени и фамилии. Запечатленный на рисунке крик в жесте «не хочу войны» разведчика-офицера, раненного в голову пулей навывлет, с входным и выходным отверстием в черепе, навечно прикованного к кровати с панцирной сеткой.

Валаам к семидесятым годам стал самой тихой на свете обителью. Многие умерли, других, тех, кто создавал администрации проблемы, постепенно перевели в дома закрытого типа. И лежали тихие ветераны войны под полустертыми ликами святых на древних стенах, целиком находясь во власти санитарок. Было в этом что-то загадочное. В том, что дома инвалидов создавались в намоленных веками кельях бывших монастырей. Когда-то сюда уходили люди, чтобы отречься от мира, а от этих отрекся сам мир. Их оплакивала не страна – ангелы, а святые со стен ждали начала внутреннего разговора с небом, который уже не отложить.

Ходили рассказы об одном «самоваре», молодом парнишке, который в свое время учился в школе юнг на Соловках. Говорили, что однажды один из преподавателей, решив провести богоборческую лекцию, повел курсантов в заброшенную монастырскую церковь плевать на лики святых. Чтобы наглядно показать, что ничего при этом не происходит. Преподаватель плевал, все плевали, и мальчишка этот тоже. А потом курсантов отправили на фронт, и в первом же бою он лишил-

ся слуха и обеих рук и ног. И еще при взрыве откусил язык – такое часто бывало. Его привезли на остров Ва-лаам и положили на кровать под точно такими же ли-ками. Он мог только смотреть на них. Даже отвернуть-ся без помощи санитарки не получалось. Тихо плакал. А потом со временем посветлел лицом. Санитаркам становилось не по себе от его улыбки.

Он узнал, что душа человека от Бога и что она не успокаивается, пока не найдет Его.

Но это все будет потом... Матери, которые сами ста-нут привозить своих детей в подобные дома, не в силах справиться с ними, и оставаться там с сыновьями, сни-мая где-нибудь угол, каждый день приходиться к своему ребенку, когда их выносили во двор, и сидеть с ним на траве, положив его голову к себе на колени. Скандалы в коммунальных квартирах, жены, которые не будут пускать инвалидов домой, женщины со сгоревшими лицами, прячущие свою искалеченную плоть под ма-ской с вырезом для глаз. Инвалиды без рук, незаметные подвиги которых поражали живущих рядом с ними, научившиеся писать ногами, закончившие институты, получившие впоследствии награды и за трудовые за-слуги, как призывал товарищ Сталин.

Все это будет...

Но пока на каждой крупной станции на пути в Мо-скву и дальше, в Челябинск, Какар видел своих това-рищей по несчастью, прыгающих на костылях, разъ-езжающих на каталках на привокзальных площадях, зарабатывающих себе на пропитание и на выпивку средства, и пропасть между ними и здоровыми каза-лась не столь заметна.

Стучали колеса, вагон мотало на стрелках. В купейных отсеках находилось по пять человек на одно место, все свободное пространство было заставлено мешками и чемоданами, с верхних полок свешивались чьи-то ноги. После пересадки в Челябинске за окном купе пошла лесостепь, предвестница Великой Степи. Какар не отрываясь смотрел на мелькающие столбы, на перелески, замечая изменения ландшафта.

Древние говорили, что человек совмещает в себе два начала – неба и земли. Тело из персти земной, душа от Бога. Предки Какара были слеплены из земли Степи. И Степь звала свое к себе.

В пути он зарос редкой казахской щетиной, форма помялась, загрязнилась, потеряла свой парадный вид. Один из тысяч бездомных инвалидов. Если бы он остался в Житомире, то из-за непростого характера скорее всего сгинул бы неизвестно в одном из домов закрытого типа с решетками на окнах, как в омуте. И никто бы его не вспомнил, как будто его никогда и не было на земле.

Как во сне, который приснился ему в госпитале, где он шел по снегу, не оставляя следов.

Часть рода дедушки Молдрахмета ушла бы в небытие забвения вместе с ним. Письмо, полученное от Бахчана, по сути, стало письмом от самой судьбы. И он смотрел в окно поезда, ожидая встречи с судьбой.

В одном лице: и мальчишка в сползающей на глаза меховой шапке, идущий по бескрайней зимней Степи, и стриженный детдомовец, шепчущий по ночам «мама», и воин с орденами Отечественной войны и Красной Звезды, и инвалид, отдавший войне ногу и часть души.



Часть вторая

Земля обетованная

Глава 4

1

Екатеринославская губерния

Когда манифест российской императрицы Екатерины II, написанный в 1762 году на английском, французском и немецком языках, дошел до европейцев, на призыв освоения пустующих земель в Российской империи откликнулись в основном немцы-меннониты, анабаптисты. Меннонитами называли последователей протестантского течения, основанного голландским священником Менно Симонсом, жившим в XV веке. Сами анабаптисты предпочитали называть себя «крещеными» (нем. Täufer), подчеркивая крещение как сознательный выбор.

Отличительными чертами меннонитов оставались кротость, смирение и полное непротивление злу. Они отказывались служить в армии, брать в руки оружие, желали жить в гармонии с природой и окружающим миром. Их уклад и быт оставались простыми и неизменными на протяжении веков. Их поселки управлялись советом старших: непослушных наказывали презрением общины или изгнанием во внешний мир.

Если девица впадала в блуд, родители выгоняли ее из дома, она покидала общину, потому что все двери для

нее становились закрыты, будущего у нее здесь не было. Самоконтроль и самоочищение, по мнению меннонитов, и являлись той необходимой властью, сверх которой больше ничего и не надо. Жизнь человеческая рассматривалась не главным событием, а просто переходом, который надо преодолеть, перечеркнув свою самость.

Регулярно за свою веру они подвергались травле, преследованию, пыткам и казням. История сохранила память о герцоге Альбе по прозвищу Кровавый, жившем в XVI веке. На портретах – мрачный мужчина, одетый в доспехи, с алой лентой на груди. Ревностный католик, герцог решил огнем и мечом покончить с меннонитской ересью, заставляя их пытками вернуться обратно в лоно католической церкви. Остались рукописи-дневники, свидетельствующие о том времени: «...вчера убили брата, сегодня сестру, завтра убьют меня...» Со временем у общин выработалась своя пассивная форма протеста: когда гонения усиливались, меннониты старались уйти в другие земли, чтобы сохранить веру и себя.

Знаменитый манифест Екатерины застал меннонитов, когда они покинули Западную Германию и Голландию, на время остановившись в землях Восточной Пруссии и в Данциге, принадлежащем Польской короне. Императрица Екатерина II обещала переселенцам полную свободу вероисповедания. «Всем прибывшим в Империю Нашу на поселение иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно... имея потребное число при этом пасторов и прочих церковнослужителей», – читалось в манифесте.

Единственное, что категорически запрещалось, – это проповедовать свое учение православным. Чтобы не вызвать погромы.

Для немцев медвежья Россия находилась где-то на краю света, заканчиваясь вместе с твердью земной. Но пасторы, вначале послав на переговоры делегацию в Санкт-Петербург, сказали по общинам: «Едем. Там благодатный край, нерожавшая земля ждет плуга, в озерах и реках полно рыбы, леса и просторы – Господь даровал нам место, где мы будем жить во славу Его».

Так началось переселение немцев на Русь. Екатерина пообещала: никакой армии, никакого начальства – полное самоуправление, на каждую семью по 65 десятин земли в бессрочное пользование, по 500 рублей на проезд и обустройство хозяйством, плюс освобождение от налогов сроком на 10 лет. И поехали в далекую и необъятную Российскую империю многочисленные обозы с переселенцами, прокладывая два направления – на Поволжье и на юго-запад Украины, на остров Хортицу, что на Днепре.

Жителями Украины приезд меннонитов воспринимался как диво. Селяне собирались, чтобы посмотреть на усатых мужчин в сюртуках, ни слова не говорящих по-русски, на женщин в старинных чепчиках и длинных черных платьях с белыми передниками. На то, как меннониты строили дома: если на участке росло дерево, дом строился меньших размеров, но дерево не рубили – воля Божья, что оно здесь растет. На чугунные печки, которые колонисты привезли с собой, на всякие заграничные диковины, на кофе, на чистоту и порядок их дворов.

Если община селилась в степи, рядом тут же сажали небольшой лес, между участками поселения разбивали прямые улицы, которые отчерчивались саженцами деревьев, чтобы через годы здесь была тень. Селения оставались небольшими – по 20–40 дворов, но практически в каждом из них сразу строились церковь и школа.

Школы являлись основой уклада. Это было практично: родителям надо работать, а воспитывать детей можно и всех вместе. С 5–7 лет дети шли в классы, где им преподавали уроки письменности, чтения, учили основам математики, но главное, преподавали катехизис. Школа должна была сформировать у ребенка устойчивое мировоззрение, являясь прологом к будущему крещению, которое происходило уже в подростковом, сознательном возрасте. Поэтому школы строились одновременно с церковью – в самом центре колонии.

Для поселенцев благодатный край Украины и вправду оказался землей обетованной. Здесь дышалось просторно и легко, ветер гнал по старику Днепру мелкую мутную волну. Кругом плесы, заводи в ивняке, дальше степи – богатая и солнечная земля, вскоре зазолотившаяся пшеничными полями. Подсолнухи, которые поворачивали свои тяжелые головы вслед за солнцем. В озерах и реках полно рыбы.

У колонистов рождались дети – много детей, землю на них уже не давали, но благодаря труду и немецкой расчетливости у поселенцев скоро появилось достаточное количество средств, чтобы покупать ее у местных помещиков. Строили голландские ветряные и паровые мельницы, лесопилки, первые сельскохозяйственные мастерские... На века строили.

Игрались свадьбы...

Дело Екатерины продолжил Александр I, издав новый, еще более привлекательный вариант льгот для поселенцев. На юг Украины поехали не только меннониты, но и представители других протестантских течений, а также католики. А в 1844 году осваивать земли Новороссии разрешили и евреям. Раньше это было немыслимо.

В отличие от немецких колонистов, у евреев-переселенцев не получилось работать на земле. Евреи умели зарабатывать там, где люди, а не где поля. Их колонии пришли в упадок. По указу евреям разрешили на три года нанимать работников-христиан из местных жителей. Но это нововведение ни к чему хорошему не привело, начались конфликты. Тогда в силу вступило новое решение, утвержденное императором Николаем I в марте 1847 года. Для обучения земледелию, животноводству и для показа примеров образцовых хозяйств разрешалось привлекать в еврейские поселения немцев-колонистов из расчета одна немецкая семья на десять еврейских. Желающим переселиться в еврейские колонии предлагали дополнительно по сорок десятин земли, долгосрочные налоговые льготы и право содержать в еврейских колониях собственные школы и сельскую администрацию. По сути, евреи практически переходили под управление немцев. Но еврейских поселенцев это совершенно не смущало.

Поэтому в начале 1850-х из Хортицы в Новороссию переехало около пятидесяти немецких семей, расселившихся по еврейским колониям на пространстве

от Луганска, где Екатерина II построила свой знаменитый чугунолитейный завод, до Новозлатополя Гуляйпольского уезда. Впоследствии немцы часто арендовали участки земли еврейских поселенцев, которые уезжали в города, чтобы заняться другой деятельностью, к которой тяготели: торговать, менять, ссужать, мастерить.

Постепенно в общинных школах стали преподаваться курсы русского языка. Следующие поколения детей уже вполне интегрировались в местную среду, при этом сохраняя национальную и религиозную самобытность. Стояли поселения-общины среди полей и перелесков: дома из крепких бревен или красного кирпича, высокие заборы, обязательная церковь и школа, мельница, кузница, пивоварня, маслобойня, улицы в тени деревьев, сады вишневые и абрикосовые, в каждом хозяйстве по 7–10 коней, по 5–6 коров. В хлевах свиньи, кур и уток без счета.

Снежными зимами тоже не сидели без дела – ткали, выдывали овчину. В Рождественскую ночь все высыпали на улицу – искать в небе первую звезду. Находили в темноте космоса мерцающую точку и радовались, словно звезда посылала свой свет через миллионы световых лет лично каждому из них.

На праздники общины собирали детям подарки: кто-нибудь переодевался в ряженого и заставлял детей признаваться в грехах; кто признавался, получал медовые пряники и разноцветные прозрачные леденцы.

Дети хитрили, придумывали себе грехи.

Семья Генриха Рейзвиха переехала с острова Хортица в Новозлатополь, в так называемую еврейскую колонию № 1, еще в первую волну. За это время многое изменилось. В 1871 году колонистов лишили статуса иностранных поселенцев, при этом они потеряли право на освобождение от воинской повинности. И хоть для них придумали альтернативную службу, где не надо было брать в руки оружие, – лесные и пожарные команды, часть поселенцев после ста с лишним лет спокойной жизни вновь пересела на обозы и поехала искать новую землю обетованную – кто в Северную Америку, а кто в Азию, строить ханский дворец в Хиве.

Другие остались. Сменилась пара поколений, для немцев земля России уже воспринималась родной. Генрих Кондратович решил никуда не уезжать. Сам Генрих отслужил четыре года, не прикасаясь к патронам и винтовке, вернувшись в общину Новозлатополя в 1907 году. Видный молодой мужчина – вдумчивые карие глаза, густые темные волосы, открытое лицо, лихо закрученные усы. Прошелся на виду у всех в солдатской форме, которая ему очень шла, но в церковь зашел уже в белой рубашке, пиджаке и жилетке. В колонии зашептались о скорой свадьбе.

Ее звали Шарлоттой. Восемнадцатилетняя шатенка с живыми серыми глазами. Красивые черты лица, правильно очерченные губы, на щеках румянец юности. Когда в ее дом пришли сваты, она вышла пунцовая от краски. Ей нравился Генрих. Такой завидный жених... Кроме того, проживая в общине, девушка прекрасно осознавала, что ей повезло: легко могли выдать за какого-нибудь престарелого вдовца, у которого уже есть десять детей.

По традиции меннонитов второй этап сватовства произошел в церкви, когда после проповеди пастор официально объявил Генриха и Шарлотту женихом и невестой. Там, в церкви, Генрих первый раз прикоснулся к руке девушки. Затем две недели при помощи ставшей необыкновенно внимательной и нежной к ней матери Шарлотта в волнении и в задумчивости сама шила свое свадебное платье. У меннонитов развод был невозможен, она знала, что с этим мужчиной ей предстоит прожить до самой смерти.

К свадьбе готовилась вся колония. С утра на волосы Шарлотты надели венок из воска и цветов, на улице моросило, но она оставалась в платье: девушки даже в январе не надевали верхнюю одежду, чтобы запомниться всем в свадебном наряде. Родственники украсили цветами повозку, лошадь в праздничной упряжке; до полудня они ездили с мужем по улицам, и их приветствовали у каждого дома, а за повозкой бежали дети. Шел мелкий дождь, цветы намокли, свадебный наряд тоже. Одетый в строгий костюм Генрих оставался невозмутим, хотя по его лицу стекали капельки мороси.

В полдень сели за стол, желали много детей и радости в них, а ровно в 22 часа с головы Шарлотты сняли венок, повязали платок и, подарив приданое, оставили с мужем. Ей хотелось плакать от счастья и прощания с девичеством.

На второй день свадьба уже не справлялась. Только вечером пришли ближайšie родственники пить чай. Приданое у Шарлотты было справным – скот и домашняя утварь со швейной машинкой «Зингер», но у молодых не было своей земли. И тесть сказал:

– В 250 верстах отсюда на восток строят еврейскую колонию – Шенефельд (рус. Доброполье). Это тоже Екатеринославская губерния. Немцам там дают по соток соток земли. Край хороший, в земле много меди. Езжайте, молодожены, туда. Там будете жить, рожать детей, основывать общину.

И они поехали.

Природа Луганского края отличалась от степного Новозлатополя – поросшие лесом возвышенности, глубокие балки, меловые карьеры с белыми откосами. Еще не тронутые человеком степные участки, где трава по грудь и где скоро заколосится их рожь. Притоки Северского Донца, старинные шахты-копалки в заросших травой оврагах... Колония Доброполье – несколько прямых улиц со строящимися домами с юга на север строго в ряд. Посажены шелковицы и вишни, которые через несколько лет превратятся в сады.

Дом Генрих и Шарлотта строили вместе: возили на телеге глину и камень из карьера, пилили в лесу дровя. Еще только появился фундамент, но Шарлотта уже до мельчайших подробностей представила себе ее будущий дом, где они с мужем проживут до старости и где скоро зазвучат голоса их детей. Представляла перед собой окна в ставнях, выходящие на юг, на подоконниках герань, шторы из тюля, выбеленные известью потолки, большой и холодный каменный погреб. Слева по коридору кладовая для припасов, дальше кухня с голландской печью, остальные комнаты, с лавками у окон, с деревянными кроватями, где спят их дети. Вышитое гладью постельное белье.

И обязательно на стенке – старинные часы, привезенные предками еще из Германии, отсчитывающие каждую минуту их совместной счастливой жизни. И много настенных фотографий...

Она знала, что сохранит этот дом в чистоте и порядке. На крыльце всегда будет лежать аккуратный половичок, чтобы дети не заходили в дом в грязной обуви. Часто во время работы она украдкой посматривала на своего мужа, любуясь им. Статный, работающий, спокойный, он иногда чувствовал на себе ее взгляд, поднимал голову, вытирал пот со лба и улыбался в ответ – глазами, губами. Иногда ей хотелось плакать, но не от того, что плохо, а наоборот, что хорошо. От радости.

То было прекрасное время. Они работали от зари до восхода, а по воскресеньям шли вместе в церковь. В недавно построенной церкви пахло свежим срубленным деревом. Начинали службу с пения, потом слушали проповедь пастора, сидя рядом на скамейке, и муж сжимал ее руку своей ладонью. Часто воскресными вечерами умиротворенно сидели вместе во дворе, смотря на тихий закат. Жизнь казалась прочной, волнения и трудности временными. Но в любви и работе они не заметили, что мир вокруг начал неумолимо меняться. Они даже не обратили внимания на то, что евреи в их поселении, словно что-то предчувствуя, вдруг начали менять фамилии с еврейских на украинские.

Где-то там, на западе, поднимался ветер, небо начало темнеть, становиться черным и пугающим, с пока далекими всполохами молний. От этого ветра скоро деревья полягут, как травы, он снесет старый мир: размеренный

и привычный, с семейными фотографиями на стене. В Европе началась война, которая придет в каждый дом, погребая под собой привычную жизнь. Эта война привет миру массовый атеизм; на Западе Церковь превратится в обычный социальный проект, а в России священников будут вешать на яблонях возле сгоревших храмов. Вторая мировая война явится прямым следствием Первой. Но, как и казахам в далекой Степи, жителям Доброполя первые изменения казались отстраненными, не касающимися их напрямую.

Цвели белым листом вишневые сады, за столом летней кухни чашка кофе из старинного заварника, тихие закаты. И немцам Рейзвихам, и казахам из рода Молдрахмета не приходило тогда в голову, что мир вокруг начал движение и судьбы, прошитые стежками в разных концах полотна, в скором времени соединятся в один узор, где для законченного рисунка нужны будут самые разные нити – и девственно-белые, и кроваво-красные, и черные, как ночь.

2

28 июля 1914 года началась Первая мировая война.

А уже 4 августа целенаправленно шла по улицам Петербурга молчаливая толпа. Толпа направлялась к массивному гранитному зданию на Исаакиевской площади – Германскому посольству. Решительные люди в косоворотках выломали дубовые двери, разъяренный народ хлынул в здание, громя все на своем пути, ломая двери кабинетов, кромсая ножами портреты герман-

ских вождей на мраморных лестничных пролетах. Несколько человек взобрались на крышу и под рев народа сбросили вниз украшавшие фасад мужские статуи с бронзовыми конями.

С обезумевшими глазами, задыхаясь и хватаясь за сердце, бежал по переулку человек с немецкой фамилией в пенсне на носу. Возле моста через Мойку человека догнали, свалили на мостовую и молча, яростно топтали ногами. Толпу подогревали слухи, что немецкие предприниматели отравили рабочих на собственном предприятии. Потом толпа двинула дальше, а человек так и остался лежать на булыжной мостовой, неестественно подвернув ногу, смотря мертвыми глазами на низкое питерское небо.

В Питере и Москве начались немецкие погромы.

В Москве на углу Бронной находился магазин с вывеской «Магазин Левинсона». Жаждающие крови люди разбили витрину, вытащили на улицу трясущегося хозяина и его родню. Хозяина били, а он кричал: «Я не немец, я еврей». Это подействовало. Кто-то в толпе подтвердил: «Да, еврей». Погромщики пошли дальше, хозяин в разорванной одежде, поблагодарив небо, вернулся было в магазин, но тут подошла новая толпа. Несчастливого Левинсона снова били, потом опять опознали как еврея, и это повторялось несколько раз. Носить немецкую фамилию стало опасно. Евреи это как-то почувствовали за несколько лет. За первые дни погромов в Москве было убито более четырехсот этнических немцев.

Вскоре погромы и травля немцев приобрели огромные масштабы. Дошло до того, что министр внутренних

дел Н. Б. Щербатов обратился к Государственной Думе с просьбой помочь прекратить травлю людей с немецкими фамилиями: «...Так как многие из них за двести лет сделались совершенно русскими и верны России без всякого сомнения».

До колонистов пока лишь доходили слухи о событиях в больших городах. Погромов не было, но Шарлотта и другие женщины, выезжающие на ярмарки и базары, теперь чувствовали на себе липкие взгляды, слышали полный ненависти шепот в спину: «немцы... немчура...» Вот-вот эта ненависть могла перейти в действие.

Позже Генриху и Шарлотте проще всего было вспоминать изменения жизни общины по детям. Александр и следующий сын Николай родились, когда вокруг царил мир, когда в труде и радости строился этот дом, белились стены, возводились хлева и птичники и будущее казалось неизменным.

Сестра Марта родилась под военные лозунги, когда по селам ходили слухи, что войска генерала Брусилова вошли в прорыв на австрийском фронте, а община, чтобы показать, что она за Россию, собирала деньги на Красный Крест, на помощь раненым. Следующий мальчик – Яков появился на свет спустя два года, в то самое время, когда повсюду ощущалось время перемен и какие-то решительные, одетые в короткие пальто люди кричали, собирая вокруг себя народ на ярмарках и базарах: «Долой царя! Вся власть Учредительному собранию!»

Потом началась полная чертовщина. В период Гражданской войны детей не рожали, это время воспринималось как конец света. Красных сменяли деникинцы,

деникинцев – махновцы. Людям в той кутерьме было совершенно не разгадать, кого приветствовать, от кого прятаться.

Приезжали в Доброполье какие-то всадники на разгоряченных конях то с кокардами, то с красными звездами Марса на фуражках, требовали у собравшихся в круг мужчин-колонистов продукты, фураж для лошадей, ночлег. Забирали коров, свиней, гусей и кур. Возле школы стояли обозы Добровольческой армии, там находилась худенькая девушка-медсестра в белой козынке и с повязкой на рукаве с красным крестом. Лицо у девушки выглядело измученным. На повозках пулеметы; солдаты рассматривали испуганно проходящих по улицам местных женщин в чепчиках со свисающими шлейками. Белогвардейцы забрали лошадей. Взамен давали какие-то бумажки с печатью штаба.

Но этого оказалось мало. Началась насильственная мобилизация.

– Прийшов час встать на защиту крайны. З вашего села пятнадцать чоловик. Выбирайте, кто пойдет! А то ми сами виберемо, – добавляя в украинскую речь русские слова, кричал собранным у церкви колонистам человек с загорелым лицом, одетый в папаху со свисающим черным галуном.

По улицам сновали всадники. Пассивное сопротивление, которым всегда пользовались меннониты, оказалось невозможным – некуда им было уходить. Да и не отпустил бы никто. В глазках загорелого человека читалась затаенное удовольствие. Зависть к немецким хозяйствам, к их успехам точила местных жителей

годами. Теперь человек наслаждался своей властью над колонистами.

Стояло жаркое, пыльное украинское лето, ветви яблонь наклонялись к земле от плодов. Ярко светило солнце. Пришло время испытаний веры. Ничего в мире не изменилось, время прошло по кругу и вернулось в ту же точку, только вместо мрачного аристократа герцога Альбы Кровавого напротив общинников стоял, щурясь на солнце, коренастый человек с медной шеей, в шароварах и с шашкой на поясе в ножнах. Глазки человека словно говорили: «Только дайте мне повод разграбить и сжечь вашу колонию...» В мыслях он уже забирал их жен к себе в обоз.

Обычно от принудительной мобилизации можно было откупиться. Собирали по дворам деньги, ценности. Но это был не тот случай. Человеку в папаше нужно было все. Ему хотелось преподать показательный пример, как ломаются эти чопорные, гордящиеся своей богоизбранностью колонисты, которые раньше показательно отделяли себя от местных жителей. Ему хотелось показать, что нет на самом деле никаких верующих, что это просто маски, надетые столетия назад, а за жизнь свою человек все отдаст и всех предаст.

– Ты, – указал он на одного из мужчин в сюртуке со стоячим воротником. – Выходь в строй. Пидеешь з нами.

Мужчина растерянно улыбался. Он даже не понял, что произошло.

– Тримайте его, хлопци, – загорелый человек выхватил шашку из ножен.

Мужчину схватили, вытащили из толпы, человек в папахе подскочил и, надсадно крикнув, словно рубил дрова, с силой отмахнул мужчине шашкой по неприкрытой голове. Колонист, подвернув колени, упал на землю. Генрих Кондратович, не отрываясь, смотрел, как вокруг головы мужчины на пыли земли мгновенно собралась темная лужа.

– Ты, – указал человек на следующего.

И кто знает, если бы колонистам дали время подумать, может, выделили бы они из своей среды требуемых пятнадцать человек, чтобы откупиться уже людьми, сохраняя остальных. Хотя знали: выбирая из двух зол меньшее, все равно выбираешь зло. Но тогда их спасло чудо. Атаман Старобельской сотни, которая зашла в Доброполье, поддерживал отношения с Петлюрой, а Петлюра искал выход на прямые переговоры с германцами, поэтому не приветствовал погромов среди этнических немцев. Прискакавший вестовой что-то сказал загорелому человеку с шашкой, тот поморщился, но спорить не стал. Распустив народ и забрав реквизированных свиней, сотня покинула село.

После на общем сходе общин старшие постановили: меннониты по-прежнему придерживаются принципа непротивления злу, но каждый из них по отдельности пусть сам решает, можно ли брать в руки оружие для защиты своей семьи. Решили, что выгонять из общин за это не будут. Такое компромиссное решение позволило создать в некоторых селах отряды самообороны, а кто-то из мужчин ушел с войсками. Некоторые записались добровольцами в Красную армию, увлекшись

лозунгами свободы и братства, но большинство прикнуло к Деникину.

Жить душой на небе, а телом на земле оказалось невозможным. То, что не смогли сделать в XVI веке ревностные католики, сделали российская смута и соседи-селяне с чубами. Часть меннонитов, нарушив свои принципы, взяла в руки оружие. А новорожденным мальчикам уже старались давать русские имена.

Лишь в 1921 году, когда на юго-востоке Украины окончательно установилась советская власть, а в Луганск на постоянную дислокацию зашли части Красной армии с гармонистами на телегах, в семье Генриха и Шарлотты родился пятый ребенок – Андрей. В те годы при переписи населения колонистов снова записали как немцев-переселенцев, а не как обычных подданных, чему немцы были очень рады.

Каролина появилась в семье за год до принудительной коллективизации. В 1924 году все стало государственным, и вместо общины Доброполя появился колхоз «Рот Фронт», где Генрих Кондратович устроился работать плотником. Пустыми стояли хлеба и птичники, из домашней скотины у семьи осталась лишь пара коз за изгородью. За какой-то десяток лет от общины ничего не осталось. Отняли поля, мастерские, мельницы, школу и церковь. Отняли общение с общинами за границей, оставив лишь работу на государство и тайное исполнение обрядов – омыв друг другу ноги в память о том, как Христос омыл ноги своим ученикам.

Земля обетованная, куда звала императрица Екатерина, на самом деле оказалась землей испытаний – кладбищем, где остались похоронены многие надежды.

Но надежда как трава. Зимой кругом снег и лед, но где-то под проседающими мокрыми сугробами, во тьме земли, пробивают себе дорогу новые зеленые ростки. И Генрих Кондратович искренне считал, что раз Господь дает детей – не на погибель они рождаются, а в новую жизнь, где обязательно найдется место и вере, и радости.

Всего у Генриха и Шарлотты родилось одиннадцать детей, двое из которых умерли в младенчестве, в ангельском возрасте. Считалось, что появление ребенка на свет должно проходить естественно, в абсолютно спокойной обстановке, а вид акушерки и медицинских инструментов мог вызвать у роженицы страх. Лучшей повитухой считалась та, которая просто сидела в углу и вязала. Стук спиц должен был умиротворяюще действовать на ребенка. В сентябре 1925 года Шарлотта под стук спиц повитухи родила девочку Ольгу.

Девочка родилась здоровой. Пухленькие щечки, пушок на голове. Остальные дети тогда сидели в другой комнате. Вскоре папа вышел к ним, вынося на руках кокон из пеленок. Лицо девочки с закрытыми глазами смешно морщилось от солнечного света из окон.

– Это Ольга, – сказал Генрих Кондратович детям. –
Ваша сестра.

– Можно подержать? – попросила старшая дочь Марта, которой исполнилось одиннадцать лет.

Она осторожно приняла новорожденную в руки и долго внимательно вглядывалась в лицо похожей на крохотную старушку сестры. Ольга спала, ей явно что-то снилось: лицо то морщилось, словно она во сне собиралась заплакать, то вдруг на губах появлялась смутная улыбка. Казалось бы, что может сниться человеку, родившемуся в мир всего час назад? Но Марта в свои годы знала, что душа человеческая – от сотворения мира и сестренка видит сны вечности.

Вечером Генрих читал детям книгу пророка Исаяи из Ветхого Завета. Дети сидели на лавке – мальчишки со стриженными головами, внимательно слушающие девочки. Маленькая Ольга оставалась на кровати с Шарлоттой и, засыпая на ее руках, казалось, тоже прислушивалась.

– И будут они бродить по земле, жестоко угнетаемые и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего.

И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот – горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму.

Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел, – читал папа.

За окном сумерки, тихая украинская ночь, и кажется, что все плохое уже было. Шарлотта покачивала новорожденную, в глазах матери оставалось лишь одно – нежность. Она что-то шептала дочке на немецком языке. Девочка родилась – будущая хранительница

традиций. Когда она вырастет, ей предстоит сохранять столетний уклад семьи, воспитывать своих будущих детей на родном языке, готовить немецкие блюда к праздникам, своим примером приучая ближних к труду и порядку в доме, следя за нравственной чистотой следующих поколений. Чтобы сохранить в чужом краю маленький осколок средневековой Германии – страны, которой уже не было...

2300 лет назад древнегреческий ученый Аристотель написал труд «О природе вещей». В своем труде ученый, наблюдая за болотной тиной, первым высказал мысль, что жизнь на земле может зародиться без Бога. Примеры с тиной оказались несостоятельными, но сама идея освобождения от Бога с тех пор столетиями переходила из одного трактата в другой, обрстая научными выкладками и обширными теориями, пока не стала доминирующей во внешне христианской Европе.

В отдельно взятой стране, в Советской России, эту идею вознесли до уровня государственной. В кабинетах в пластах папиросного дыма родилась структура Агитационно-Пропагандистского отдела при ЦК Компартии, возглавляемого товарищем Губельманом. Активный пропагандист Губельман подошел к порученному делу с размахом, и вскоре по всем уездам стали возникать ячейки «Союза воинствующих безбожников». Сотни молодых людей проходили курсы преподавания атеизма и разъезжались по всей стране, становясь учителями и начальниками школ. В школу Доброполя, где крышки парт были отшлифованы локтями нескольких поколений детей колонистов, из Луганска приехала воодушевленная девушка

в завязанной стрелочками на затылке красной косынке. Вход в школу украсился кумачовым лозунгом. Раньше дети на доске первым словом писали «Господь», а теперь там обучали, что Бога нет и никогда не было.

– Веками попы кормили народ сказками о Боге, – горячо рассказывала девушка в классе детям разных возрастов. – Но товарищ Дарвин доказал, что человек возник в процессе эволюции. Сейчас в рассказы о Боге верят только необразованные темные люди. Великая Октябрьская революция дала возможность людям знать правду, мы прославляем человеческий гений, а Бога отправляем в архив истории...

– Пришла власть зверя, – говорила детям дома мама. – Пускай они говорят, что хотят, но вы знаете истину...

Мама старалась дать детям мировоззрение, которое не поколеблет какой-нибудь очередной гонитель веры – герцог Альба или советская фанатичная девушка в красной косынке из «Воинствующих безбожников».

Память детства маленькой Ольги состояла из обрывков таких разговоров. И еще смутных картинок: дождей с пузырящимися лужами или белой от снега улицы, когда за покрытыми узорами мороза стеклами ночь и огоньки, а дома мама топит печь. От тепла в комнате чрезвычайно уютно, ходят по стенам красноватые отсветы от открытой заслонки. Летом много солнца, ободранные коленки, помощь братьям и сестрам в огороде, купание в реке. И папа – его борода, запах смолы дерева от одежды, когда он приходил с работы и брал ее на коленки. Его близкие и любящие глаза.

В пять лет Ольга должна была идти в школу, ей сказали, что в советскую школу идти не стоит, но где-то через год к ним стала приходиться та самая учительница и возмущаться, почему колонисты игнорируют обучение своих детей. Учительница уже не носила красную косынку: ходила с короткой стрижкой каре, она не разбиралась, как и все в узде, в тонкостях веры протестантов, для нее все немцы оставались лютеранами. Ей хотелось спорить, просвещать, она не понимала, почему эти невозмутимые мужчины и их женщины в длинных платьях не желают с ней дискутировать.

Массовый голод на Украине в 1932 году Ольге запомнился плохо. После коллективизации они всегда жили в бедности, но благодаря труду всей семьи, взаимопомощи общины и немецкой расчетливости они выстояли ту страшную зиму.

По заснеженным дорогам стояли военные кордоны, а через Доброполье постоянно шли беженцы, стучались по домам, просили еды. Мама им давала, что могла. Долго не уходила из воспоминаний одна женщина – черная, страшная, с безумными глазами. Про нее говорили, что она вместе с двенадцатилетней дочерью съела свою младшую дочь. Сойдя с ума, женщина сама об этом рассказывала. Говорила, что ее уговорила старшая дочь: мол, младшая была больна. Она стояла в проеме двери и говорила про это, словно желала оправдаться, обвинить старшую. Трудно сказать, что там было на самом деле, ее старшую дочь никто не видел, эта женщина пришла в село одна, просила еды и рассказывала всем подряд, что она не виновата, да и не ела почти – пару кусочков. Позже ходили слухи, что ее застрелили

солдаты дальше по дороге. А Ольга после не могла заснуть, ей казалось, что двенадцатилетняя людоедка где-то прячется у них во дворе за штабелями дров.

После голодомора жить стало легче. Года четыре все было спокойно. Появились корова, конь, гуси, индюки и куры. Ольга выросла, превратившись в девочку-подростка невысокого роста с открытым живым лицом, с глубоко посаженными карими глазами и длинными волнистыми волосами. И как-то вечером, перед тем, как Ольге исполнилось двенадцать лет, мама сказала:

– Пора, дочка. Восемь дней подряд вспоминай все свои грехи. В следующее воскресенье твое крещение.

Это было первое воскресенье сентября 1937 года. Был солнечный день, на земле уже можно было заметить первые опавшие листья деревьев, предвещающие скорую осень. Леса стояли в ярких желтых и красных цветах с вкраплениями темно-зеленых елей.

С самого утра началось волнение. Все братья и сестры оделись в самые нарядные одежды, мама лично каждого расчесала гребешком, даже старших. Ольге дали надеть заранее сшитую белую рубаху, и она стала похожа на одну из первых христианок, изображенных в старых книгах. Волосы мама повязала белой косынкой. Принимать крещение, кроме нее, должна была еще одна девочка из соседней семьи.

Крещение обычно проходило на реке, в укромном месте, где река образовывала заводь. Возвышенность с густым кустарником скрывала обряд от посторонних взглядов. Собралась вся община, берег реки украсили

заранее разложенными букетами из полевых цветов. Пел хор. Из-за волнения проповедь запомнилась плохо, помнилось только, что пастор читал Священное Писание, а потом сказал обеим девочкам:

– Сегодня вы умираете для греха. Крещение сродни погребению старой породы человека и воскрешению его в новой жизни. Тело ваше суть храм живущего в вас Святого Духа. Вы отрекаетесь от своего «Я», Господь вас выкупил дорогой ценой. Отныне тела ваши и души ваши – Божьи.

Она обернулась на маму, перед тем как пошла за пастором в реку. Помнилась синь неба, люди на берегу, глаза мамы, слабый ветерок и илистое дно реки под босыми ногами. Они зашли в воду по пояс. Все время хотелось оглянуться к родным, губы почему-то сами собой растягивались в улыбку. Ольга стала возле пастора и, когда он спросил: «Веруешь ли в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя?» – всем сердцем произнесла короткое: «Да».

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – рука пастора трижды зачерпнула воду, окропляя ею голову девочки.

– Слава Господу! Новый человек родился, – хором произнес народ на берегу.

Хотелось плакать от счастья. Вся река была в солнечном свете, ветерок гнал мелкую рябь, и река словно блестела огоньками, бликами и искрами. На берегу Ольгу обняли: вначале мама, затем папа, сестры и братья. Все подходили, поздравляли. Было такое ощущение, словно

она плыла в благодати любви, весь мир был пронизан этой любовью. Не испытанная раньше радость дарила слезы. Ольга не видела себя со стороны, но вторая девочка выглядела не по-земному счастливой, ее глаза сияли от переполнявшей радости, на щеках остались капли крещенской воды, смешанной со слезами. С этого момента девочки становились полноправными членами общины. Назад возвращались под тихое пение.

В какой-то момент Ольга обернулась и увидела, как на воде заводи тихо колышутся рассыпавшиеся из букетов цветы. Осенние красные георгины из садов, сиреневые безвременники, еще какие-то ярко-желтые... Некоторые прибило к берегу, а другие потихоньку уносило на середину поймы. Цветы в воде начинали свой неспешный путь к другим рекам, подумалось, что, может быть, один из этих цветков спустя много-много дней окажется в желтых от мути водах лимана, гонимый ветром поплывет по морям и океанам и его прибьет волнами к еще неоткрытому, необыкновенному, чудесному берегу...

Был один взгляд – на уровне ощущений. Когда колонисты, отделяясь по пути, разошлись по дороге, а они всей семьей подошли к дому, через забор на них смотрел сосед. В соседнем доме – в плохо побеленной мазанке с глиняными стенами, с подслеповатыми окнами – жила семья, муж, жена и их единственный ребенок – мальчишка, ровесник Ольги. Когда-то в этом доме жили евреи, но после Гражданской войны все перепуталось, эти люди поселились в дом по направлению. Папа и мама поддерживали с ними нормальные отношения, часто помогали по-соседски.

Сосед – чубатый мужчина, стоял и смотрел, как нарядные Рейзвихи заходят в дом. Еще что-то спросил у папы. Но было в его взгляде что-то такое... странное. Так тогда показалось Ольге.

Впрочем, она тут же о нем забыла.

3

Прошло две недели после крещения Ольги. Был воскресный день. Старинные часы в комнате показывали 7.50 утра. Вся семья собралась в большой комнате за столом на завтрак. Во главе сидел папа, одетый в пиджак и жилетку. Садиться за стол в рабочей одежде считалось неприемлемым. По правую руку папы находился старший сын Александр. На тот момент Александру исполнилось двадцать шесть лет, он уже женился, построил себе вместе с отцом мазанку за садом, где проживал вместе со своей женой и детьми – мальчишками Александром и Германом и девочками Лидой и Фридой. Его дети и жена Мария тоже находились за столом.

Дальше по старшинству сидели Николай, которому исполнилось двадцать четыре года, Яков, Андрей и младший – восьмилетний Герман. Четверо старших братьев – все как на подбор: статные, крепкие, привыкшие к работе.

Напротив мужчин расположились замужняя Марта, она три дня как родила первенца Эдуарда, жена Якова Мария, Каролина, Ольга и общая любимица – младшая, десятилетняя Лидия. Вся семья была в сборе. Восемнадцать

человек, соединяющих в себе три поколения. На накрахмаленной скатерти в тарелках желтый отваренный картофель, крупно порезанные мясистые помидоры, редиска, подсолнечное масло, выжатое прессом из семечек, свежеиспеченный хлеб и традиционный немецкий пирог «цукер кухен». Молоко и компот из фруктов в кувшинах. Перед завтраком обязательная молитва.

Мир за воротами может изменяться, как ему угодно, но здесь все должно оставаться вне времени.

Никакого предчувствия не было. Обычное раннее утро в большой дружной работающей семье. В какой-то момент мама, сидевшая напротив окна, с удивлением заметила, как к их дому подъезжает грузовик. В кузове грузовика сидели люди в военной форме. Никто ничего не успел понять, как люди начали спрыгивать на землю, ворота распахнулись, и в следующую секунду в окно было видно, как военные бегут к дому, а некоторые из них становятся по периметру, оцепляя двор.

Все происходило так быстро, что мама ничего не успела сказать. Ее глаза округлились. Дверь в дом оставалась незакрытой. На крыльце послышался шум, стук, где-то в коридоре звякнула, полетев на пол, задетая прикладом стеклянная банка. Запомнилось, что папа в этот момент поднес ко рту ложку с развалистым картофелем и так и замер с ней у рта.

Людей в форме было человек восемь, но Ольге показалось, что их намного больше. Забегая в дом, они как-то сразу рассыпались по комнатам, заняв собой все пространство. Бросились в глаза малиновые петлицы. И сразу за ними в дверь зашел старший. Он был одет

в синюю фуражку с краповым околышем и коверкотый френч. Над нагрудными карманами орден и потемневший от времени знак почетного чекиста. На вид ему было лет сорок. Показалось, что лицо человека выглядело уставшим, под серыми прищуренными глазами мешки, а в самих глазах пустота. Он оглядел замершую на лавках за столом семью, прошелся взглядом по комнате и спросил металлическим голосом.

– Генрих Кондратович Рейзвих?

– Я, – ответил папа, поднимаясь от стола. Его лицо пошло пятнами.

– Вот ордер на обыск, – человек достал из нагрудного кармана сложенную вчетверо бумажку. – Предлагаю немедленно сдать все имеющееся оружие.

– Какое оружие? – папа ничего не понимал.

Мама не отрываясь, расширенными глазами смотрела на бритый подбородок майора.

– Ясно, – старший был краток. – Вы остаетесь в доме. Остальных прошу выйти во двор. – А своим подчиненным приказал: – Начинайте.

Маленькая Лидия во все глаза уставилась на золотистые пуговицы на френче человека. А Ольге бросилось в глаза, что на нем повсюду виднелись звезды – на фуражке, на рукавах, пришитые нашивками чуть выше обшлагов, на пряжке портупеи с кожаной кобурой. Отдав приказ, старший полез в карман галифе, доставая оттуда портсигар. В доме Рейзвих с момента возведения фундамента никто никогда не курил, это считалось

грехом, но мама ничего не сказала этому человеку. Лишь побледнела еще больше. Боковым зрением отметилось, что солдаты заносят в дом ломы – поднимать полы.

– Все на выход, – продублировал слова старшего коренастый белесый сержант с выгоревшими на солнце бровями.

Родной до последней половицы дом, где каждая вещь знакома и любима, мгновенно стал чужим и неудобным, как проходной двор. Не дожидаясь выхода членов семьи, солдаты уже начали обыск. Гремели по полкам в глухой кладовой без окна, срывали занавески, сдергивали с кроватей покрывала, обнажая белую интимность постельного белья, кто-то полез в каменный погреб, кто-то выкидывал на пол золу из печи. Папа остался в доме.

– Это какая-то ошибка... все будет хорошо, – выходя во двор, пытаясь успокоить детей, повторяла по-немецки мама.

Один из солдат с малиновыми петлицами, услышав немецкую речь, насупился и так зло посмотрел на маму, что Ольга, поймав его взгляд, сжалась.

Все стали толпой у старого тополя у сарая. Сыновья растерянно молчали. Было ощущение нереальности. Если бы Ольга попробовала сформулировать свои чувства в тот день, в голову бы пришла только одна мысль – наваждение. Вначале казалось, что сейчас все разрешится и они, взволнованные, вернутся за стол доедать остывшую картошку и делиться друг с другом своим испугом. Но обыск только начался. Во дворе во-

енные действовали молчаливо и слаженно, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Кто-то, взяв лопату, пошел в огород, кто-то лазил по пустым птичникам, амбарам, протыкал штыком в коровнике старое слежавшееся сено. На хозяев никто не обращал никакого внимания, словно их во дворе не было. Но у ворот демонстративно остался один из бойцов с винтовкой.

Новость об обыске в доме Рейзвих разлетелась по селу мгновенно. К дому подходили любопытные, но, увидев грузовик и спящих солдат, переходили на другую сторону улицы, на секунду останавливались и торопливо проходили дальше. Был момент, когда Ольга увидела на той стороне улицы учительницу. Она стояла и смотрела дольше остальных. Запомнилось, что она была в светлом платье.

С семьей Рейзвих у учительницы всегда оставались сложные отношения: она чувствовала их молчаливое сопротивление. Пыталась наладить диалог на антирелигиозные темы с детьми, но те, внешне послушные, оставались для нее закрыты. Несколько раз приходила к маме: та отвечала только на немецком, и учительница с каменным лицом уходила из их дома. Сделать она ничего не могла – Рейзвихи официально числились немцами. Что-то с учительницей происходило: ее цель жизни всегда была одна – гнать Бога, но после ее приходов у мамы оставалось впечатление, что она в последнее время приходила не столько доказать свое, сколько, наоборот, в чем-то разобратся, услышать что-то ей необходимое.

Кто знает, может быть, учительница приходила тогда к ним сама искать веру, следуя за вопросами, возникшими в душе. А потом отомстила доносом, в том числе

и за свои сомнения. Уже позже, спустя несколько лет, в семье узнали, что учительница тут была ни при чем, что донос написал их сосед, проживающий в мазанке рядом. Написал из зависти.

Ему никогда ни в чем не отказывали: семена на рассаду, коня – вспахать огород, мама лечила его сына, когда тот метался в горячке. А он принимал помощь – и ненавидел в душе. За все время обыска он только раз показался у себя во дворе, мазнул глазами и скрылся в хате.

Солнце пошло в зенит, а обыск все не заканчивался. Что происходило в доме, понять было нельзя, из комнат доносились голоса, стуки и треск. Искали всерьез – не для галочки. По доносу выходило, что в доме есть оружие. Вспотевшие, с темными пятнами на спинах гимнастеров солдаты перекопали весь огород и сад, сейчас там находилось месиво из земли, выкопанных овощей и раскиданной ботвы. Двое бойцов вычерпывали воду их колодца, залив весь двор. Колодец осушили досуха, один из солдат, привязавшись веревкой, спустился по шахте вниз, но тоже вернулся ни с чем. Оттого, что обыск затягивается, бойцы стали злыми.

В доме, среди валяющихся на полу вещей, старший со звездами на рукавах спрашивал продолжающего сидеть на лавке Генриха Кондратовича:

– Где оружие?

Но глава семьи ничего не отвечал. Он ничего не понимал, не мог прийти в себя. Все время повторял в уме, что это какая-то ошибка. Хотелось выйти к жене

и детям, успокоить их, но ему не давали встать с лавки. Было ощущение какой-то бездушной неумолимой силы, которая ворвалась в их семью. Эта сила на самом деле всегда была рядом: во взгляде участкового, иногда приезжающего в Доброполье в повозке, в выражении лиц членов комиссии по делам религии, в лице пионервожатого в школе – но она находилась в каком-то параллельном мире, не затрагивая их жизнь. А теперь пришла к ним прямо в дом. Эти люди, ходящие по комнатам, поднимающие ломиками полы, сбрасывающие на пол посуду с полки, без стеснения достающие женское белье Шарлотты из сундука, провонявшие весь дом папиросами, не желали ничего слушать, для них ничего не существовало, кроме их отчетов.

...Где-то в районном отделении НКВД в сейфе у следователя в картонной папке лежал написанный соседом донос. Крупным размашистым почерком на тетрадном листке было написано, что в колонии Доброполье в семье Рейзвих хозяин семьи является германским шпионом, завербованным еще в Гражданскую войну, когда в Луганске стоял немецкий гарнизон, и что он вовлек в свою преступную деятельность старших сыновей, готовя вооруженный мятеж по знаку из-за границы. Это письмо было ни порвать, ни сжечь. Оно прошло регистрацию, украсилось красными чернилами резолюций, оставаясь в папке с тесемками, получив номер дела.

А дальше в действие вступила тяжелая, как каток, государственная машина.

– Нет оружия. Даже берданки нет. Все обыскали! Из связей с Германией только старые молитвенники на

немецком языке, – спустя несколько часов безуспешных поисков доложил ожидающему окончания обыска майору взопревший сержант.

Майор не зря носил на груди значок почетного чекиста. Он уже все понял. Занимаясь по роду деятельности религиозными общинами, он прекрасно знал, что у меннонитов не может быть оружия и что на резидентуру Германии они не работают, отрицая любую политическую власть и давно считая своим домом Россию. Но донос в папке оставался.

– Значит, тайник где-то за пределами двора, – пожал плечами он. – Дальше пусть следователи работают. Заканчиваем здесь. Этого в машину, – он кивнул на сидевшего на лавке с опущенной головой Генриха Кондратовича. – И одного из старших сыновей тоже.

В окно было видно всех членов семьи, сидевших и стоявших кучей во дворе. Майор подошел к окну, посмотрел и спросил:

– Старший – это какой? У которого на руках ребенок?

Секунду подумал и приказал:

– Давай другого. Вон того, что слева. Его оформляй. Кто он там по анкете?..

Сестра Марта потом говорила, что майор пожалел Александра из-за малолетних детей. Может, и так. Хотя Марта всегда была добрая и свою доброту переносила на других людей. Но думается, что старший опергруппы – прекрасный физиономист, выбрал Николая, потому что тот ему показался более мягким.

Семья продолжала находиться во дворе, когда из дома вывели Генриха Кондратовича. Руки его были сложены за спиной. Он шел с опущенной головой. Мама охнула и бросилась к нему, но кто-то из бойцов грубо оттолкнул ее винтовкой. Папа поднял голову. Ольга успела подумать, что никогда еще не видела его таким растерянным. Наверное, он хотел что-то сказать, открыл было губы, но ведущий его солдат коротко бросил: «Молчать», и губы сжались. А потом произошло что-то совсем непонятное. Двое солдат подошли и молча схватили Николая. Ольга стояла спиной к нему, она даже не заметила момент, когда Николая повели к машине. Он улыбался растерянной улыбкой, не успев ничего осознать: вот он только что стоял со своей семьей, а вот его уже крепко ухватили за руки повыше локтей и почти бегом толкают к борту грузовика.

– Николай, – крикнула Марта, он успел обернуться, и его растерянный взгляд словно повис во дворе.

– Спокойно, товарищи. Разберемся и отпустим, – бросил на ходу майор, направляясь к машине.

Арестованных посадили в кузов, грузовик завелся и, покачиваясь на ухабах проселочной дороги, набирая скорость, поехал в сторону райцентра, оставляя за собой столб пыли. А в соседней мазанке, прильнув к подслеповатому окну, машину, пока она не исчезла за поворотом, долгим взглядом провожал сосед. Он чувствовал удовольствие и некую причастность к свершенной справедливости.

Дома полы в комнатах подняты, в погребе разбитые банки с соленьями, земля из горшков с геранью по всем

подоконникам. Вещи в полном беспорядке на полу. Убирались, почти не разговаривая друг с другом, даже маленькая Лидия молчала, и на ее переносице обозначились две взрослые скорбные складочки.

Когда убрались, была уже ночь, в голое окно светил украинский месяц. Младшие дети легли по кроватям. Обычно перед сном мама всегда заходила к девочкам, садилась на край постели и переплетала им волосы. Деревянным гребешком расчесывала пряди, выпрямляла их, после заплетала в одну тяжелую косу, говоря при этом что-нибудь вроде: «Доченька, перед сном всегда думай о чем-нибудь хорошем». Фитилек керосиновой лампы почти задвинут, на стенах ходят тени. Руки у мамы ласковые, голос тихий, успокаивающий, и Ольга начинала засыпать еще до того, как оказывалась под одеялом.

Сегодня девочки думали, что мама к ним не зайдет, но она пришла. Лицо мамы смотрелось несчастным, но не каменным, как при уборке. А руки остались ласковыми. Сидя у Ольги за спиной, она выбирала пряди, расчесывала их и поглаживала рукой.

– Переживаю я, – голос мамы оставался глуховатым, больным. – Вот сейчас папу с Колей выпустят, а как они с райцентра доберутся? Почти тридцать верст. Это же сколько пешком надо идти. Хорошо, если к полудню доберутся... Обратного же их не повезут. Надо было хоть узелок с продуктами им собрать, а я растерялась... Но все будет хорошо. Все будет хорошо...

Она снова и снова проводила гребешком по волосам и повторяла: «Все будет хорошо», словно в этих словах таилась неведомая сила, какое-то древнее заклинание. Потом взяла руку Ольги в свою ладонь. Ольга не пом-

нила, как заснула. Проснулась она внезапно, словно кто-то потряс ее за плечо.

Плыла глубокая ночь. В доме было тихо. В окно виднелась одинокая звезда. Какое-то время Ольга смотрела на синеватый свет звезды, а затем ей послышалось, что из комнаты мамы доносятся приглушенные звуки плача. Встав с постели, она тихонько приоткрыла свою дверь и прислушалась. Мама плакала. Вернувшись в постель, Ольга залезла под одеяло и долго лежала с открытыми глазами. Затем ее мысли словно кто-то разгладил, и она заснула, на этот раз окончательно, без сновидений – до утра.

С того самого дня мама больше не улыбалась. Никогда.

В кабинете решетки перед стеклом окна, за окном ночь. Голая электрическая лампочка под потолком. Обшарпанные стены, выкрашенные до половины зеленой краской. На железном сейфе в углу поверх папок заварка чая в газетном кульке. В кабинет постоянно заходили какие-то сотрудники. Следовательно, молодой чернявый парень в пиджаке и белой рубашке с отложенным на лацканы воротником, не обращая внимания на Генриха Кондратовича, сидящего на прикрученном табурете, вступал с заходящими людьми в разговоры: курил, шутил, смеялся.

Он никуда не торопился, время от времени звонил по телефону домой, обсуждал какие-то интимные подробности, мурлыча в трубку. Допрашиваемые в этом кабинете не воспринимались даже врагами, они были ничем – призраками, продолжениями табурета, неодушевленным атрибутом комнаты с яркой лампочкой. На бетонном полу виднелась замытая кровь.

– Ну что? Будем сотрудничать? – в очередной раз положив трубку, поднял следователь живые смысленные глаза на задержанного. – Если честно, ты мне даже не интересен. Показывай, где схрон с оружием, и иди в камеру спать. Не трать мое время, фашистская морда...

Генрих Кондратович молчал. Очень отекали ноги, постоянно хотелось переступить ими. От бессонницы в голове сплошной туман. Голос следователя звучал как сквозь вату. Опытные люди знают: самое тяжелое время при аресте – это первые трое суток. Когда остаешься один на один с собой, постепенно осознавая непоправимость произошедшего. Потом, когда переводят в общую камеру, там уже начинается жизнь в социуме – свои отношения, свои правила выживания, а по ночам, в противоположность тоске и мраку, к человеку приходят яркие необыкновенные сны с родными людьми. Сны дают передышку в расставании с прошлой жизнью.

Но первые трое суток, когда нет ничего, кроме тумана, света тусклой зарешеченной лампочки под потолком и постоянно меняющихся лиц следователей, осознать себя очень сложно. Тем более когда не понимаешь, чего от тебя хотят.

На третьи сутки в кабинет зашел майор, руководивший опергруппой при обыске. Френч застегнут на все пуговицы, на груди непроизвольно притягивающий взгляд значок почетного чекиста. Но щетина на подбородке и глаза от усталости красные. Достал из кармана алюминиевый портсигар, постучал мундштуком папироски по крышке. Следователь приподнялся со стула.

– Ну и что у тебя? – спросил его майор, мельком взглянув на допрашиваемого.

– Да вот, не сознается, Игнат Павлович, – ответил следователь.

– Понятно. А ну-ка, выйди...

Когда молодой человек закрыл за собой дверь, майор присел на край стола. Поднял тонкую папку, щурясь от табачного дыма, полистал ее, бросил назад. В наступившей паузе его пальцы отстучали по столу какой-то марш. Подошел к окну и какое-то время стоял спиной к арестованному, словно пытался что-то разглядеть в темноте за стеклом. Затем, вздохнув, вернулся к столу.

– Скажи, ты умный человек? – он словно приглашал побеседовать. – Давай мы с тобой поговорим, как разумные люди. Вот смотри... Есть сигнал. Что ты резидент германской разведки. По косвенным данным он подтверждается... Правда это? Я не знаю. Может, и нет...

Генрих Кондратович приподнял голову. Майор говорил не так, как остальные люди в этом кабинете.

– Но сигнал-то есть, – продолжал начальник. – И что нам – проигнорировать его? Отпустить тебя, сказать, что ошиблись?.. С такими показателями нас здесь всех разгонят. По рапорту участкового – подозрительная семья. По сигналу – подготовка к вооруженному восстанию! А мы ничего не нашли. Для начальства вывод один: «Значит, не умеете работать». Теперь смотри, что будет дальше... Снова выезжаем в Доброполье и собираем материал. Соседи, верующие ваши из общины, другие лица... И поверь мне, через неделю у нас будут железобетонные доказательства о твоей причастности не только к германской

разведке, но и о подготовке к террористической деятельности, выразившейся в планировании убийств первых лиц компартии района. Мог ты один вести подготовку? Правильно, не мог. А значит, находим сообщников.

Слова майора тяжелыми шарами заплывали в сознание и лопались там брызгами. В голове сплошной туман, как будто стоишь где-то в бескрайнем болоте, вокруг непроглядная серая мгла, за которой нет иного мира. И тяжелые слова катятся откуда-то сверху, но нет сил их понять. Дошло только: «террористическая деятельность, сообщники...» Генрих Кондратович дернулся, постарался разогнать пелену перед глазами.

– Мой сын Николай, что с ним? – чуть слышно спросил он.

– Вот! – оживился майор. – В правильном направлении думаешь. Сообщники, естественно, твоя семья. Жена и все старшие сыновья. Остальных детей – в детдом. Через несколько дней твоя жена будет сидеть и плакать вот на этом табурете. И ничего уже не исправишь. А сейчас исправить можно... Ты пойми... – майор подвинулся вплотную. – Мне ведь только раскрытие нужно... Берешь на себя вину – и дело закрыто. Отдаем в суд. Не подпишешь – копаем дальше. Ты хочешь, чтобы жена твоя и дети по этапу пошли? Получишь свои три года, через год вернешься к семье по амнистии. Нормальный мужской поступок – взял все на себя... А мне главное дело закрыть.

– Николай? – сглотнув слюну, повторил Генрих Кондратович.

– Его не пиши. Пусть все будет честно. Как только подпишешь, пойду в кабинет, где с ним работают. Остановлю. Договорились? Завтра же будет дома...

За дверью раздался приглушенный крик. Кричала женщина, но не больше секунды – крик захлебнулся в чьих-то ладонях. Кто-то пробежал по коридору. Были слышны звуки приглушенной возни, а затем на мгновение снова прорвался рыдающий крик. Наверное, утром, в солнечном свете, выходя из этих кабинетов и камер, дознаватели становились обычными людьми, любили своих мам, читали детям на ночь сказки. Жаловались женам, как устают на работе... Было такое ощущение, что тебя держат чьи-то руки под водой, тащат на глубину, не дают ни на секунду вынырнуть на поверхность, вдохнуть воздуха. Представилось, как жену привозят сюда, раздевают, обыскивают, как допрашивают детей...

В голове всплыли Евангельские слова об искупительной жертве за ближних. В одну секунду представился их дом, стоящий сейчас в тридцати ночных верстах в темноте. За окном свет керосиновой лампы, дети в кроватях, его и Николая места пустые... Словно увидел в мерцании огонька лицо жены, но не такое, как сейчас, а как в молодости, когда только приехали в Доброполье. И тут же представилось, как завтра раскрываются покрашенные зеленой краской глухие ворота тюрьмы НКВД и оттуда выходит Николай. Рубашка испачкана грязью нар, в кармане подписанный пропуск, вихор волос, а на губах все та же растерянная улыбка, с которой он ехал в кузове грузовика.

– Николая отпустите? – тихо переспросил он, и было видно, что он просто молил, чтобы его убедили.

– Слово чекиста, – твердо ответил майор. И крикнул в коридор: – Копылов! Иди оформляй признание. Напишешь, что шпион, что связь осуществлял через

каналы общины под видом религиозной деятельности. Фу, устал... Поспать бы часов шесть...

Через десять минут в другом кабинете с такой же яркой лампочкой под потолком майор говорил Николаю:

– Что ты раздумываешь? Подписывай. Здесь написано, что ты искал оружие, чтобы совершить покушение на главу райкома. По идейным соображениям. Но оружие не нашел и впоследствии от своих планов отказался. Понимаешь разницу? Сам отказался. Подписывай и вали домой. Батя твой все подписал, и уже завтра его отпускаем. И тебя отпустим. Если подпишешь. Дашь слово, что против советской власти ничего не имеешь, и иди себе на все четыре стороны. Только больше не попадайся...

Двадцатичетырехлетний Николай, с непокорной челкой волос, спадающей на лоб, с воспаленными от бессонницы глазами, молодой, неискушенный жизнью парень, честный, работающий и скромный, ничего не понимал. В жизни не сказавший лживого слова, он всеми силами старался понять, что от него хотят эти люди, почему его и папу привезли сюда, почему ему не дают закрыть глаза, чтобы исчезнуть из этого места в сон, почему его постоянно сбивают с табуретки ударами в лицо. Он поверил этому человеку, командиру в португее и звездами на рукавах, вернее даже, поступил по его слову – просят же, надо подписать. Им виднее.

И когда он подписал, когда его увели, очередной следователь негромко сказал майору:

– Расстрельное же дело. А парень... – следователь замылся.



– Слушай, – отмахнулся майор. – Хорошая работа. Два раскрытия. А как иначе? А этот Николай... Не я же на него донос написал... Все, пошел я домой...

Николая поместили в тесный бокс для задержанных. Он ждал, что за ним придут, но двое суток дверь камеры не раскрывалась, подавали только хлеб и хлебку в окошко. А затем, ввиду чрезвычайной опасности его деяний – подготовки к террористическим актам, его этапировали в Киев. Николай все ждал, что его отпустят. Тройка заседала заочно, его приговорили к высшей мере наказания. Принесли в камеру постановление трибунала и дали подписаться.

Одним из последних октябрьских дней ранним утром Николая вывели из камеры и повели по длинным коридорам. Обшарпанные стены тюрьмы источали свой тяжелый неповторимый кислородный запах, казалось, этим запахом было пропитано все на пути: решетки, двери камер с глазками, лестничные проемы, даже форма и кожа конвоиров. Но Николай в то утро запаха почему-то не чувствовал. Шел между конвоирами, послушно исполняя их команды: «Стоять. Лицом к стене. Продолжать движение».

В бетонном дворике, куда его завели, над сеткой он увидел кусок неба. До этого в подвалах все время тусклые или яркие электрические лампочки, а тут – настоящее небо и рассвет. И был свет восхода какой-то необычный – насыщенный, светлый, проходящий сквозь него. Все стало неважным, кроме этого восхода. Пронзительно всплыла в памяти картина: он маленький, в церкви собрание, папа и мама, пастор говорит о Господе, и он вдруг замечает Его силуэт в отсвете из окна, в одежде из света.

Прозвучало: «Лицом к стене». Только в тот момент он по-настоящему понял, что никуда его отсюда не отпустят, что сейчас ему выстрелят в затылок. И он, оставаясь в сознании таким же маленьким пятилетним мальчишкой, подумал, что, увидев Господа, он пожалуется Ему на этого подлого майора, на всех этих людей, которые без выгоды обманули его – доверившегося, на человека, написавшего на него неправду в доносе, – на всех их пожалуется, про всех расскажет. В последнее мгновение он словно снова стал ребенком.

В ту ночь Шарлотте приснился сон. Она в доме, но дом какой-то нежилой. На старой мебели пыль, кругом паутина, потолки в трещинах, скрипят половицы. И по коридору слышится топот босых детских ног. Она знает, что это Николай, она его и во сне ищет, ждет. Николаю во сне лет двенадцать: худенький, уши торчат, он в белой праздничной рубашке. Стоит в коридоре, спиной к ней.

– Сынок, – заходится она в крике, но крик получается беззвучным.

Николай оборачивается, улыбается ей, и Шарлотта видит, что по его лицу течет кровь.

Сон смутный, черно-белый, а кровь красная, нереально яркая. Сын продолжает улыбаться, а кровь течет все сильнее, заливая его лицо, густо капает на пол.

Шарлотте во сне не хватило воздуха. Она широко раскрыла рот, пытаясь вздохнуть, и резко, с вскриком села, оказавшись на кровати в своей комнате. Одежда слетела на пол, наверное, она металась во сне. Сердце билось часто-часто, пульсом отдаваясь в висках.

До утра она уже не заснула.

В Ворошиловоградской тюрьме собирали этап. Генрих Кондратович стоял во внутреннем дворе в строю собравших на этап заключенных. Было холодно, от дыхания шел пар, яркими белыми огнями светили прожекторы. Этап получил разнарядку в Кемеровскую область, в далекий лагерь, затерявшийся среди заснеженных сопок в глухой тайге. До него было несколько месяцев пути – пересыльные тюрьмы, новые сортировки. Генриха Кондратовича трясло от холода, он оставался одетым в то, в чем его забрали, – в пиджак и рубашку. Чтобы хоть как-то согреться, он пытался найти глазами какой-нибудь источник тепла, за который можно зацепиться хотя бы взглядом.

Легче всего ему было смотреть на звезду над тюремной стеной. Он сильно изменился за это время: похудел, осунулся, на лице морщины и мешки, борода сваллась. Его признали виновным в сборе разведанных в пользу Германии и антисоветской агитации, приговорив к десяти годам заключения. На суде он просил одного: отправить письмо жене и детям, но ему отказали. Весь суд «особой тройки» длился несколько минут – время зачтения приговора.

Он не знал, что Николая расстреляли. Заставлял верить себя, что сын дома. Только так можно было найти силы жить дальше. И так же, как свет далекой звезды, его грела мысль, что дома все хорошо. Недавно ему приснилась дочь Ольга. Дочка, зная во сне, какой он принял выбор, сказала: «Папа, ты такой сильный...» А он не сильный. Просто любил.

В тюремный двор въезжали грузовики, светили фарами. Начальник конвоя выкрикивал фамилии из спис-

ка. Где-то на запасных путях, далеко от вокзала, уже стоял эшелон, готовый начать свой долгий путь в Сибирь. Территория возле эшелона была оцеплена солдатами. Большая, черная, с рыжеватой подпалиной на груди овчарка неподвижно сидела у ног одного из солдат, ожидая момента, когда из приехавших машин начнут выпрыгивать пахнущие тюрьмой люди и цепочкой побегут к вагонам. Тогда овчарка будет рвать поводок и вставать на дыбы, пытаясь до них добраться. Эшелон уходил не в пространственные измерения, он уходил в другую реальность, откуда для многих возврата не было.

Генрих Кондратович так и не вернется. Он умрет в лагерном бараке на Севере в кемеровском Сиблаге через семь лет, в апреле 1944 года. Перед смертью он не станет вспоминать людей, которые так подло его обманули, отправив сюда, – будет видеть другие картины: как они с женой строят дом, высаживают сад, вишневые саженцы, повозки с глиной из карьера, лица новорожденных детей, а еще свадьбу – украшенную цветами повозку и морось дождя.

Когда он умрет, соседи по нарам быстро разделят его немногие вещи. На вахте, чтобы удостовериться, что он умер, ему пробьют голую пятку штырем и похоронят в общей могиле с табличкой с чернильным номером. Но для жены он и дальше останется жить в детях.

Правительственной комиссией Рейзвих Генрих Кондратович будет реабилитирован 20 сентября 1989 года. Признан безвинно пострадавшим через долгих пятьдесят два года.



Глава 5

1

Доброполье, Казахстан, 1941 год

В Доброполье в двадцатых годах жил сумасшедший по прозвищу Glücklich (рус. Счастливый). Так его прозвали селяне. Счастливый появился еще во времена Гражданской войны: поговаривали, что он дезертир – то ли от красных, то ли от белых, на его ладони действительно долго сохранялась мозоль от винтовочного затвора. Наверное, он был еще не старым, но длинные, спутавшиеся в космы волосы, заросшее лицо с нестриженной бородой и безумные глаза превращали его в старика. Жил Счастливый в заброшенном амбаре, зимой и летом ходил босым, в грязной рваной безрукавке из козьего меха на голое тело.

Как-то в воскресный день у церкви каждому проходящему на службу он выговаривал:

– Поднимется северный ветер и перенесет вас в другую землю. Вырвет с корнем... И следа от вас не останется.

Ну сказал юродивый и сказал, мало ли что у него в голове? Но Ольга почему-то запомнила эти слова. Тем более что мама часто говорила, что никакой он не безумный: наоборот, человек Божий, спрятавшийся за сумасшествием от этого страшного мира. Он отпустил свой разум на свободу и отделился от людей неви-

димой стеной, еще более высокой и неприступной, чем у меннонитов.

Счастливым давно умер, а его слова словно так и остались висеть неразтворенными в воздухе над домами колонистов. Позже, когда все произошло, Ольга вспомнила тот момент: лето, зелень, нарядные люди, семьями идущие в церковь, и сиплый голос Счастливого, выкрикивающего про ветер, который уже зародился где-то на севере и несется сюда, чтобы поднять в небо фигурки людей и унести их за собой на другой конец земли.

Прошли годы, прежде чем его пророчество исполнилось.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. И вскоре по линии НКВД начали создаваться «временные трудовые коллективы», получившие в обиходе название Трудовой армии. Мужчин из «неблагонадежных национальностей», прежде всего этнических немцев, вызывали повестками в местные отделы. Там им предлагалось взять с собой личные вещи, прийти на пункт сбора, а дальше их увозили этапами за тысячи километров на лесозаготовки, на стройки, на рудники. Содержали трудармейцев в лагерных условиях: разницей с заключенными зачастую оставалось лишь то, что у них не значилось окончание срока.

Из Доброполя в Трудовую армию забрали почти всех немецких мужчин. Исключение составили мужчины старше 55 лет или те, кто еще раньше поменял фамилию, при переписи назвавшись русским или украинцем. Но таких была всего пара человек. Из семьи Рейзвих забрали старшего тридцатилетнего сына

Александра, у которого на тот момент уже родилось пять детей. Забрали на Крайний Север Якова, тоже женатого, оставившего жену с грудным ребенком. Забрали и двадцатилетнего Андрея. Дома остался младший сын Герман, которому исполнилось двенадцать лет.

Это был лишь первый порыв беспощадного ветра грядущего апокалипсиса.

В начале августа по линии НКВД появилось донесение № 28 от штаба Южного фронта, где говорилось, что немецкое население Украины встречает фашистов хлебом-солью и что поселенцы стреляют из окон в спины отступающим советским солдатам. Тогда в Ставку шло много разных донесений – деморализованные войска бежали, оставляя свои позиции, часто после первой же бомбежки; в прифронтовой полосе царила паника, наладить сопротивление или организованный отход у командиров не получалось, у энкавэдэшников тоже, поэтому надо было искать крайних. Возможно, подобные единичные факты и имели место, но в докладе эти случаи преподносилось как общая картина. Никто не принял во внимание, что в Красной армии на тот момент служило более 38 тысяч этнических немцев – командиров и рядовых, которые дрались, погибали и отступали вместе со всеми.

Доклад лег на стол, и на нем появилась собственно-ручная раздраженная резолюция Сталина: «Надо выселить с треском!».

Доказательства остались в духе НКВД. Газета «Большевик» от 30 августа 1941 года напечатала: «По достоверным данным среди немецкого населения Поволжья

имеются тысячи и тысячи диверсантов и шпионов, ждущих сигнала из Германии». А дальше шло: «О наличии такого большого количества диверсантов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в Поволжье, советским властям не сообщал, а следовательно, они их скрывают в своей среде». Сознательно скрывают. Значит, виноваты все. Это была публикация Указа Верховного Совета СССР о переселении этнических немцев.

Закон маятника – наверху сказали слово, а внизу по амплитуде изменился мир у миллионов ни в чем не повинных людей. Поднялся вопрос – куда выселять? И снова, как и сто, как и двести лет назад, взоры начальства остановились на пустых пятнах на карте Казахстана. Вновь заговорили о Великой Степи, которую можно попробовать освоить в очередной раз. В таком случае решалось сразу несколько стратегических задач. Создание новых поселков в Казахстане позволило бы не только выполнить распоряжение товарища Сталина, но и поднять земледелие, заселив пустующие земли трудолюбивым народом, уйти от догмы, что степные ресурсы пригодны только для скотоводства.

Непосредственному исполнителю операции – отделу спецпоселенцев НКВД СССР – был дан месяц на подготовку. Отмечались точки на картах, прокладывались маршруты, назначались ответственные на местах. Появились инструкции по любой возможной ситуации. А дальше в дело вступила отлаженная государственная машина, работающая без сбоев, даже когда на фронте катастрофа.

...Дрожал воздух над подсолнечными полями Украины, по пыльным дорогам шли и шли бесконечные

потоки отступающих солдат в мокрых от пота гимнастерках. Тащили пушки, понуро брнчали полевые кухни, среди толп медленно ехали штабные машины. Брели раненые в грязных бинтах, поддерживая друг друга.

– Бросаете нас, защитники, – кричали им жители соседних деревень. – Гитлеру оставляете на погибель. Вояки сраные...

А совсем рядом в тылу люди в фуражках с малиновой окантовкой выселяли людей из их домов. Стояла растерянная немка-колонистка посреди двора, не зная, за что ей хвататься. «Выселить с треском» означало, что можно взять с собой только то, что поместится в руках. Женщина топталась на месте, с ужасом смотря на энкавэдэшников.

– С собой можете взять детей. Маму и папу. Других родственников. И настенные фотографии, – издевался над ее растерянностью здоровенный румяный младший сержант, сын какого-нибудь крестьянина-бедняка. – Коровку брать нельзя. Коровка и нам пригодится...

Стояли на улицах грузовики, кричали, поторапливая, на разные голоса представители органов. На сборы давали два часа. Жизнь людей словно с размаху перерубили топором на две части.

2

Шарлотте не дали опомниться. Когда в дверь с грохотом постучали и сунули бумагу на переселение, первой мыслью было, что мужу и Николаю вернуться

теперь некуда. Они когда-нибудь придут, и старшие сыновья вернутся, а семьи в доме нет, в комнатах лишь пыль, открытые шкафы и следы торопливых сборов. Как они теперь найдут друг друга? Но люди в хромовых сапогах даже не дали времени, чтобы это осмыслить.

– По инструкции на сборы даются сутки, но обстановка на фронте этого не позволяет. Даем два часа. Взять с собой можно продукты, личные вещи, мелкий инструмент. Предметы обихода. Кастрюли там, одеяла... Но не больше того, что поместится в руках, – проходя мимо застывшей Шарлотты в дом, произнес кто-то из военных, и, повысив голос, крикнул чуть ли не в ухо: – Поторапливайтесь!

Если в доме пожар, хватаешь самое ценное. Но что является этим ценным, когда у тебя нажитое годами хозяйство, понять сразу невозможно. На стене, на самом видном месте, в рамках висели фотографии Генриха Кондратовича – одна, где он молодой, в солдатской форме, другая, более поздняя, где он уже солидный мужчина с окладистой бородой. Первым делом так и не пришедшая в себя Шарлотта кинулась снимать фотографии. Затем в руках оказались потрепанные старинные молитвенники на немецком языке – осколки прошлого. А военные уже стояли в каждой комнате и торопили:

– Быстрее, быстрее.

Собирались молча и торопливо, скидывая вещи в простыни и завязывая в узлы. Жена старшего сына Александра Мария металась по своей мазанке, что построили за домом. Скидывала без разбору вещи

в мешок. Четверо детей в возрасте от четырех до десяти лет молча сидели на одной кровати и испуганно смотрели на маму. А она вдруг замерла на месте, открыв рот. Ее лицо окаменело.

– Сын у меня у бабушки... В соседней деревне. Старший сын – Александр. Ему всего 11 лет. К родне отвезла погостить. Что теперь делать? Надо за ним съездить...

– Нет времени, – непреклонно ответил стоящий рядом боец с хмурым, изъеденным оспой лицом.

– Господи... Сын, Сандар же у меня там...

– Собирайтесь быстрее, женщина. Машины через час уходят.

У жены Якова на руках грудной ребенок. Жену тоже звали Марией. Она торопливо качала его, прижимала к груди, а потом оставляла плачущего в кроватке и бежала во двор снимать с веревки пеленки и распашонки, собирая их в узел. Еще до рождения ребенка муж Яков купил в магазине в райцентре яркую жестяную погремушку, но она куда-то, как назло, подевалась, и жена со слезами на глазах, теряя время, искала эту погремушку по всем углам, словно она оставалась самой необходимой вещью в путешествии в несколько тысяч километров.

– Быстрее, – торопили военные.

Не было времени прийти в себя, собраться с мыслями, даже расплакаться. От криков тряслись руки. По всей улице стояли машины, постепенно во дворах появлялись собранные в кучи узлы. Начались истерики.

– Никуда я не поеду! – во весь голос кричала в одном из дворов худощавая высокая женщина с искаженным лицом. – Это мой дом! Я останусь в своем доме!

Возле нее плакала девочка около четырех лет с растрепанными, выгоревшими за лето волосами.

– Это ваша дочь? – спросил один из военных и, не дожидаясь ответа, взяв девочку за руку, повел к стоящей возле ворот машине и, подняв, передал ее кому-то в кузов.

Женщина мгновенно замолчала. Охнув, она побежала за дочерью, споткнулась и упала. Через несколько минут, с кровоточащей ссадиной на голом локте, она уже сидела в кузове грузовика, изо всех сил прижимая к себе дочь.

Люди в фуражках сразу давали понять, что выселение произойдет в любом случае. Переселяемые оставались для них немцами, виновными по общей крови с врагами, и, если бы понадобилось, они бы стреляли не колеблясь.

Со всех сторон слышались крики и плач.

– Мой сын... Сандар. Он в соседней деревне... Как же я без него... – заходила в мазанке жена Александра Мария.

С ней поступили точно так же: взяли всех четырех оставшихся детей и молча отвели в машину. Мария побежала за ними. А старшая сестра Марта, собирая двух своих детей, младшей было всего два годика, словно абстрагировавшись от происходящего, стараясь говорить спокойно, рассказывала им, что все хорошо, что они

сейчас поедут далеко-далеко, в лучшее место на земле, в новый неведомый край, где их найдет папа, где всегда много солнца, и дети там всегда улыбаются.

Не везде выселение происходило в такие жесткие сроки. В Поволжье на сборы давали сутки, правда, приходили ночью. В Ворошиловоградской области старались выселить за два часа ввиду стремительного приближения фронта. Еще в Поволжье оценивали оставляемое имущество и домашний скот выселяемых, выдавая им на руки квитанции, по которым это имущество могло быть восстановлено льготным кредитом в точке назначения. Во всяком случае, так обещали. А в дома выселяемых одновременно привозили эвакуированных из Москвы и Ленинграда. И новые жильцы тут же, на глазах хозяев, принимались ловить по двору кур, уток: изголодались люди.

Жителям Доброполя никаких квитанций не выдавали. Через час офицер со стриженными усами демонстративно постучал пальцем по стеклу наручных часов. На улице начали заводиться грузовики. «Выходим», – на разные голоса закричали военные. Шестнадцатилетняя Ольга со сжатыми губами быстро помогала маме собираться. Закатки, вчера испеченный хлеб, одеяла, зимняя одежда... Узлы вместе с Каролиной, которая была старше ее на два года, грузили в машину. А младшая сестра Лидия в это время набирала в саду в подол платья упавшие на землю желтые абрикосы. Хотела забрать и их. Маленький Герман нес к машине плетеную клетку с птицей.

– Ты куда клетку прешь? – остановил его один из людей с малиновыми петлицами.

– Щегол там. Больной. Я его выхаживал.

– Щегол-то в чем виноват? – оскалился в улыбке военный. – Отпусти его... Брать только необходимое!

Небольшой, размером с воробья, птенец с черными бусинками глаз, с коричневым оперением на груди пискнул в руках, а когда пальцы разжались, вылетел вверх, но пролетел совсем немного, упав где-то возле сарая. Позже его съедят коты.

Мария продолжала бегать среди военных, упрасывая их захватить за сыном в соседнюю деревню. Падала в ноги, предлагала все деньги, что у нее были. Предлагала золотые сережки. «Это же недалеко, там за полем, за речкой, где ее мама...» Ответ был один – нет. Мелькнула мысль – написать во дворе на стене дома углем, на пыли земли: «Сынок, нас всех забрали, но я тебя найду. Верь». Чтобы он увидел, когда вернется.

Никто даже не знал, куда их везут... Солдаты не говорили.

Наступил момент отъезда. Шарлотта прошла по дому, где открытые комоды и сундуки, а на полу брошенные и уже ненужные вещи, вышла на крыльцо и повесила на дверь замок. Постояла на крыльце секунду. Остальные уже сидели в грузовике. Подумалось, что надо забить окна досками крест-накрест. Пошла было в сарай за досками, но остановилась. Ясно представилось лицо мужа. Вот он входит во двор, седой как лунь, с котомкой за плечами. С удивлением оглядывается по сторонам на пустоту и разруху, на кусты сорняка, на брошенную клетку, на какое-нибудь полуистлевшее полотенце,

выпавшее из узлов, в густой траве. Подходит к двери и точно так же, как она сейчас, трогает рукой поржавевший замок. И окна забиты. Семьи нет. И где кто – неизвестно. Господи, как же они теперь найдутся?..

С какой любовью они когда-то вдвоем строили этот дом. Рожали в нем детей, воспитывали их хорошими, честными, чтущими Бога людьми. Вся жизнь прошла в этом доме, где родной каждый гвоздик, а стены намолены тысячами повторений молитв. Дом – это место притяжения семьи, а тут доски на окнах... Не стала забивать – пусть сосед лазит, ищет, чем бы поживиться...

Эх, Шарлотта... Когда в Доброполье придут немцы, написавший на их семью донос сосед пойдет служить в полицию вместе со своим подросшим сыном. Он не станет лазить по дому, а просто займет его, как более добротный и просторный.

В окрестных селах останется немало евреев, поменявших еще в революцию фамилию, но их выдадут свои же односельчане. В феврале 1943 года каратели-полицаяи получают приказ уничтожить евреев. Людей решат сжечь в бывшей церкви села Лозовое, находящегося неподалеку. Случайно оказавшаяся там в февральское утро разведгруппа спасет людей. И может быть, так будет угодно судьбе, что полиция-соседа застрелит на бегу невысокий разведчик-казах с дерзким лицом и узкими глазами по имени Какар, тем самым вернув ему пулю, пущенную когда-то в вихрастый затылок несчастного парня Николая, безвинного сына семьи Рейзвих.

Но это будет потом...

А пока проходила минута прощания с прошлым.

– Бабка, давай быстрее. Что ты там стоишь? – крикнули от заведенных машин.

И Шарлотта, окинув последним взглядом дом и полные плодов яблони, слыша обостренным слухом, как в хлеву переступает с ноги на ногу корова в ожидании ведра с водой, повернулась и, больше не оглядываясь, пошла к кузову грузовика, подав руки детям, чтобы помогли залезть.

В машинах, когда они приехали в Доброполье, уже находились люди. До этого грузовики побывали в бывшей колонии Миллерово. Когда Ольга садилась в кузов, ей бросилось в глаза лицо одной молодой женщины. Ольге она показалась необыкновенно красивой: большие черные, как ночь, глаза с расширенными зрачками, тугая коса через плечо, светлое ситцевое платье чуть ниже загорелых колен. Молодая женщина неподвижно сидела на каком-то мешке, смотря перед собой стеклянным взглядом. Было такое ощущение, что она сейчас находится где угодно, только не здесь. Ольга оказалась в кузове рядом с ней.

Стоял яркий солнечный день, поля за деревней желтели от спелой пшеницы: самое время сбора урожая, который в этот год выдался на славу. В садах красно и желто от спелых яблонь. Возле дороги росла шелковица, среди пыльной листвы виднелись россыпи черных, бордовых ягод. Машины, поднимая пыль, выехали на окраину деревни. За мостом мелькнули речка и поросшая кустарником возвышенность, где река, делая изгиб, образовывала заводь, в которой меннониты крестили несколько поколений своих детей в белых рубахах.

Вспомнилось, как медленно уплывали по реке цветы...

А затем, когда машины вышли на проселочную дорогу в сторону райцентра, с молодой женщиной, сидящей рядом с Ольгой, что-то произошло. Она словно очнулась. Непонимающе оглянулась, как ребенок, по сторонам. И в следующую секунду прямо на ходу полезла через борт. Сидящие рядом чудом успели ее удержать. А когда женщина поняла, что ей не дадут выбраться из машины, то забилась в угол и начала кричать. Вначале беззвучно, широко открыв рот, словно из-за своей огромности пронзительный крик застрял в горле. Потом в голос, закрывая ладонями лицо. Она кричала и кричала, на одной ноте: «А-а-а-а...», с подбородка капали слезы. В кабине услышали, машина остановилась, в открытый кузов заглянул один из военных, но крикнул водителю: «Все нормально, едем». Еще одна женщина из Миллерово, полная, с кудрявыми волосами, прижала кричащую к себе, как ребенка, успокаивала ее, но та не хотела успокаиваться, рыдала и все повторяла в крик: «Фрида, Фрида...»

В какой-то момент сидящая возле борта Ольга за поднятой пылью увидела бегущую за грузовиком собаку. Это был их пес по прозвищу Kumpul (рус. Дружок). Лохматая, палевого окраса дворняга пыталась догнать машину. Небольшой по размеру собаке не хватало длины лап, но она старалась изо всех сил: бежала, в какие-то моменты ложилась на землю, пытаясь отдышаться, но машины удалялись, и она, повизгивая, снова бросалась в бег.

Грузовики с людьми уже ехали по широкой дороге, значительно увеличив скорость, ветер трепал волосы, половина женщин плакала, а собака все бежала, задыхаясь, стирая лапы в кровь, теряясь за поворотами и снова догоняя. Верный пес пробежал все семнадцать километров до станции, нашел своих, стоящих в одной из кучек возле товарного вагона, подбежал к Шарлотте, два раза лизнул ей руки и, тихо повизгивая, высунув до предела красный язык, лег у ее ног. Он сжег свой организм.

Когда началась погрузка, Дружок уже не шевелился. Ольга и младшая Лидия со слезами на глазах, пока их не позвали в вагон, сидели на корточках возле умершего пса. Он лежал, приоткрыв клыки, на его лапах темнела подсохшая, смешанная с пылью кровь, бока опали. Благодарный и верный дворовый пес, решивший разделить свою судьбу с теми, кого любил. Это была первая смерть.

Возле вагона темнела толпа. Около пятидесяти человек из Доброполя, Миллерово, Лозового, Отрадного. Мужчин практически не было, одни женщины и дети. И старики. Одну бабушку привезли прямо на матрасе, укрытую одеялом. Положили возле вагона: бабушка улыбалась каждому беззубым ртом.

– Что, старая, нарожала за свой век немцев? Теперь поедешь в землю, где молоко и мед, – остановился возле нее один из военных с кубиками в петлицах.

Бабушка и ему улыбнулась. Ее выцветшие глаза собрались в морщинки, вряд ли она понимала, что происходит. Плакала Мария. У несчастной матери, наверное,

еще оставалась какая-то надежда, что колонна заедет в соседнее село за ее старшим сыном Александром. Но теперь этой надежды не осталось, прямо перед ней стоял вагон с открытыми дверьми, и постепенно приходило осознание, что сына она потеряла, он остается в безвестности, и что это не сон. Ее остальные четверо детей испуганно молчали.

С тех пор, начиная с этих самых минут в трясущемся кузове, Мария будет жить болезненными мыслями об оставленном сыне. Скоро сюда придут гитлеровские войска, Александра как немецкого ребенка увезут в Германию – она узнает об этом, только когда Красная армия возьмет Ровеньки обратно.

Всю оставшуюся жизнь она будет жить мечтами встречи с сыном, которому в ее памяти навсегда останется одиннадцать лет. Но ни родители, ни братья с сестрами, жившие при железном занавесе в Советском Союзе, ни их свободные потомки, переселившиеся обратно в Германию, – никто никогда его так и не увидит.

Великий ветер, предсказанный давно умершим Счастливым, разметет семьи, раскидает матерей и детей, отцов и жен, унося за собой целый народ. По данным переписи 1939 года, в Советском Союзе насчитывалось около полутора миллионов этнических немцев, которые тогда радовались, что записываются именно немцами, сохраняя свою идентичность. Полмиллиона из них окажутся в Казахстане, разлученные со своими близкими и родными.

– Занимаем вагон. Начинается погрузка! – кричали энкавэдэшники. Паровоз стравливал пар. Этот вагон так и поедет один, постоянно останавливаясь в тупиках, пропуская бесконечные воинские эшелоны, пока на полустанке под Новошахтинском к нему не прицепят вагоны с немцами из Крыма, вагоны с немцами из Таганрога и пока не получится целый поезд. Начальник состава будет каждый день выходить на связь, докладывая о местонахождении поезда напрямую отделу по спецпоселенцам НКВД СССР.

История повторялась. Снова в неведомый край... Только вместо возов с многочисленными детьми теперь были товарные вагоны, вместо скота за повозками – бумажки квитанций о том, что этот скот у них был. Узлы, подушки, простыни, сапоги... Ничего не поменялось. Только если раньше меннониты по собственному выбору бежали от гонений, теперь гнали их.

Подсолнечная, благодатная, цветная Украина исчезла в прошлом, впереди их ждали места, обозначенные на карте пустотами. В очередной раз Великую Степь решили покорить людьми, которых не жалко. За тысячами километров их ждала Степь, где теряются понятия расстояний, где снег вровень с крышами домов, а летом в солнечном мареве – миражи, где женщины привязывают к люлькам новорожденных детей когти и перья филина от дурного сглаза, а в каждую юрту приглашают новых соседей, чтобы приготовить им угощение из творога, меда и казы, где древние аксакалы до сих пор разговаривают со Степью и с ветром, потому что они живые и слушают. Если захотят...

Закрытый и опломбированный с внешней стороны вагон в простонародье назывался «телячьим». Предназначался для перевозки скота или грузов. Внутри нар не было, соломы тоже. Обычный старый деревянный вагон с вентиляционными окошками под крышей. Полумрак с лучиками света из многих щелей, в которых летала пыль. Кто-то из переселенцев приспособил под потолком взятую из дома керосиновую лампу, и в том углу вагона покачивалось в такт хода желтое пятно огонька, отбрасывая тени на деревянные стены. Отныне и на долгое время вагон стал домом для пятидесяти с лишним человек.

Двери открывали раз в сутки при остановке для выноса ведер и обязательной проверки – пересчета по головам. Когда дверь со скрипом отъезжала в сторону, в вагон врвался дневной свет, от которого люди жмурились и прикрывались ладонями. Когда шел дождь, капало из всех щелей, доски на полу становились мокрыми, из приоткрытых окон брызгало на ходу. Но эшелон больше стоял, чем ехал. На остановках дети лезли к окнам, выставляли руки: просто так, чтобы кожей почувствовать солнечный свет, ветер или морось дождя. Где-нибудь в поле этого никто не запрещал, а на станциях возле вагонов ходили часовые, хрустя гравием под сапогами. Покрикивали: «Уберите руки. Не совывайтесь!»

На одной из маленьких станций, где-то под Ростовом, дети в окно видели, как к часовому подошел какой-то подвыпивший усатый мужчина в замызганной

кепке. Увидев в окошко детские лица, мужчина спросил у часового:

– Кого везете?

Обычно солдаты отгоняли любопытных, многие при виде часового с винтовкой на плече сами старались отойти подальше, а тут караульный почему-то решил ответить пьяному.

– Немцев, – сказал он.

– А, фашисты... Так им и надо, – подвыпивший мужик поднял глаза на лица детей в окне. – Че смотрите, гады?

Была и другая реакция. На той же станции на перроне сидела пожилая женщина, продававшая квашеную капусту. Увидев высунутые руки детей, она поднялась и размашисто перекрестила вагон, желая, чтобы неизвестных ей людей пожалел и защитил Господь. Но обычно эшелон оставался незамеченным для людей: стоял где-нибудь на запасных путях, а еще чаще – в донской степи, где балки и косогоры желтые от высохшего за лето ковыля.

Для детей главной задачей за день оставалось набрать воды. Когда двери открывались, рядом обычно уже был протянут пожарный шланг. Надо было успеть поднести ведра. Струя воды под напором, пенясь и вырывая из рук ведро, брызгала и обливала. Все становилось мокрыми, но это было весело, мастерством считалось держать ведро под правильным углом, чтобы наполнить его больше, чем наполовину. Затем двери закрывались, оставляя дневной свет за досками.

Семья Рейзвих: Шарлотта, Марта с двумя маленькими детьми, восемнадцатилетняя Каролина, превратившаяся в красивую девушку, Ольга, Лидия и десятилетний Герман – занимала место под окном в конце вагона. С ними вместе расположились жена Александра с четырьмя детьми и жена Якова с грудным младенцем. Из вещей сделали на полу общую постель. Развешивали на веревках простыни, чтобы появилась хоть какая-то иллюзия личного пространства. Ели взятые из дома закатки, остатки высохшего хлеба: готовить было не на чем. Все ходили в одно ведро, которое выливали на остановках. Рядом с ними расположились другие семьи, возле Ольги лежала бабушка на одеяле. По ночам она громко стонала. Плакали грудные дети.

Первые дни по вечерам пели. Эшелон стоял где-нибудь в поле в полной темноте, виднелись лишь сигнальные огни на паровозе, давали отсвет окна теплушки, где ехали конвойные, да светилось сентябрьское небо пылью звезд Млечного Пути. Вдоль полотна ходил часовой, а из вагонов доносилось хоровое женское пение на немецком языке. Старинные псалмы, которые, сидя в телегах, пели еще прапрабабушки меннонитов, отправляясь в странствия. За стенкой было слышно, как часовой переставал ходить – стоял, вслушивался. Пели и на русском – за двести лет русская земля соединилась с плотью.

– Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной... – тихо и стройно звучало из окон.

Плыла ночь. Потом паровоз оживал, на рельсы вываливался красный пласт угля. Состав дергался

и, медленно наваливаясь на рельсы, трогался, постепенно убыстрял ход, мотая последний вагон на стрелках. Никто не знал, куда везут. В вагоне находился один мужчина, лет пятидесяти, с пышными, еще не седыми усами, крепкий телом, одетый в помятый городской костюм. Удивительно, но до недавнего времени он являлся членом коммунистической партии, работал в редакции малотиражной газеты, предназначенной именно для немецкого населения Ворошиловоградской области. Мужчина тоже попал в списки, и никто не стал разбираться, что он еще с революции приветствовал советскую власть и агитировал за нее по общинам. Его звали Анхель Альбертович. Он говорил, что их везут в Вологодскую область. И действительно, какое-то время эшелон следовал на север, но затем повернул на восток.

В вентиляционных окошках потянулись приволжские равнины. Где-то под Сталинградом сменился конвой. Эшелон долго стоял, хлопали двери вагонов. По всему было видно, что вдоль эшелона ходит большая группа людей. В какой-то момент двери на роликах отошли в сторону, в вагон вторгся яркий дневной свет. Ольга зажмурилась.

- Что, опять по спискам? – раздались в свете голоса.
- Только по спискам!
- Так время же, лейтенант... Вдруг зеленый свет дают. Мы по головам принимали...

В вагон зашло несколько человек. Один из них – молодой, белобрысый, в новенькой гимнастерке с кубиками в петлицах, перетянутый портупеей, весь хру-

стящий, с блеском на хромовых сапогах. Второй рядом с ним, тоже лейтенант, но какой-то несвежий и помятый, с картонной папкой в руках. Они на повышенных тонах продолжали разговор, начатый где-то в предыдущем вагоне.

– Именно по головам и не сходится, – чеканя слова и одновременно оглядывая людей в вагоне, говорил белобрысый.

– Ну, на одного больше. Не меньше же... – второй лейтенант был явно расстроен. – Что теперь, все списки по инстанциям заново утверждать? А так я рапорт напишу, и все...

Как потом оказалось, в соседнем вагоне два дня назад родилась девочка. Молодую беременную женщину забрали из общины под Таганрогом – муж в Трудовой армии. Посадили с огромным животом в машину, а потом закрыли в вагоне. Родственников у женщины не оказалось; видно, что жили с мужем бедно: ей даже переодеться не во что было, она так и осталась в единственном платье, испачканном засохшими пятнами крови. Теперь у конвоя не сходилось количество этапирруемых. Их стало на одного человека больше, а это означало лишнюю писанину. Не ребенок родился – спецпереселенец, который обязан быть зарегистрированным и пройти по всем учетам. А у него даже имени еще не было.

– Одна дура родит, а хлопот – этап не сдашь. Потери легче списывать, – бурчал, стоя за офицерами, пожилой краснолицый старшина с густыми, как кусты, бровями.

– Не пытайтесь на нас свалить свою работу. Прибавление произошло на вашем участке ответственности, – не сдавался принимающий лейтенант. Он повысил голос, обращаясь уже к людям в вагоне: – Внимание, граждане переселенцы! Вы переходите в распоряжение конвойной службы 17-й дивизии НКВД. Сейчас пройдет приемка по спискам. Кто слышит свою фамилию, громко и четко отвечает: «Я». После переклички можете озвучить жалобы. Только коротко...

Жалобы имелись. При общем молчании их высказал Анхель Альбертович. Бывший редактор, поправив воротник грязной рубашки и переступив через чьи-то ноги, шагнул к лейтенанту.

– Надо с едой что-то решать, товарищ начальник конвоя, – он заметно волновался. – У людей заканчиваются взятые из дома продукты. Еще болеют многие. Тут кругом сквозняки. Люди кашляют... Вот бабушка – совсем ей плохо. Стонет. И грудные дети... Может, можно было бы врача в вагон? Чтобы порошки какие-нибудь дал?

– Вы старший вагона? – перебил Анхеля Альбертовича лейтенант.

– Нет, я просто... сам... от лица всех...

– Почему старшие не назначены? – лейтенант повернулся к прежнему начальнику конвоя. Его чуть вытянутое молодое лицо излучало власть. – Старшина, назначить по вагонам ответственных. От них ежедневный доклад во время проверки. Если в вагоне ЧП – наказываем старшего. По поводу ваших вопросов... – началь-

ник с прищуром посмотрел на Анхеля Альбертовича. – Во-первых, я фашистам не товарищ. Во-вторых, врачи, питание, солнечные ванны – все в Кустанае. Уяснили?

Так все узнали, что эшелон направляется в Кустанай. После ухода начальства по вагону зашелестело: «Где это? Далеко это?»

– В Казахстане, – упавшим голосом ответил Анхель Альбертович.

Ему было тяжело. И не столько от того, что поезд направляется так далеко, а от того, что советские люди перестали считать его своим. И никому из них дела не было, что он еще вчера был один из них, вместе со всеми строил новую страну, какой еще не было на свете, веря с ними в одни идеалы, мечтая одними мечтами. Но кто-то поставил его фамилию в списки, и он словно стал невидимкой для бывших знакомых, а для незнакомых – врагом. Сейчас он думал о том, с какой легкостью одним словом можно изменить судьбу человека, и не одного – многих тысяч людей.

В соседнем вагоне в лучах света из щелей на полу сидела женщина в испачканном кровью платье, пытаясь накормить грудью новорожденную девочку. Новорожденная, прикрыв глаза, блаженно высасывала молоко. Она еще не знала, что с рождения занесена в списки страданий. Сейчас у нее была мама: высшее существо, всемогущая, как Господь. Достаточно было только заплакать, чтобы она пришла на помощь, прижала к себе, забирая своей любовью первые страхи и первую боль. Она не видела, что у мамы несчастные глаза, не знала, что у них из вещей одна сумка и там уже не осталось

продуктов, что уже осень, а у мамы и у нее совсем нет теплых вещей – в растерянности мама при сборах кидала в сумку совсем не то, что нужно. И что их везут туда, где на голом льду гибнет скот и где нет ни одного родного человека под чужим небом.

Ничего этого новорожденная не понимала. Она с мамой – ей этого было сейчас достаточно. Так и заснула с капелькой молока на приоткрытых губах.

Тем, кто верил в Бога, было легче, они знали награду, этот мир оставался для них лишь последовательной иллюзией, испытанием, но Анхель Альбертович давно свою веру потерял.

– Если я пойду и долиной смертной тени... – вслух пробормотал он с детства слышимые и казавшиеся ему пустыми слова и, переступая через людей, вернулся в свой угол. Надел пальто, которое клал под голову, поднял воротник и улегся на пол, отвернувшись от всех к стене.

В тот день пошел дождь. Барабания по крыше на стоянках, он лил и лил, словно небо оплакивало людей. Но это просто их догнала осень. Вся одежда стала сырая, при дыхании шел пар, из щелей при движении брызгало. Не давая заснуть, ночью постоянно кто-нибудь мучительно кашлял. В один из дней дети полезли к окну – а там все белое от снега. Черные перелески и побелевшие пахотные поля. А затем снова пошел дождь, холодный и злой. Псалмы уже не пели, люди ночью прижимались друг к другу. На одной из проверок попросили у начальника буржуйку, но он лишь бросил: «Не предусмотрено». А когда проехали угрюмые отро-

ги Уральских гор, дожди все чаще сменялись мокрым снегом.

Грудной ребенок Марии, жены Якова, начал умирать, когда проехали Оренбург. Последние дни он почти не прикладывался к груди, брал и безвольно отпускал сосок, отворачивая голову в сторону. Что-то заложило в груди, мешало дышать, его дыхание стало частым и коротким. Он стал вялым, мог часами лежать на руках, не произнося ни звука, смотря на маму блестящими глазами. Близкое лицо мамы, ее кричащие глаза, дорожки от слез на щеках, пар от ее дыхания на какое-то время притягивали его взгляд, а потом он отворачивался. Не помогала даже ярко-красная жестяная погремушка, которую Мария все-таки нашла при сборах.

С рвущимся сердцем Шарлотта старалась помочь невестке, они сцеживали молоко в ложку и вливали ребенку в рот, но молоко вытекало обратно.

Был день, проглянуло солнце. За вагоном белели пространства в снегу. Паровоз на всех парах шел на юго-восток, двери вагонов оставались закрыты и опломбированы. Не постучишься в дверь, не крикнешь в окно: «Стойте, у нас умирает ребенок», потому что кричать некому – только встречному ветру. А ребенок смотрел, переводя взгляд, то на дневной свет из окна, наверное, зная своей вечной душой, что невидимое за облаками солнце сегодня умрет вместе с ним, то на склоненные к нему меняющиеся лица. Какая-то

гадость забила бронхи, билось маленькое, как у птички, сердце, заходясь от недостатка кислорода. Чаще к нему склонялось лицо бабушки, потому что мама сидела в углу возле стены и до крови кусала себе руку, чтобы не закричать.

Стучали колеса, мир вокруг пошатывался, лампа в другом конце вагона от качки быстро сменяла на стене свет и тени. Кто-то плакал рядом; мама, перестав кусать руку, сидела, закрыв ладонями лицо, и раскачивалась из стороны в сторону. В какой-то момент дышать стало совсем нечем, а в вагоне оказалось почему-то сразу две мамы: одна растрепанная сидела у стены, а другая – точно такая же, но улыбающаяся, залитая светом – звала его за собой. И он медленно пошел к ней, телом оставшись в руках Шарлотты.

На остановке вечером при проверке Шарлотта с мертвым младенцем на руках подошла к открытой двери. Сказала – просто и строго:

– У нас умер ребенок. Его надо похоронить. Пустите меня с его матерью, пока поезд стоит, мы выкопаем могилу.

На этот раз молодой, перетянутый португеей лейтенант не упивался своей властью, был более человечен, но выйти из вагона запретил.

– Давайте сюда тело – мы передадим на станции соответствующим службам, – ответил он, стараясь не встречаться с пожилой женщиной взглядом.

– Позвольте нам поухаживать за ним... Мы быстро. Выкопаем могилу и похороним его, как подобает. Пря-

мо возле полотна... – просила Шарлотта. – Мы хотя бы будем знать, где он похоронен. Пожалуйста. Умоляем вас... Мы верующие люди, нам это очень надо... Мы же в Степи, и поезд стоит... У меня золотое кольцо есть. Обручальное. И немного денег. Я все вам отдам...

Для Шарлотты осталось совершенно непонятным, почему лейтенант не хотел уважить людей в их горе, позволить матери по-человечески похоронить своего единственного ребенка. Ведь это он принимал решение. Степь кругом. Куда сбегут две женщины, возле которых стоит часовой? Почему он не дал двум несчастным женщинам насыпать холмик над могилой и прочитать молитвы, не для младенца – для них! Это же просто – поступить по-Божьему, и тебе зачтется, может быть, через годы или после смерти, оказавшись поступком, за который не стыдно.

Но лейтенант отказал.

Мария с жадным больным вниманием вслушивалась в разговор начальника и Шарлотты. Когда Шарлотта предложила ему обручальное кольцо, тоже начала лихорадочно срывать свое кольцо с пальца – может, ему одного мало? Но двери закрылись, похоронить ребенка не дали. Его забрали только ночью на станции, когда к вагону подтащили пожарный шланг для ведер. А вместе с ним забрали и бабушку, которая лежала на матрасе рядом с Ольгой, никто и не заметил, как она умерла: просто затихла, перестала стонать, ее мышцы лица расслабились, подбородок опустился вниз, обнажив полустертые зубы, и казалось, после смерти бабушка улыбалась этому миру какой-то злой и торжествующей улыбкой.

– В первом вагоне тоже ребенок... День сегодня какой-то – дети мрут... – слышались переговоры солдат, пока они стаскивали на пустой темный перрон тело бабушки. Марию отливали водой. Это был их долгожданный ребенок. Девочка! Семь лет они прожили с Яковом, но Господь не посылал детей.

Перед рассветом она впала в забытье и сразу проснулась – показалось, что плачет ребенок. Протянула руку, где он обычно лежал, не нашла его и медленно села на полу. Кругом было тихо, вагон спал, стучали колеса на стрелках. В ушах продолжал стоять приглушенный плач. Оставаясь в тумане забытья, она, переступая через спящих, искала своего ребенка по всему вагону. А потом реальность вернулась, и она вспомнила все. И ужас потери первенца вернулся. Жизнь на этой земле потеряла смысл – мужа увезли в неизвестность, дочь-младенец обрела вечность на небесах. Она осталась одна. Навсегда.

Поезд уходил все дальше на восток, в звездном небе стало на двух ангелов больше, а Мария строго и без эмоций думала о том, что этот поезд когда-нибудь да прибьет к месту назначения, их выпустят из вагонов, и тогда она сразу найдет ближайшую реку и утопится в проруби.

Прямо так и представлялся серый туман, скованная льдом река, полное безмолвие и прорубь с темной водой забытья. Она оставалась христианкой, верила в Господа: знала, что убивать себя нельзя, но сама мысль о том, что ей придется жить дальше, стала для нее невыносимой. Философы исписали многие тома умных книг о смысле человеческой жизни. Но любая мать, у которой маленькие дети, рассказала бы об этом смыс-

ле короче и правильнее любого из них. Теперь у Марии этого смысла не было.

Сейчас бы она не восприняла простую истину – время не вылечит, но оно снимет невыносимую остроту потери. Умершие будут ждать нас на небе, душа сохранит в себе неистраченную любовь и все равно будет встреча – они к нам не вернуться, но мы к ним придем обязательно.

А пока надо терпеть. Пережить один день, за ним следующий...

Через несколько дней от дизентерии умер двухлетний ребенок Марты. Последние сутки девочка очень страдала, вздулся живот, началась лихорадка, она постоянно плакала, а потом только молча водила глазами. Марта ничем не могла помочь своей умирающей дочери. Тело забрали из вагона через сутки на очередной стоянке. Ее старший сын, четырехлетний Эдуард, бледный, с растрепанными светлыми волосами, старался спрятаться за взрослыми, чтобы не видеть лицо лежащей на одеяле сестры. Все взрослые как могли старались поддерживать убитую горем мать. У Ольги всплыло в памяти, как Марта собирала детей при отъезде: как рассказывала им, что они поедут в чудесную, волшебную страну, и от этого еще больше хотелось плакать.

А потерявшая своего ребенка Мария, жена Якова, отстраненно думала, что у Марты в горе осталось утешение – старший сын, а ее пустоту ничем не наполнишь. В сознании постоянно крутилась картинка: лицо

мужа, он смотрит на нее с немим вопросом: «Как же ты не смога сберечь наше единственное дитя?». И она не знает, что сказать в свое оправдание.

Пройдет полгода, и Марию как бездетную заберут в Трудармию, в Свердловскую область на лесозаготовки. Там внезапно наехавшей сзади вагонеткой с бревнами ей раздробит таз. Она выживет, но детей у нее больше никогда не будет. Через годы из Трудовой армии вернется ее муж, потерявший на севере глаз, они найдут друг друга и до самой старости будут вместе, никогда не возвращаясь в разговорах к потерянному младенцу, которого забрали на безымянной станции люди в шинелях. Но в своих ежедневных молитвах каждый про себя молился за своего безгрешного ангелочка, ложась в постель после дневной суеты, мысленно разговаривали с родной девочкой.

Но это будет потом, а пока людям в эшелоне казалось, что их просто везут умирать, зачем-то выбрав для общего захоронения такой далекий и пустынный край.

– Это решение партии. Довольно логичное, если учесть, что страна ведет войну, – на следующий день негромко говорил Анхель Альбертович Ольге в полумраке вагона. – В Казахстане много пустующей земли, а история показывает, что немцы способны поднять сельское хозяйство там, где это не удавалось местным. Поэтому, с точки зрения экономики, высылка немцев в этот край вполне разумна. Не вкладывая много денег, переселить народ и посмотреть, что получится. А вдруг зацепятся? Казахстан пытались заселить много раз, но Степь так и осталась дикой, какой была всегда. Что касается условий, самой формы переселения... Советская

власть – это доминирование коллективных интересов перед личными. С личным никто не считается. Государство важней. Лес рубят – летят щепки...

Неизвестно, почему бывший редактор завел разговор с шестнадцатилетней девушкой. Наверное, потому что ему очень хотелось высказаться, а Ольга сидела рядом. Он говорил не для нее, для себя. И утешал тоже больше себя.

– Сейчас война, большая беда, нас куда-то везут... – вздохнув, продолжал он. – Но вы молоды. У вас впереди свои маленькие радости... Свое маленькое счастье, которому есть место, даже когда кругом все рушится. Сейчас нам кажется, что нас везут куда-то во тьму, на верную смерть, но поверьте, даже во тьме можно найти свет. Особенно для молодости...

Ольга молчала. А Анхелю Альбертовичу просто хотелось, чтобы в вагоне зазвучали слова утешения, пусть даже сказанные им самим. В застегнутом на все пуговицы пальто, заросший щетиной, с синеватыми прожилками под глазами, он говорил и говорил о молодости, о будущем маленьком личном счастье, о любви, которая есть везде, где присутствует хоть какая-то жизнь. Хороший он был человек. Ольга не понимала и половины того, что он ей говорил, но сам его тон внушал, что все можно перетерпеть, если в сердце остался источник терпения – вера. Казалось, что бывший редактор лихорадочно ищет в себе то, что когда-то потерял, променял на лозунги свободы.

И Ольге подумалось, что в конце пути он сам запоет псалом: «Если я пойду и долиной смертной тени...», причем по удивительной метаморфозе будет петь его уже один.

Вставал красный диск солнца.

Почти через два месяца пути на рассвете темную толпу из эшелона выгрузили на маленькой станции с глинобитными домами. На здании висела табличка «Станция Джаркуль».

С принимающей стороной, как обычно, вышли какие-то накладки. Прискакал на лошади узкоглазый смуглый казах в меховой шапке и о чем-то долго разговаривал на повышенных тонах с начальником эшелона. В результате ждать подвод пришлось долго. Эшелон не уезжал, вагоны стояли с открытыми дверьми, но обратно в поезд людей начальник уже не пустил. Молодой лейтенант все делал, не отступая от инструкции, хотя в его власти было сделать доброе дело в копилку перед Богом.

Два месяца назад в вагон садились загорелые люди в легких платьях и рубашках. Сейчас у путей чернела толпа людей, больше похожих на тени, с бледными, изможденными лицами, закутанных в сырую одежду.

Красное солнце поднималось все выше. Белая от изморози Степь лежала в тумане. Непроизвольно сбившись в плотную толпу, люди рассматривали часть Вселенной, куда их забросила судьба, где им отныне определили жить и умирать. Далеко на севере лежали равнины Западной Сибири, на западе возникало невидимое отсюда волнистое плато, а далеко на юге начинались отроги безжизненных гор Сары-Арки. Там же простиралась голодная Степь Тургая. Подходил к концу октябрь 1941 года. На западе шла битва за Москву,

первые удары там сейчас принимали на себя дивизии из Средней Азии, и дрался в болотах врукопашную сирота Какар, крича в голос по-русски и по-казахски, сцепившись с немцем, стараясь добраться до его горла первым.

Одним из мазков картины большой беды страны оказались закутанные в платки женщины, старики и дети, сидящие сейчас на мерзлой земле бескрайней Степи на виду села с понятным именем Федоровка, у маленького здания станции с пугающим названием Джаркуль.

Шарлотта смотрела на восходящее солнце. В какой-то момент полосы тумана в Степи окрасились в красноватый оттенок. Хотелось плакать от потерь. У нее было такое ощущение, что судьба играет с ней, как дети в траве играют с жуком, гоняя его палочкой, пока не надоест. Она же не железная... Господи, она иногда раньше по всяким житейским неурядицам думала, что они живут не очень хорошо. Да они просто купались в счастье, сами того не понимая. Машинально она взяла в руку комок мерзлой земли. Растерла ее в глинистый порошок, посмотрела на ладони. Всю свою историю меннониты жили сродненные с землей, и отныне эта земля – их.

Подумалось: отдай ей любовь и труд, положи в нее с терпением желтое, кажущееся мертвым зернышко, – и скоро на поверхности покажется нежный росток, который даст жизнь двадцати другим жизням.

Тогда, в свете восходящего над Степью солнца, она поняла и приняла с новой силой, как истинная меннонитка: испытания, посланные ее семье, ее детям и любимому мужу, всем, подвергшимся гонениям, они

сообща перенесут. Вера, смирение, характер, труд помогут – они выживут, выдержат: так уже было в веках. Будут копать землянки, обустраивать быт в их традициях, засеивать эту землю рассадой – пусть зеленеют ростки, укрепляются корни.

И когда муж и сыновья вернутся, они найдут здесь не могилки, а свою семью и свой новый дом, где их не переставали ни на секунду ждать и любить.



Глава 6

1

Село Березовка, Казахстан, 1942–1943 годы

В Степи властвует ветер. Весной теплые воздушные массы приходят с юга, из пустынь, оттого весна в этих краях прекрасна, но скоротечна. В июне и июле стоит зной, по Степи проносятся пыльные столбы смерчей. В августе начинают дуть суховеи. В зимний период сильные и продолжительные ветра сдувают снег с возвышенных частей рельефа и сносят его в балки, к лесным рощам, к селениям людей, заметая дома под крышу. Глубокой осенью ветра несут пронизывающий холод. Серое небо, шуршащий под ветром сухой ковыль, полосы наметенного снега в низинах, безрадостная картина до горизонта, от которой хочется обратно к полотну железной дороги.

Если ехать от станции Джаркуль на запряженной лошаадьми или волами повозке целый день, держа направление строго на юг, то после озера Кумдыколь проедешь хозяйствующий аул Коржунколь с населением около двухсот душ, а затем попадешь в Березовку. Нищее село, затерянное в Степи. На въезде по обеим сторонам растут березовые рощи, образуя полукруг и немного защищая деревню от зимних снежных буранов, а летом в жару даруя путнику спасение в тени берез и лесной прохладе. Около полусотни дворов по сторонам трех основных улиц.

В Березовке жили казахи, русские и украинские переселенцы, переехавшие еще в начале века. Несколь-

ко семей поляков из Западной Белоруссии, сосланных сюда в 1939 году. В том же году в Казахстан переселили и корейцев с Дальнего Востока, опасаясь, что они будут шпионить в пользу Японии. Одна корейская семья жила у пресного озера Мынбай (рус. Обильное) поодаль от Березовки. В пойме водоема земля плодородная, там трудолюбивые корейцы выращивали капусту, морковь, свеклу и лук.

Дальше на юге простиралась безлюдная Тургайская столовая страна, как ее называли геологи. Хорошо, что не завезли туда, оттуда не вернулось бы ни одного человека. По сравнению с Тургаем, летом здесь полно жизни – много непересыхающих озер, где плавали и нерестились караси. По Степи то тут, то там раскиданы березовые рощи – в рощах земляника, костяника, дикий шиповник, из соцветий которого получается вкуснейшее варенье. Вокруг озер камыш. Совсем рядом с селом находилось озерко Коктерек, мелкое, илистое, летом там можно было помыться, искупаться. Но глубокой осенью панорама вокруг вызывала тоску. Ветер, пустынные пространства, голые рощи, изморозь на сухой траве. Глинобитные домики в Степи. В Березовку привезли человек шестьдесят. Это и была земля, где течет молоко и мед, которую при посадке в эшелон на Украине цинично обещал поселенцам офицер НКВД.

– Вот здесь будете жить, – произнес рослый мрачный мужчина от принимающей стороны, когда повозки остановились на пустом хозяйственном дворе. За загоном находились несколько заброшенных кошар с крышами из слежавшегося сухого камыша и птичник с глиняными полуосыпавшимися стенами. На земле

валялось ржавое колесо от телеги. Двери птичника свисали на нижней петле.

– Обживетесь, уполномоченный товарищ Шандецкий будет решать с вашей работой, – хмуро произнес мужчина. – Уходить отсюда нельзя, за оставление места жительства отправят в лагерь. Отмечаться будете раз в неделю в комендатуре. Выгружайте вещи.

Насчет лагеря мужчина говорил правду. Раньше спецпоселенцами занимался соответствующий отдел при ГУЛАГе, но перед массовым переселением немцев этот отдел переподчинили непосредственно могущественному наркому НКВД Лаврентию Берии. Функции отдела определялись как «разработки вопросов специального переселения, обеспечение мероприятий по перевозкам переселяемых и наблюдению за их устройством в местах расселения». По факту – забрали, довели, расселили. Остальное НКВД не интересовало. Работа, жилье, продукты, отопление в мороз, лекарства детям – это все должны были решать хозяйства на местах, но они и сами не знали, как выжить. НКВД волновало только, чтобы спецпоселенцы находились на указанных местах. За оставление места без разрешения спецкомендатуры – двадцать лет лагерей. Не представлялось, как можно жить в заброшенном птичнике с маленькими детьми. Печки не было, одни осыпавшиеся стены и насесты с пластами засохшего куриного помета. Шарлотта с красными кругами под глазами от ветра, молча начала разгружать вещи. Когда они приехали в Березовку, уже наступил вечер, скоро должно было стать совсем темно. Подмораживало.

Первым делом женщины повесили под потолок керосиновую лампу, собирали обломки дров для костра. Чистили от помета доски настила, чтобы можно было сделать постель детям. Затыкали тряпками щели. Еды практически не осталось, в кастрюле на костре кипятили пустую воду, чтобы обмануть желудок. Домашние запасы в эшелоне растягивали как могли, последней закончилась мука: в эшелоне делали болтанку, смешивая ее с водой, поили этой смесью детей, отчего у них резало животы. Надеялись, что по приезду им выдадут какое-то довольствие, но про это никто не заикнулся.

Было ощущение, что их просто привезли и выгрузили здесь, а дальше – как знаете... Тот мужчина, первый человек из местных, которого они видели, их откровенно ненавидел. Для него они оставались фашистами. Как началась война, многие к ним так относились. Тем дороже было проявление сострадания. Когда умер ребенок Марты и его тело передавали конвоем на остановке, один из молодых солдат посмотрел на опухшее от плача лицо матери, потом перевел взгляд на женщин и детей, безмолвно столпившихся возле дверей вагона, отвернулся и быстрым движением вытер набежавшие слезы. И для людей в вагоне его слезы были ценнее серебра.

Между тем над Степью разгорелся красный закат. Солнце уходило на запад: светить там, откуда они приехали. На ночь заметно упала температура, село лежало в морозном тумане. От дыхания шел пар. Если бы принимающий сказал: «Скоро вам начнут выдавать хлеб», что и произошло впоследствии, то можно было бы засыпать в ожидании этого хлеба. Представлять себе пшеничный кусок, ощущать его аромат, поджаренную

корочку, мякоть. Многое можно стерпеть и голодных детей уговорить не плакать, если есть чего ждать. Но он ничего не сказал, кроме «обживайтесь».

Когда погасили лампу, а костер у входа в птичник потух, когда улеглись на доски, тесно прижавшись друг к другу, закрывшись вещами с головой, чтобы согреться дыханием, было слышно, как Марта что-то тихонько напевает своему четырехлетнему сыну.

Ночью Шарлотта вышла на улицу. Не могла заснуть. Кругом царила тьма, ни огонька, села словно не существовало. В морозном небе горели звезды.

– Господь... – одними губами произнесла женщина, выбрав взглядом звезду, мерцающую в вышине синеватым ледяным светом. – Дай мне силы. Даруй милость Твою сохранить семью. Даруй защиту Твою...

Она не помнила сколько времени простояла одна под звездами. Просила возможности накормить детей, выжить в этом краю, дожидаться мужчин, мужа, и тогда выдохнуть спокойно. А под конец молитвы произнесла одной из звезд:

– Муж мой...

Ей казалось, что ее слова поднимутся к небу, отражатся от него и вернуться на землю, найдя того, к кому она обращалась. Может, ее муж сейчас тоже смотрит на эту звезду, может, он спит в бараке, ворочаясь на нарах, и слова жены войдут в его сон, в каких-то образах показывая, как он ей необходим, как она устала быть одна и как она его любит.

Вокруг простиралась невидимая во тьме Степь. Сколько эта Степь видела вот таких переселенцев, приехавших покорять ее. Вытягивала из них силы без остатка и в конце забирала в себя, превращая их в травы и цветы, не ведая к ним ни жалости, ни гнева.

2

Ранним утром на хоздвор пришли несколько казахов. Желтоватые лица, узкие, как щелки, глаза. Одеты в старые полушубки и подбитые мехом шапки. Пришли, чтобы пригласить приехавших в гости. Депортированные не знали, но еще вчера аксакалы обошли все казахские семьи, войдя в каждый дом. Они сказали:

– Надо принять ссыльных. Всем, что у казахов есть, – пусть поделятся. Есть хлеб – поделитесь поровну, есть горячий чай – угостите. Если есть лишняя теплая одежда – отдайте, согрейте людей. – Аксакалы говорили: – Скоро у них появится и хлеб, и молоко, и одежда: они заработают, но пока этого нет, вы должны принять их и поделиться с ними по нашим вековым обычаям.

В Казахстане издревле существует традиция – «Ерулик»: приглашать в юрту новых соседей. Готовить особое угощение для пожилых, нуждающихся в уходе людей и странников, сбившихся с пути. В тридцатых годах здесь косой прошел Великий голодомор, многие умерли, а те, кто выжил, хорошо знали, что такое голодная зимняя Степь. Простые и искренние наследники пастуха Авеля, сами по сути нищие благодаря новой власти, они пришли делиться последним по закону гостеприимства.

Пройдет время, и местные точно так же будут принимать здесь депортированных чеченцев и ингушей, как еще раньше принимали поляков и корейцев. Казахи разделят пополам кусок хлеба и отдадут приезжим второй халат, теплую одежду с такой неподдельной искренностью, что поселенцы самых разных наций будут повторять своим детям и внукам: «Казахи спасли нас от голодной смерти». А старейшины-вайнахи добавят: «Смотрите, не обижайте казахов... Встретишь казаха – знай, ты встретил брата. Если кто-то из них окажется в Чечне, у него должна быть лучшая еда и лучшая постель... Они должны быть у нас самыми знатными гостями...»

– Пойдемте в наши дома, – пригласили казахи.

Шарлотта со всеми детьми и внуками попала в дом казаха по имени Калмен, выше среднего роста, крепкого телосложения мужчины с бородкой и вислыми усами. Бедный домик из саманного кирпича почти на окраине Березовки, слева от входа кухня и женская половина, старинные сундуки, пестрые занавески и подушки на полу. По всему было видно, что семья и сама живет небогато. И тем не менее гостей рассадили на полу на лучших местах, дочь хозяина дома, невысокая стеснительная девочка-подросток, обнесла каждого чашей с водой и полотенцем – умыть руки, а следом младший сын вынес большое дымящееся блюдо с мясом и лапшой. Это был «бешбармак» – он готовится, как правило, по случаю семейных праздников или приема гостей.

Ольге показалось, что ничего вкуснее она в жизни не ела. Мясо называлось «согым», заготовленная на

зиму конина, самые сочные и вкусные части которой коптели на коре березы. Ели руками. От невероятно вкусного и мягкого мяса, от тепла очага, от улыбок казахов Ольга словно запьянела, в голове стоял туман. Маленькие дети – дочери и сыновья Марии, жены Александра, и сын Марты – ели жадно, несмотря на предупреждение Шарлотты, чтобы не наедались с голода сразу.

Мальчик вынес «шалпек» – особо приготовленные лепешки, которые принято есть, вспоминая предков и говоря добрые слова близким, родным и соседям. Две совершенно разные культуры – скотоводческая и земледельческая, европейская и азиатская, две разные религии, разные мировоззрения, различные отношения к жизни и смерти – сошлись в одной точке пространства, в маленьком саманном домике, на мягких цветастых одеялах на стареньком вытертом ковре, заставленном блюдами.

Под конец трапезы детям вынесли «балкаймак» – чашку топленых сливок с мукой и медом, «медовую сметану». Эдик – сын Марты, обмакнув кусок лепешки в чашку и облизав с хлеба белую сладость, от наслаждения прикрыл глаза.

– Вкусно, – тихонько шепнул он Марте.

– Зимой трудно выжить. Пусть ваши дети приходят к нам. Мы будем их кормить, чем у нас найдется, они будут играть с нашими детьми. Так будет легче. Пока не устроитесь, – предложил Калмен, и было заметно, что он предлагает это искренне, от души.

Закрытая Европа, выросшая в своих тесных городах-крепостях, столкнулась с открытой, как Степь,

душой кочевого народа. До конца жизни Шарлотта сохранит в своем сердце благодарность к этой семье, как и полмиллиона остальных переселенных немцев сохраняют подобную благодарность к другим казахским семьям.

Было совершенно понятно, что семья Калмена живет бедно, что это мясо, мука и сливки, скорее всего, позаимствованы у более зажиточных родственников или соседей. Специально для них. Хозяйка-казашка аж светила, что смогла накормить гостей. Толеген, сын хозяина, подававший чашу с топлеными сливками, пока нес – поедал их глазами, но подавал с улыбкой, радуясь за чужих детей, что им будет вкусно. Хозяин дома предлагал, чтобы дети немцев приходили к ним: ели вместе с их детьми что найдется в котле, играли бы на улице, а зимними вечерами, когда на дворе пурга, сидели бы у них в саманном домике и слушали казахские сказки.

Так устроен наш мир, что жизнь искажает даже самые искренние добрые поступки и намерения. Некоторые из колонистов, понимая, что пережить эту зиму в кошарах и землянках детям будет невозможно, отдавали их в казахские семьи, где они находились как свои. Но очень скоро начались новые наборы в Трудовую армию: туда забирали всех, у кого нет детей, и тех, за чьими детьми мог кто-нибудь присмотреть. Списки составляли местные органы власти, которые прекрасно знали обстановку в селе.

– Кто? Лидия Рудц? Так ее дети постоянно живут у Чингининых, у этих раскулаченных баев, – говорили в конторе.

И записывалась несчастная немецкая мать в длинный список отправляемых в Сибирь. В конторе были заинтересованы выполнить и перевыполнить разрядку из области. И плакала, криком кричала рожденная под несчастливой звездой Лидия при посадке в эшелон. И дети ее, остающиеся у чужих сердобольных людей, криком звали маму. И казахская семья, от всего сердца поступив, как лучше, плакала вместе с ними.

Прав был бывший редактор Анхель Альбертович, говоривший Ольге в полутемном вагоне: «Когда государство – это все, горе отдельного человека ничего не значит».

Казахи помогали чем могли. И не только эта семья – все, кто проживал в Березовке. Особенно в первую зиму. Только казахи и сами голодали. Если бы Ольгу спросили, как они сумели выжить, она бы не нашла ответа.

Блестел на солнце ледяной наст на покрытой снегом равнине, в дымке изморози стояли бело-черные березовые рощи. Мороз за сорок градусов, брови и ресницы становились мохнатыми и белыми. В птичнике кое-как собрали временную печь, топить ее приходилось кизяком, высохшим на солнце коровьим навозом, за которым надо было идти на скотный двор. Жара он надолго не давал, но сварить жиденький супчик, вскипятить чай хватало. Закончился керосин для лампы, экономя последние деньги, купили всего несколько литров, сберегая его, как сокровище.

Иногда удавалось раздобыть шкуру коровы или вола, тогда дети обжигали на костре шерсть на шкуре, соскребали ее ножом, резали на полоски, обжаривали до черноты и жевали, ели, заходясь слюной. Когда удавалось достать комбикорм, поджаривали его на сковородке. Мололи и варили старое зерно, делали болтанку.

Особенно тяжело было в период буранов. Синее небо затягивалось дымкой, начиналась поземка, сухой снег низко стелился по Степи. Постепенно ветер усиливался, начинался снегопад, и все вокруг становилось белым-бело, как в молочном потоке. Видимость пропадала на расстоянии вытянутой руки. Безобидные в обычное время снежинки секли, залепляли глаза и лицо. Березовку заметало. Откапываешь утром дверь – сверху снега на два метра, крыши ровень с поверхностью, а сегодня надо быть в комендатуре на отметку.

И копали все: и женщины, и дети – проходы по улице, чтобы попасть в здание конторы, где сидел не прощающий опозданий уполномоченный.

В феврале, в один из дней оттепели, случился побег. Хотя побегом это назвать сложно, просто одна из поселенок покинула Березовку. Никому ничего не сказав, ушла в неизвестном направлении.

Ее звали Агна, что в переводе на русский означало «святая». Агне исполнилось шестнадцать лет. Ольга хорошо знала ее, девочка жила в кошаре рядом. Невысокая, худенькая, закутанная, как бабка, в старый шерстяной платок. Ее брови казались чуть приподнятыми, что придавало лицу удивленное, наивное выражение. На переносице две ранние морщинки. Родители девочки умерли

несколько лет назад, она жила вместе с пятилетним братом у тети в Миллерово. Неизвестно, как так получилось, но при посадке в эшелон брат с тетей оказались в другом вагоне. Начальник конвоя и слушать не хотел, чтобы перевести Агну к ним. По пути тетя умерла.

А на одной из станций на Урале несколько вагонов отцепили и отправили в Челябинск. Переселенцы, которые в них находились, попали на какой-то завод. Брат остался в одном из тех вагонов.

Девочка очень переживала. Показывала Ольге их совместную фотографию: помятый в дороге снимок, где она, еще улыбающаяся, держала за руку светловолосого мальчишку с непокорной челкой, падающей ему на глаза. Она заменила ему родителей: учила его застегивать рубашку, держать ложку, разбираться, что хорошо, а что плохо в этой жизни.

– Он еще совсем маленький. Он пропадет без меня, – повторяла Агна.

Между тем наладилась почта, у спецпоселенцев появился адрес, и в Березовку стали приходить письма с разных концов страны. Из одного из таких писем, полученных кем-то из родни переселенцев, которых оставили на Урале, Агна узнала, что ее брат находится в Челябинском детдоме. И ушла.

По распоряжению спецкомендатуры главы семей переселенцев должны были в трехдневный срок докладывать об отсутствии кого-то из родственников. Иначе главу семьи судили. Но у Агны не было семьи, поэтому за ее побег никого не наказали.

Девочку отыскивали недалеко от поселка Федоровка. По Степи, где в низинах мокрые снега по пояс, она сумела пройти более сорока километров до железной дороги. Когда ее задержали, у нее нашли только тот снимок и два куска колотого сахара, аккуратно завернутого в тряпочку. Сахар ей дал раньше кто-то из казахов – она не съела его, неся брату. Она пыталась объяснить милиционерам, что брат совсем слабый и беззащитный, что они остались только вдвоем во всем мире и что им нельзя друг без друга.

– До Челябинска триста километров. Ты бы замерзла на шпалах. Или от голода умерла, – говорили ей позже в комендатуре, но Агна только пожимала плечами. Для нее это оставалось неважным – ей надо было к брату.

На суде за оставление места спецпоселения девочке, как несовершеннолетней, дали восемь лет лагерей. Отбывать наказание она начала на Урале, а когда ей исполнилось восемнадцать лет, этапировали в Севвостлаг, на Колыму, в Магаданское управление лагерей. Отбыв чудовищный срок, потерявшая зубы от цинги, по виду – типичная зэчка, она освободилась и спустя какое-то время все-таки добралась до Челябинска, закончив долгий извилистый путь к брату, начатый с окраины Березовки.

В детдоме ее брат стал пионером с красным галстуком, собирався вступать в комсомол. По совету воспитателей он отказался встречаться с беззубой сестрой-зэчкой в засаленном лагерном бушлате без бирки.

Даже не вышел из здания.

Потом вроде ее опять посадили.

Только жить ей больше было незачем.

Для поселенцев Березовка оставалась просто ничем селом с привычным русским названием, непонятно зачем возникшим в Степи. Но для казахов каждое урочище, каждая лощина, каждое озерцо здесь имели свою историю. В Великой Степи издревле существовало деление кочевников по родам. Тургай, Джезказган – это территория аргынов. Севернее Тургай – Кустанай, часть Актюбинска и далее – земли кипчаков. Рода в свою очередь делились на подроды. Часть Федоровского района, Карабалык, Первомайка, Коржунколь, и другие земли в округе принадлежали карсакам. И до революции самым известным среди них считался бай Саим Кадыров. А места эти в народе носили название – Кадыр-аулы.

Саим Кадыров старался идти в ногу с бурно развивающимся прогрессом в Российской империи в начале XX века. Ему не нужен был переводчик, он прекрасно, как отмечали российские купцы, говорил на русском. У него имелся первый в этих местах трехколесный трактор – диво для кочевников; бревна для его дома заказывали аж из Сибири, был свой кадыровский торговый дом в Троицке и Челябинске, богатый знатный человек – по сути, здешние земли оставались в его владении. Степной генерал-губернатор Оренбурга этнический немец Евгений Оттович Шмит, официально закрепил авторитет Кадырова и для русской части населения, подписав приказ о его назначении правителем Карабалыкской волости.

Кадыров был настолько уважаем властями, что в 1913 году его пригласили в Петербург на празднование трехсотлетия дома Романовых, где он был награжден почетной медалью самим царем. А это для степняков неслыханная честь. Когда началось восстание против мобилизации казахов на тыловые работы, многие баи поддержали восставших, но не Кадыров. Он остался верен царю. В этих местах восстание подавили быстро, но бунтари, возглавляемые выходцем из соседней волости (южнее сел Украинка, Жалши) по имени Жалбыр, успели уничтожить призывные списки и расправиться со своим волостным.

Убивали Кадырова ножами разъяренной толпой, на виду у всех, во дворе его дома из сибирской кедровой сосны. А Саим не умирал, он все пытался подняться и сесть на колени в сторону Мекки, шепча молитвы. Потом ему перерезали горло, привязали ногами к хвосту лошади и погнали в Степь. Родные отыскивали в Степи останки Саима и захоронили на родовом кладбище карсаков у Соленого озера, рядом с могилой его отца Кадыра.

У Саима было трое сыновей: старший сын от первой жены и Сартай с Каратаем от второй. Младший Каратай так и продолжал жить в Кадыр-ауле, позже переименованном в Березовку. Чтобы уйти от постоянного преследования советских властей за байское происхождение, он взял фамилию матери – Садыков. Невысокого роста, тихий – слова лишнего не скажет, воспитанный и деликатный, он стал работать сельским пастухом, выгоняя в Степь коз и овец своих односельчан.

Наследный владелец этих мест Каратай оказался поденщиком у бывших работников своего отца. Когда ему отдавали плату за выпас скота, он сердечно благодарил, но на некоторых не поднимал глаза – он прекрасно помнил, кто из аульчан убивал его отца. В Березовке потом вспоминали, что стадо он всегда уводил на пастбище по одной дороге в сторону озер Соленое, Сарыбаксы, туда, куда погнали лошадь с привязанным к хвосту телом отца и где на месте пролитой крови весной вырастали дикие красные тюльпаны.

Это история казахов. У немцев здесь еще не было своей истории, для них эти места пока ничего не значили. История пребывания в этом краю немцев начала писаться, когда здесь появились первые холмики на могилах похороненных поселенцев. Казахи хоронили умерших на мусульманском кладбище, немцы на своем – разделенные по религиям люди и под землей лежали по отдельности. Первой умерла молодая женщина, которая пыталась сбежать еще в машине и все повторяла: «Фрида, Фрида...» Из вагона ее вынесли уже в одеяле. В Березовке она прожила совсем недолго, лежала на земляном полу кошары, не приходя в себя, оставаясь сознанием блуждать где-то в иных мирах, где нет ни эшелонов, ни разлук. Ольга с другими женщинами копала ей могилу.

Потом к этой могиле прибавилась еще одна, за ней другая...

Умирали матери, у них оставались дети. В шестнадцать лет на ребенка заводили карточку спецпоселенца, а до этого он числился на формальном «по-

семейном» учете и НКВД не интересовал. Взрослые на партийных совещаниях говорили, что дети-сироты должны воспитываться колхозами. Понятно, что в реальности до сирот никому дела не было. Часто случалось, что мать или бабушка умирали, отец находился в Трудармии, и ребенок, понимая, что его отправят в детдом, сбегал из поселения, отправляясь на поиски своего отца. В городах такие дети смешивались с другими беспризорными, жили на чердаках, в подвалах, под люками, где шли горячие трубы отопления.

И ходил со стайкой чумазных беспризорников какой-нибудь светловолосый мальчишка-немец, понимающий на русском всего пару слов: подходил к торговкам на рынке, молча протягивая руку. Силами НКВД только за полгода на улицах городов было выявлено 2 900 детей-беспризорников из семей спецпоселенцев и трудармейцев.

Оформляли их в детские дома.

В детских домах, особенно поначалу, над немцами издевались. Страна-то воевала. Дети жестоки, они еще не умеют чувствовать чужую боль, поэтому в издевательствах не знают предела. Так они устроены: над несчастным слепым котенком могут плакать, а человека затравить. Горе тому, кого они сочли слабым.

Когда приходила ночь и комната на 40 человек засыпала, лежал какой-нибудь восьмилетний мальчишка-немец с головой под синим казенным одеялом, беззвучно плача от беспросветности, и никто из самых

умных взрослых, прочитавший все книги на свете, не смог бы ему ответить, за что ему такая судьба.

4

Советская пресса сделала всех этнических немцев шпионами и диверсантами. Поэтому и отношение к ним было соответствующее. Посмотрели бы люди на этих диверсантов – бабки, жены да малые детки... И никто в газетах не писал о другом.

О том, как эти немцы воевали против нацистской Германии.

Летом 1941 года, когда вышел указ об этнических немцах, их в рядах Красной армии, по разным данным, служило около 40 000 человек. Многих из них сразу демобилизовали. Они с фронта, из воинских частей, прямиком поехали в Трудовую армию. Но многие остались. Меняли фамилии на русские и оставались в строю даже тогда, когда казалось, что Германия уже победила. Командиры и солдаты в дивизии знали, что такой-то – немец, но не поднимали этот вопрос по умолчанию. Даже особысты иногда их покрывали.

Фронтовики помнят, как скупой было командование на награды в 1941 году. И мало кто знал, что одну из таких редких высоких наград тогда получил немец – полковник Гаген. Он со своим подразделением держал оборону под Витебском, ежедневно отбивая по 5–6 атак пехоты и танков. Горела земля, черные от копоти бойцы со связками гранат ползли под танки. Они дер-

жали свои раскученные позиции, даже когда фронта кругом не стало. Дальше по линии фронта гитлеровцы прорвали оборону, но полковник со своими бойцами целых 18 дней с нечеловеческим напряжением отчаянно дрался в полном окружении.

Это было тогда, когда кругом царила паника, когда многие подразделения оставляли свои позиции после первой же бомбежки. Даже в Ставке при утверждении наградных не решились вычеркнуть его фамилию.

На Сталинградском фронте многие помнили экипаж танка КВ-1 лейтенанта Николая Александрова. Заправляющим орудия в экипаже числился Феодосий Ганус из поволжских немцев. Оставило его командование. И оказалось – не зря. За пять часов непрерывного боя, контуженный и оглушенный от прямых попаданий вражеских снарядов в броню танка, экипаж знаменитого КВ-1 уничтожил 5 танков противника, сжег 24 автомобиля, смешал с землей 19 пушек и минометов вместе с расчетами, уничтожил 15 пулеметных гнезд и 5 дзотов. И неизвестно, сколько пехоты подавил гусеницами. Очевидцы говорили: «Вот это был бой!» Одиноким танк подбили, когда закончился боезапас, весь экипаж погиб, но нацисты все равно потом облили танк бензином и подожгли, чтобы от команды остались только головешки.

Пройдет много-много лет, и благодарная Россия присвоит Феодосию Ганусу звание Героя Советского Союза посмертно.

Среди получивших звезду Героя будут и майор-десантник Гарварт, на острие атаки прорвавшийся к реке Тиса под Будапештом, форсировавший ее и долгое время удерживавший плацдарм для переправляющихся войск. Будут и разведчики, которым особисты не препятствовали ходить в рейды за линию фронта, и летчики, и защитники Брестской крепости, рисующие на немецких листовках, которыми их засыпали, рыло свињи и пишущие на них кровью, что враг не пройдет. Будут и командиры дивизий, и врачи, и даже партизаны, создавшие в окружении партизанские отряды.

Но о них советским людям рассказывать почти не будут. Хотя те немцы своими жизнями доказывали обратное написанному в газетах. По статьям, немцы встречали фашистов хлебом-солью, и люди помнили только это, а не имя красноармейца Генриха Гофмана, попавшего в плен, но не отрекшегося от той земли, которая стала ему Родиной, и в буквальном смысле порезанного на куски карателями за то, что он немец.

О таких немцах, умирающих с русскими плечом к плечу, миру не рассказывали.

– Вы все враги, – говорил в конторе Березовки уполномоченный по вопросам с переселенцами Шандецкий. – Не ждите, что с вами тут будут цацкаться. Кто будет плохо работать, поедет в лагерь.

Шандецкого прислали в Березовку из Кустаная, где у него осталась семья. От него зависело распределение, наряды и пайки хлеба. Он любил срывать раздражение на немцах, особенно ввиду неудач Красной армии

на фронте. Глаза водянистые, нахальные. С его руки Ольгу записали трактористкой в женскую тракторную бригаду. Своим усиленным пайком она, по сути, спасала семью. Марту он записал дояркой. Марию, жену Александра, у которой осталось 4 детей, тоже записал дояркой. Марию, жену Якова, потерявшую своего ребенка в дороге, отправил в Трудармию, на лесозаготовки в Свердловскую область.

А вот Каролину он не отправил, хотя детей у нее не было.

– Зайди-ка ко мне в контору, – улыбаясь, как-то сказал ей Шандецкий.

Девятнадцатилетняя Каролина – красивая девушка, похожая на Ольгу, но чуть выше ростом и более бойкая, с искрой в глазах. Голод сделал свое дело: под глазами темнели круги, но все равно она оставалась заметной среди блеклых женщин, закутанных в платки. В тот вечер она пришла от Шандецкого на подгибающихся ногах и легла на доски, отвернувшись к стене, не говоря ни слова. Лишь по ее напряженной спине было видно, что она не спит. А затем, не поворачиваясь, сказала каким-то чужим, глухим голосом:

– Он меня изнасиловал.

Через несколько дней Шандецкий снова вызвал ее. Она не могла и глаз поднять.

– Зато в Трудармию не поедешь, – сказал ей управляющий. – И работу найду непыльную. Вечером снова придешь. И завтра тоже...

...Маленькое, занесенное снегом село Березовка. Мужчины в Трудармии – некому защитить. На западе война, а здесь голод, негреющее солнце в морозной дымке и презрительное клеймо «немцы-фашисты» от таких, как управляющий. Постепенно растущее кладбище. Могилки людей, чьи предки на запряженных волами повозках веками искали по свету свою землю обетованную. Советская власть за них определила, какая это будет земля и какая у них будет судьба.



Глава 7

1

Село Березовка, Казахстан, 1944–1947 годы

Поле на равнине, заросшая ковылем и кустовой ивой низина, которую надо объехать. Синь неба, пригревает солнце. Заглушая собой все остальные звуки, натужно стучал двигатель трактора. За трактором, если обернуться на ходу, можно видеть, как стальной плуг переворачивает верхний слой земли, оставляя поднятую почву, словно след кильватерной струи за кораблем.

Гусеничные трактора забрали на фронт, в парке совхоза осталось только несколько старых «Универсалов» с шипами на задних металлических колесах. Сидение водителя находилось на задней оси, при движении неимоверно трясло. От двигателя шел жар, пахло раскаленным металлом. Ольга, вцепившись рукам в дергающийся руль, пыталась ехать ровно, но по неопытности это не очень получалось.

В низине показалось озерцо, заросшее камышом. Надо было сделать остановку, поднять плуги и развернуть трактор. Заглушив двигатель, Ольга слезла с сидения, только сейчас почувствовав, как болит спина за день непрерывной работы.

Хотелось пить. Прямо так и представлялся вкус холодной ключевой воды в пересохшем горле. Но это была только мечта: вода в этих краях плохая, часто соленая. Недалеко находилось озеро Коктерек, там вода была не-

соленая, но рядом располагалось «тырло» – место, где в дневную жару в тени деревьев отдыхал скот. Стадо гнали на водопой, коровы по брюхо заходили в озеро, напиваясь досыта, отдельные коровки мочились в воду. Там же в озере голышом купались дети, которых это не смущало, плескались рядом, нечаянно хлебали эту воду, а когда нестерпимо хотелось пить, в лучшем случае цедили ее ртом через ткань майки, как через фильтр.

Какое-то время Ольга сидела на земле возле остывающего трактора, потом пошла к озеру, раздвигая руками заросли камыша. Земля под ногами стала влажная, черная. За время, прошедшее с момента переселения, девушка заметно изменилась, в чертах лица появилось выражение взрослости. Платок и старая промасленная телогрейка, надетая несмотря на жару, довершали образ, и невозможно было узнать ту девочку Ольгу, которая осталась на Украине. Сделав еще один шаг в густом камыше, Ольга вдруг остановилась.

Прямо возле ее ног на илистой земле лежало гнездо. А в гнезде яйца дикой утки с зеленоватым цветом скорлупы. Высокие камыши загораживали вид на небольшое озеро: скорее всего, утка плавала неподалеку, в придонной тине выискивая себе корм. Это было все равно что клад. Аккуратно, чтобы не разбить, Ольга положила яйца в платок: целых девять штук – почти полная кладка. Жареными или вареными их на всех не хватит, а вот если изготовить яичную лапшу, можно наесться всей семьей.

Шла война, все ресурсы уходили на фронт, на паек выдавали по 200 граммов хлеба, а зарплату в совхозе

платили облигациями военного госзайма – по ним ничего нельзя было купить и съесть их тоже было нельзя – бумага и бумага. Дети игрались с облигациями по 5, 10 и 25 рублей с нарисованными красноармейцами с поднятым знаменем.

Изначально, как только эшелоны с немцами начали прибывать в Казахстан, переселенцы еще могли передвигаться внутри района, выбирая себе работу. Но затем местными отделами НКВД был сфабрикован ряд уголовных дел против немцев, которым удалось устроиться на военные предприятия. Все они оказались обвинены в шпионаже и подготовке диверсий. Огонь ненависти надо постоянно кормить, подкидывая дрова. Дела сделали резонансными, после этого устроиться где-то в другом месте, где паек чуть больше, стало невозможным. Доярки получали по 200 граммов хлеба, трактористы, как Ольга, – усиленный паек. Вначале давали хлеб на детей, но потом отменили.

Выживали за счет природы. В озерах водились мелкие караси, дети ловили их, рыбешку сушили, перетирали в муку и варили похлебку. Из крапивы и щавеля варили борщи. Собирали на лугах дикий лук. В березовых рощах можно было найти костянику, землянику, вишню – ягоды сушили, варили варенье. Осенью в ход пойдут свекла и морковь, из них можно сварить сироп: настоящее лакомство, когда нет сахара. Если ничего не находилось, ели стебли камыша. Шарлотта придерживалась старых традиций: семья должна была три раза в день садиться за стол, даже если на этом столе одни высушенные колоски.

Одежды не хватало, распускали веревки для привязи скота и шили ими из шкур или брезента обувь. Надеялись на огород: посадили свеклу, морковь, лук и картошку, сколько нашли рассады. Поливали огород всей семьей вечером, когда спадала жара. Если бы Ольге в детстве сказали, что она будет работать трактористкой, она бы только улыбнулась. Но судьба распорядилась именно так. Мужчины ушли на фронт, в Трудармию, поэтому в хозяйстве было решено сформировать женскую бригаду, и Ольга наравне с казашками и украинками попала на механизированный двор.

Практические курсы трактористов девушкам преподавал Балмукан Баянов, младший брат Калмена, у которого по приезде семья Шарлотты побывала в гостях в Березовке. Удивительный был человек Балмукан. Простой в общении, терпеливый, не ленящийся объяснять одно и то же по многу раз. В молодости он играл в самодеятельном театре в райцентре, мог бы стать известным артистом: его заметил режиссер и пригласил на работу в столичный театр в Кзыл-Орду, но по настоянию старшего брата Балмукан вернулся в Березовку. В армию его не забрали по причине здоровья.

Однажды Ольга по-соседски стала свидетельницей трогательной семейной истории братьев Баяновых. Остро заболел старший брат Балмукана Калмен, который, по сути, воспитал его: родители умерли, когда братья были подростками. Балмукан вынес больного брата на руках во двор, положил его в телегу, и так как вся техника находилась в полях и везти в больницу было не на чем, впрягся в нее сам и потащил телегу на себе к врачу в село Украинка, до которого было около 18 километров. Со своим здоровьем он бы не дошел,

но это его не остановило. Пока нашли свободную лошадь и догнали его, он успел протащить своего брата на телеге больше трех километров.

Ольге было легко с Балмуканом. Они подружились, несмотря на разницу почти в двадцать лет, – добродушный, любознательный, начитанный казах и девушка-немка с пятиклассным образованием, одетая в телогрейку и кирзовые сапоги. Однажды он рассказал Ольге крайне нетипичную для казахов историю своей семьи.

В начале сороковых, во времена Великого голода, из Тургайской степи в эти края пришла семья – муж, жена и их маленькая дочка. Как-то так получилось, что молодая женщина втайне влюбилась в Балмукана, образованного, интеллигентного, обходительного парня. Такое редко случалось среди казахов, тем более среди тургайцев, где не было поселенцев, и поэтому обычаи предков там оставались неизменными. Но случилось. Балмукан тоже влюбился в нее, поначалу скрывал эту любовь несколько лет, а потом не совладал – открылся ей в своих чувствах и увел молодую женщину в свой дом.

А муж с дочерью вернулся в Тургай.

Эта трогательная и необычная для казахов история любви имела в последующем мистическое продолжение.

Летом 1949 года Балмукана направили на заготовку соли в Кзыл-Орду.

При переправе с попутчиками реки Сырдарьи он оказался в одной лодке рядом с баксы (рус. знахарем-шаманом). Незнакомый старец обратился к Балмукану и попросил протянуть ему ладони, на казахском – колынды жай. Прочитав молитву, шаман сообщил, что

дома его ждет келин (рус. невестка) и она в положении, скоро, в августе, родится сын, и имя ему будет Дарьябай – от названия великой реки. После переправы Балмукан и баксы разошлись навсегда.

Возвратившись из командировки, Балмукан решил никому не говорить об этой встрече, чтобы проверить пророчество старца.

24 августа родился сын!

Отец назвал сына Дарьябай в честь великой среднеазиатской реки, как и пророчил знахарь.

Он стал известным художником и около пятидесяти лет под псевдонимом Гани пишет волшебной красоты акварели и обучает алма-атинских детей творчеству – рисованию, которое стало его, Дарьябая Баянова, смыслом всей жизни.

Молодая жена родила Балмукану еще одного сына – Серикбая, который стал строителем и возводил в голой степи молодой поселок горняков Качар.

Но это случится много позже, а тогда родители и родственники не простили женщине ее поступка. Они не говорили на эту тему, но Балмукан видел, как она тяжело переживает разрыв с семьей. Лишь спустя семь лет, перед самой войной, родители смягчились и решили ее навестить. Добирались в телеге, не спеша, останавливаясь по пути на ночевки. Родители еще только подъезжали к границам поселка, как женщина услышала об этом и бросилась им навстречу как была – в домашней одежде, босиком. Бежала и плакала. От волнения и напряжения у нее лопнули сосуды, кровь хлестала из носа, заливая грудь.

Когда Балмукан рассказывал Ольге эту историю, у него самого глаза становились мокрыми. Грех измены, нарушение родовых традиций, непрощение родителей много лет лежали на плечах женщины тяжелым грузом, и Балмукан разделял эту тяжесть вместе с ней, потому что любил. Тогда, на встрече, наполненной рыданиями и объятиями, родители простили свою дочь, а значит, ее простил и Аллах. И жить им, прощенным, стало легко.

В разговорах с Балмуканом Ольга познавала местные традиции, запутанные пути казахской крови, историю Степи. Ей очень нравился Балмукан: несмотря на годы, в нем чувствовалось что-то непогасшее из детства. Как-то в сороковых годах, до войны, за добросовестный многолетний труд его представили к награде, но он, узнав об этом, попросил уполномоченного, чтобы награду заменили на велосипед – тайную мечту Балмукана. Он стал первым в этих краях обладателем двухколесного чуда, быстро освоил велосипед и проехал на нем до самого Кустаная, останавливаясь в каждом ауле по пути, вызывая изумление у кочевников.

Открыв рты, посмотреть на невиданное зрелище собирались все жители казахских аулов: и взрослые, и дети, а он, как вестник прогресса, с важным видом сядил на кожаное седло и, крутя педали, ехал в следующий аул, сопровождаемый бегущими за ним детьми и всадниками на лошадях.

Обучение давалось Ольге нелегко, много раз она загоняла трактор в какое-нибудь болотце, но Балмукан был предельно терпелив. Он мог бы запросто сказать начальству: «Она не справляется, переведите ее ку-



да-нибудь на ферму», тем более что на место трактористки претендовало много женщин, в том числе и казахшек, его землячек, которых он хорошо знал. Но он понимал, что на усиленном пайке Ольги живет целая семья немцев – женщины и детки. И тратя свое время, иногда покрикивая, скрывая доброе сердце за внешней строгостью, продолжал ее учить, пока она не освоила трактор наравне со всеми.

Он не мог ей помочь с едой – тогда все голодали, но он сохранил ей работу, и за это Ольга поминала его имя в благодарных молитвах Христу, хоть он и мусульманин.

Мир держится и стоит на таких добрых, хороших людях.

2

За лето Березовка разрослась дворами вдвое. Птичник и кошары остались в прошлом, переселенцам помог древний казахский обычай «Асар». В переводе на русский язык это означало «всем миром». Главная цель данной традиции – помочь другому. Не зря говорят: «Жаксы кэрші туыстан жакын» (рус. Хороший сосед ближе родни). Желаящие строиться заготавливали материал: лошадьми или ногами месили глину с половой, собирали солому, изготавливали глиняные блоки-кирпичи, их сушили на солнце. Резали камыш на крышу, приносили любые доски на стропила, окна и двери, камни на фундамент. А потом всем миром за выходные, за день-два, дружно возводили нуждающейся семье жилище. После всей компанией весело праздновали это событие.

Землянки тоже строили сообща за один-два дня. На выбранном месте снимался дерн: верхний слой земли с травой разрезался на пласты, и из них поднимали стены. Окна в землянках смотрелись очень низко над уровнем земли. Но главное – внутри можно было поставить печь из глины и сберегать тепло.

Шарлотта хотела, чтобы их саманный домик выглядел, как дом в Доброполье: с глубоким прохладным погребом, и чтобы на стенах висели фотографии со снимком Генриха Кондратовича в центре. Даже во времянке у нее царили чистота и порядок, пол из глины для блеска протирался водой, перемешанной с конским навозом. Синькой подводили окна и подоконники снаружи, сажеей выделяли фундамент для красоты. На стол из досок накрывались газеты с вырезанными узорами – можно было себе представить, что это кружевная скатерть.

После работы в хозяйстве трудились по дому. Каролину записали счетоводом в правление, Шандецкий не отпускал ее от себя. О том, что между ними происходило, Каролина больше никому не рассказывала, приходила домой поздно и, стараясь ни с кем не откровенничать, ложилась в постель. На вопросы отвечала односложно или вообще молчала. Часто по ночам Ольга слышала, как она плачет.

Невысокого роста, в скрывающем волосы платке, бледная от постоянного недоедания, в старом платье, которое ей покупали несколько лет назад, внешне она оставалась той же сестрой, которую знаешь, как себя, и в то же время ее внутренний мир стал закрыт для родных. В правление постоянно приходили разрядки на отправку людей

в Трудармию: очевидно, управляющий угрожал отправить туда не только Каролину, если она будет несговорчива, но и других членов семьи. В Березовке Шандецкий обладал полной властью над судьбами поселенцев.

Радость была единственная – когда в село приходила почта. Мария получала письма от своего мужа Александра, остальные сыновья писали на Шарлотту. О своей жизни в трудовых лагерях сыновья почти ничего не рассказывали. За строчками оставались колючая проволока, презрительное «фашисты», скученность барачков, рукоделие, чтобы прокормиться, местные мальчишки, которые прибегали к жилому сектору поменять хлеб на поделки или швырять камнями в «немцев». Много писали о знакомых и их знакомых: кто кого ищет, чтобы разъединенные семьи могли найти друг друга.

В те годы тысячи людей искали родителей, жен, детей. Искали по слухам, по словам очевидцев. Кто-то находил родных сразу, кто-то узнавал, что их больше нет на этом свете, кто-то не мог ничего узнать годами. Особенно это касалось тех, кто сгинул в тюрьме или остался на оккупированной территории. Бывало, что человека, по слухам, похоронили, родные его оплакивали, молили Бога принять его на небе, а он оказывался жив. Но чаще случалось по-другому: верили, что человек жив, и снился он как живой, а он давно лежал в общей могиле. Надежда на встречу с родными людьми вносила смысл в будущее, иначе бы давно опустились руки.

Мария перечитывала письма от мужа Александра по многу раз. Он ни намеком не укорил ее за оставленного на оккупированной территории сына, наоборот –

утешал, писал, что они обязательно его найдут, сколько бы ни прошло времени.

...Позже, в 1944 году, произойдет удивительный случай. Мария могла бы получить возможность вернуться в Доброполье и узнать, что стало с их сыном. В начале марта того года в Казахстан придет распоряжение Совнаркома о доставке колхозами скота на освобожденные от оккупации территории. «Там разруха, там детям нужно молоко», – объяснят председателям колхозов. Кустанайская область выделит на отправку на Украину 7 200 дойных коров, которые должны будут попасть в город Краснодон, что совсем недалеко от Ровеньков и Доброполья. Так как железная дорога забита военными грузами, стада коров решат отправить своим ходом через полстраны. В хозяйстве срочно набирали пастухов, гуртоправов и доярок, чтобы доить коров в долгом пути.

Мария работала дояркой. Она побежит к Шандецкому, умоляя внести ее в списки, объясняя, что у нее там остался сын, что она заберет его с собой или хотя бы узнает о его судьбе. Шандецкий выслушает ее и откажет:

– Ты в категории спецпоселенцев. Ничего не получится. Иди, работай дальше, – ответит он, глядя на взволнованную женщину своими водянистыми глазами.

Тогда, ненавидя его, Мария запишет адрес своих родственников двум казашкам и русской женщине Ирине, которая попадет в списки вместе со своей четырнадцатилетней дочерью, с просьбой побывать в селе ее родителей и что-нибудь узнать об оставшемся там сыне Александре.

Такого перегона стад история не помнила со времен древних ариев. В начале июня, ранним утром, одновременно из многих колхозов огромные стада дойных коров двинутся в путь. По бокам стад поскачут ответственные на лошадях – они будут знать: за каждую потерю ответят по-сталински – головой. Им предстоит пройти пешком несколько тысяч километров, проделав ровно тот путь, который проделали немецкие поселенцы, только в обратную сторону.

По степям и полям, в июльскую жару, в августовские суховеи, в осенние проливные дожди пастухи погонят коров на запад. Впереди будут три реки – Урал, Волга и Дон, которые придется пересекать на понтонах. А дальше пойдут опаленные войной земли: пожарища, выжженные деревеньки и сгоревшие танки в полях. Некоторые коровы подорвутся на минах. Они придут в Краснодар через полгода, и люди будут выбегать на улицы, чтобы посмотреть на такое фантастическое зрелище. Огромные, несущие им молоко стада и черные от загара пастухи, одетые в какие-то лохмотья. У русской женщины Ирины и ее дочери вместо юбок будет разорванная на двоих пестрая цыганская шаль.

Доярки из Березовки выполняют просьбу Марии. И, вернувшись в Казахстан, расскажут, что ее сын, по слухам, находится в Германии и что в Доброполье никого из немцев не осталось. Как и половины самого Доброполья. А многие дома, что не сгорели, стоят заросшие бурьяном. Но все это будет потом. А пока Мария надеялась, что разыщет сына.

Осенью 1945 года ненавистного всем Шандецкого, за которым в селе закрепилась кличка Негодяй, пере-

ведут обратно в Кустанай, где осталась его семья. Он заберет Каролину с собой, легко выписав разрешение на выезд за пределы комендатуры. В Кустанае Шандецкий снимет ей комнату, стараясь, чтобы никто ничего не узнал. Будет изредка приходить к ней по вечерам, а потом возвращаться к семье.

Пройдет год, и в один из октябрьских вечеров Каролина вернется домой в Березовку. В Степи уже будут стоять заморозки, Степь побелеет. Она доедет до Федоровки, а дальше пройдет более сорока километров по полевым дорогам пешком. Шагать будет почти сутки. Поздним вечером зайдет в дом, и, едва взглянув на ее лицо, Шарлотта охнет и привстанет с лавки. В руках Каролины будет мешок. Она бережно положит его возле топящейся печи, а сама, теряя сознание, упадет на пол.

Пока возле нее будут хлопотать и приводить в чувства, мешок вдруг зашевелится, издавая непонятные звуки. В нем окажется полуторамесячный ребенок. Полузамерзший, он будет моргать глазами на свету лампы, а потом начнет плакать, но тихо, без сил.

Шандецкий покажет свое истинное отношение к Каролине. Когда она родит и станет обузой, он просто выгонит ее с младенцем на улицу и больше никогда не поинтересуется судьбой ребенка. Каролина назвала своего сына Колей в память о старшем брате Николае, бесследно сгинувшем в сталинских застенках под Киевом осенью 1937 года.

Сталинский Молох забрал жизнь одного из сыновей Шарлотты, он же, звериный, людоедский, принес ей внука.

За жарким грозовым летом, когда по Степи двигаются столбы пыльных смерчей, пришла быстротечная, урожайная осень. Почти все переселенцы посадили у себя во дворах ранетовые яблони – пройдет два-три года, и дворы станут красными от маленьких плодов. Мелькнула осень, и снова замела поземка, зашелестела на ветру сухая трава, морозное степное небо загорелось зимними закатами, более глубокими и насыщенными, чем запомнились на Украине. На Рождество задула метель. Помнилось, как раньше в Доброполье в рождественскую ночь все выбегали на улицу искать в небе первую звезду, как радовались рождению Спасителя, поздравляя друг друга, и дарили детям подарки и разноцветные леденцы.

Сейчас на улицу выйти невозможно. И звезду на небе не найти. За дверью свист ветра, заряды снега и белая круговерть во тьме. Ольга и Лидия переоделись было в ряженных, вывернув полушубки мехом наружу, чтобы по старой традиции попугать маленьких детей, но Марта не дала: хватит уже страхов на их жизнь.

Генрих Кондратович смотрел со снимка на стене. Он остался в семье в чертах лица младшего сына Германа. Писем от него так и не было. Прошло семь лет с тех пор, как его забрали, – целая вечность, насыщенная событиями. Но Шарлотта сердцем чувствовала, что он еще жив: что он сейчас мысленно с ними. Копила внутри дорогие, очищенные, как золото, слова для встречи, даже знала, с какой интонацией скажет: «Вот – твой новый дом. Я почти всех сберегла».

Ей исполнилось 53 года, на лице от носа к губам прорезались две глубокие складки, под глазами лучики гусиных лапок морщин, словно она в жизни много смеялась. Одета в белый праздничный фартук, который надевали только по великим праздникам и на похороны. В ее в общем-то не слишком длинную жизнь вместились многое. И Гражданская война, и полузабытое детство, рождение детей и смерть детей, пропавший бесследно расстрелянный сын и любовь к мужу. Молитвы в церкви, презрительное «фашистка» в спину. Еще одна война, изгнание из дома, два мертвых внука на руках в эшелоне. И незнание, похоронили ли их, предали ли их тела земле или просто выбросили где-нибудь в бурьян у дороги. Необходимость быть сильной, оставаться стержнем для семьи и еще постоянное чувство вины за что-то, чего не делала.

Каждый седой волосок означал какое-то горькое событие, каждая морщинка имела свое значение, а вот радость следов не оставила.

Перед метелью в гости зашли знакомые казахи – Ситай с женой. Знали, что у христиан праздник, а подарков детям нет, поэтому принесли немного мяса и муки.

– Казахи к вам хорошо относятся, – перед уходом, немного замявшись, сказал Ситай. – Но есть у нас другие. Те, которые с войны пришли... Недавно Самат вернулся. Контуженный, раненый, кишки у него вырезали. Голова трясется. Говорит: ненавижу немцев. Самата остерегайтесь. Он больной, не в себе от ненависти.

Ситай ушел, а холодок остался. Как-то не думалось раньше, что много казахов воюют, что они будут



возвращаться с ненавистью к немцам, или, наоборот, никогда не вернутся, и тогда эта ненависть станет исходить от родственников. Но сейчас думать об этом не хотелось.

Ближе к полночи сели за стол. На улице круговерть из миллиардов летящих снежинок, за столом праздничные, приготовленные на воде блины и кусочки вареного мяса.

– Stille Nacht, heilige Nacht (рус. Тихая ночь, святая ночь), – запела Марта старинную песню, которую пели на сочельник вот уже две сотни лет. Шарлотта подхватила, за ней остальные. Эту песню пели сейчас во многих временках Березовки, на улице ее не было слышно, пурга съедала любой звук, но, если бы мелодичные слова случайно вышли наружу, было бы удивительно слышать их здесь, в глухой, заметаемой снегом казахской Степи, за тысячи километров от Германии, да еще когда с немцами идет война.

3

Март 1944 года

Женщины из тракторной бригады находились на мехдворе, когда к ним подбежала работница из конторы и выдохнула:

– Горцев, чеченцев каких-то привезли. Человек двадцать... Выгружают возле клуба. Еле живые... Пойдемте смотреть...

Стоял март, дул ветер, в синем небе светило весеннее солнце. Возле клуба находились повозки, загруженные вещами. Темнела толпа людей. Ольге сразу вспомнилось, как три года назад они точно так же стояли на этом месте, в растерянности оглядываясь по сторонам. Только тогда был октябрь, Степь белела, а сейчас весна. Привезенные разгружали повозки, одеты по-разному: в пиджаки и черные бешметы, кто-то в старенькой бурке, кто-то просто закутан в тряпки, несмотря на пригревающее солнце.

Сразу бросилась в глаза одна женщина – явно русская по внешности, с прядью светлых волос, выскокивших из-под платка. Одета по-городскому: в пальто и зимние ботики, отороченные мехом. Возле нее стояли двое мальчишек-подростков, больше похожих на горцев – черные волосы, карие глаза. На лицах мальчишек читалось одинаковое показное гордое выражение, казалось, они говорили всему миру: «Только попробуйте тронуть нас и нашу маму».

Как потом узнали, эта женщина и вправду была русской. По указу о выселении, если чеченка вышла замуж за русского, ее не трогали, но если русская выходила замуж за чеченца, она подлежала депортации, если только не изъявляла желания развестись. Но дети депортировались в любом случае. Эта женщина даже не подумала бросить мужа и детей.

Несколько человек лежали на одеялах. Многие кашляли. Бледные, истощенные лица, потухшие глаза, которые, казалось, выплакали за дорогу все отмеренные на жизнь слезы. Немцы это очень хорошо понимали. Сопровождающий чеченцев офицер НКВД в рас-

стегнутой шинели громче, чем надо, говорил стоящему рядом участковому:

– Это бандиты. Нянчиться с ними не стоит, как и с вашими фашистами. Если отказ от работы, иной саботаж, оставление места поселения – сразу вызывайте из района опергруппу...

Подошли и местные мужчины-казахи. Им тоже сказали, что все горцы – бандиты. Они молча наблюдали за разгружающими повозки чеченцами, останавливая свои узкие глаза то на лицах женщин в платках, то на детях, то на лицах бородатых мужчин в барашковых шапках. Один из казахов, аксакал с седой бородой, одетый в подбитый ватой чапан и отороченную рыжим мехом остроконечную шапку, вышел вперед и, обращаясь к чеченцам, спросил:

– Уважаемые. Вы какой веры?

– Правoverные мусульмане, – ответил за всех пожилой, но крепкий мужчина в пиджаке и галифе с подшитым клином кожи.

Казахи о чем-то поговорили между собой и ушли. Не было сомнений, что вечером у чеченцев появятся и вещи, и хлеб, и сыр – «курт», и конская колбаса – «казы», и кого-то из них казахи разместят у себя дома. Тысячи людей по всей Степи останутся им благодарны – до конца жизни и дальше, передав это чувство благодарности своим потомкам.

Прибывающие в разные области Казахстана эшелоны с вайнахами стали завершением многоэтапной операции под оперативным названием «Чечевица»,

или Дохард (рус. разрушение), как называли это событие сами чеченцы. В достаточно короткий промежуток времени – с 23 февраля по 9 марта – из Северного Кавказа в Казахстан и Киргизию было вывезено более полумиллиона этнических чеченцев и ингушей. Указом Президиума Верховного Совета от 7 марта 1944 года Чечено-Ингушская Автономная Республика прекратила свое существование.

Официальными причинами выселения назывались пособничество немцам, наличие в республике антисоветских бандформирований и массовое саботирование мобилизации. Об истинных причинах выселения споры ведутся до сих пор.

– Все дело в земле, – позже скажет один пожилой чеченец. – Грузины хотели себе наши территории. Берия пообещал землякам решить этот вопрос, и он его решил. Грузины же были у власти...

Так это или нет – неизвестно, но по факту значительные части территории Чечено-Ингушской АССР отошли соседней Грузии вместе с пограничными районами, из-за которых их предки спорили веками.

Трудно обвинить в пособничестве оккупантам целый народ, если оккупации в Чечне не было. Поэтому в рапортах НКВД появилась антисоветская организация «Объединенная партия кавказских братьев» Хасана Исраилова, которая сотрудничала с немецкими диверсантами. Хотя, как говорили, связные этой организации являлись сплошь агентами НКВД, а сама организация находилась под полным контролем этого ведомства.

С народом, как и с отдельным человеком: захочешь видеть только плохое – найдется это плохое. Были ли случаи дезертирства или неявки на мобилизационные пункты? Конечно, были. Как и по всему региону. И антисоветские настроения тоже имелись: чеченцы, как и многие другие, не признавали коллективизацию. Некоторые историки говорили о преднамеренной оперативной игре чекистов. Широко известен случай, когда в августе 1942 года бандформирование Шерипова захватило село Химой. По слухам, село захватили по согласованию с начальником по борьбе с бандитизмом республики И. Алиевым. Так это было или нет, уже не узнать, но факт в том, что перед нападением отряд НКВД из этого села был выведен. Наверх пошли доклады. Отряд Шерипова насчитывал всего 125 человек, их разгромили чуть позже под Итум-Кали, но впечатление создалось, что вся республика охвачена восстанием.

То же самое происходило и с изъятием оружия у местного населения. По рассказам местных, вызывали какого-нибудь человека в районное отделение НКВД. Предлагали:

- Сдай оружие.
- Нет у меня, – отвечал человек.

Его били и увещевали:

- Сдай.

Потом брали в заложники родственников. Объясняли:

– Если сдашь добровольно – отпустим. Если нет... – сам знаешь, что будет.

– Ну нету у меня, – молил человек.

– А у нас есть. Вот винтовка. Вот патроны. Купи и сдай.

Распоряжение это было или просто местный бизнес – уже не узнаешь, скорее всего, и то, и другое: интересы начальства и рядового состава совпадали. Одну и ту же винтовку продавали и сдавали сотни раз, в результате в Москву пошли цифры: конфисковано 20 000 единиц боевого оружия. «А сколько осталось на руках?» – изумились партийные вожди, которые по опыту раскулачивания в Гражданскую войну знали: на один найденный ствол – десять закопанных.

Решение в кремлевских кабинетах за высокими шторами было принято, начались действия. Операцией руководил лично Берия. Под предлогом учений в Чечню был введен усиленный воинский контингент, на 23 февраля в городах назначили митинги в честь Дня Красной армии. С митингов мужчины, те, кто пошел, уже не вернулись. Их окружали и вели на станции.

Старейшинам и духовным лидерам очень наглядно объясняли, что будет при сопротивлении. Мужчин собирали на путях, а по домам ходили солдаты, говорили детям, если те остались дома одни: «Ваши родители уезжают, возьмите с собой какие-нибудь вещи и пошли с нами». В результате детей и родителей сажали в разные вагоны или эшелоны.

В селах – просто блокировали населенный пункт и давали пару часов на сборы, говоря при этом, чтобы взяли с собой продуктов на месяц. Или ничего не объясняли – зависело от солдат. Кто-то наслаждался своей

властью, а кто-то, наоборот, морщился и отводил глаза, чтобы товарищи не заметили в них сострадания, когда из дома за руки и за ноги выносили парализованного старика, или при виде несчастной матери, которая не могла даже взять с собой узелок с вареной кукурузой, – на руках грудной ребенок и еще трое-четверо держатся за юбку, плача навзрыд.

– Козы мои, козы... Как мы без них? – кричала растрепанная пожилая женщина в спадающем с головы платке.

И вместо ответа кто-нибудь из солдат молча лязгал затвором ППШ – грохотал автомат, летели щепки от досок загона, и белые козы, ставшие красными от крови, через секунду, дергаясь, лежали одна на другой, и спрашивать про них больше смысла не было. Не обошлось и без расстрелов людей. И без горящих аулов в горах.

Власти заранее приготовили 180 эшелонов. В последнем эшелоне, составленном из пассажирских вагонов, были отправлены бывшие руководители республики и религиозные лидеры, которых использовали, чтобы уговорить народ не сопротивляться. Уезжая последними, они имели возможность посмотреть в окна на остающийся в прошлом родной край. Как и плачущему пророку Иеремии, жившему много веков назад, им пришлось уговаривать народ бросить свои дома и могилы предков.

Остальные не имели возможности попрощаться взглядом с родной землей. Товарные вагоны имели только окна-отдушины. В них набивали по пятьдесят человек, а иногда, в суете и неразберихе, и по сто, тогда ехать

можно было только стоя, лояв ртом одновременно спертый и холодный воздух. Как рассказывал один из пассажиров такого вагона, чеченские женщины, не забывшие, что такое стыд, не могли сходить в туалет в таком скопище чужих людей и умирали от разрыва мочевого пузыря.

От стресса у одной молодой женщины с грудным младенцем пропало молоко, муж находился рядом, но ничего не мог сделать. Нашли немного сахара, разболтали с водой, но ребенок непрерывно плакал, доводя до иступления людей, которые находились рядом, и через два дня умер от голода на руках матери. С матерью что-то произошло, она не хотела отдавать его из вагона, продолжая качать его на руках, ей постоянно казалось, что младенец дернул ресничками, приоткрыл губы, что он живой, просто крепко заснул от непрерывного плача. Даже муж не смог ей объяснить, она так и ехала с мертвым младенцем на руках, пытаясь накормить его пустой грудью.

По вагонам пошел тиф, больных выгружали на остановках вместе с мертвыми. Шестилетняя девочка постоянно кашляла, соседи попросили забрать и ее. Девочку буквально вырвали из рук родителей и оставили на полотне путей, а эшелон с отцом и матерью поехал дальше. Девочка попала в детдом, ей дали другое имя и фамилию, и лишь через 47 лет постоянных поисков она нашла родителей, не помня их внешности, прислушиваясь к сердцу.

Как и с переселением немцев, в каждом вагоне происходили свои трагедии, но они были не видны для внешнего мира. Обычные на вид товарные вагоны

просто проезжали мимо какой-то станции, не привлекая взгляда. Ехало по путям горе, незаметное стране. Потом было подсчитано, что по пути и в первые годы депортации умерло около 100 000 выселяемых. В основном – старики и дети. Иногда умерших давали закопать в снег возле вагона, иногда нет – зависело от конвоя.

Через месяц пути один из эшелонов прибыл на станцию Джаркуль, откуда вайнахов развезли по разным селам района.

Прибывших в Березовку депортированных расселили в клуб. Пока чеченцы заселялись в клуб, столпившиеся местные видели такую картину.

Один из мальчишек начал танцевать невиданный никогда танец горцев. Ему было лет двенадцать, он танцевал в одиночестве, слушая ритм в своем сознании. Двигался, то ускоряясь по кругу, то останавливаясь на месте. Взрослые хмуро смотрели на него, а он, словно показывая всем, что нет такой беды, с которой он бы не справился, делал резкие движения руками и телом с гордым вызовом на поднятом вверх лице.

И казахи, живущие в глуши Степи, и немецкие поселенцы до этого ничего не знали о чеченцах, многие впервые слышали об этом народе. У вайнахов действует с древних времен мужской моральный кодекс. Он гласит: имей «Яхь», будь достойным и приличным, ты смертен, но физической смерти не бойся. Бойся жизни без «Яхь» и без веры, жизни без приличия и без достоинства. Путь к «Яхь» – это улыбка в бою, это начищенные до блеска ботинки, когда кругом грязь, это почтительное уважение к старшим, это месть за родную

кровь, неподдельное гостеприимство, память о своих предках до двенадцатого колена, это простота в еде и быту и лихой налет в меньшинстве на превосходящего противника. Особое состояние, включающее в себя и подвиг, и стойкость, дерзость, отвагу и честь, и еще что-то, понятное любому шестилетнему ребенку в самом отдаленном ауле. Готовность перетерпеть все, но не отступить.

Родители-чеченцы никогда не должны были наказывать своих сыновей силой, чтобы не превратить их в трусов, чтобы не помешать им найти свой путь к «Яхь».

В бескрайних степях Казахстана насильно соединили абсолютно разные народы. Поляков из Западной Беларуси, влюбленных в свою воображаемую, сказочную Польшу без немцев, евреев и русских, неприметных и трудолюбивых корейцев, чтущих учение Будды, прагматичных немцев, у которых в голове такой же порядок, как и в доме, – наследников крестоносцев, скрупулезных и бережливых, работающих с рассвета до заката, а вечером славящих Христа.

А теперь еще и ингушей с чеченцами, по легенде, полулюдей-полуволков, в далекой древности вышедших из урочища Нашха. И все это должно было вариться в одном котле вместе с русскими поселенцами первой волны и с коренными казахами-кочевниками – сынами Степи, в чем-то наивными, как дети природы, в чем-то мудрыми, как сама земля.

Пройдет немного времени, и дети немцев, русских, чеченцев, ингушей и казахов будут вместе бегать стайками по улицам, ловить в озерах карасей и собирать

в рощах костянику. Полуголые, одетые лишь в трусы, загорелые до черноты, бегающие босиком по обжигающей бархатной пыли, купающиеся в озере вместе с коровами, они будут дружить, драться между собой, играть в казахские и русские игры, не разделяя друг друга, как это делают политики.

И если бы кого-нибудь из этих детей потом спросили о детстве, они, забыв о постоянном чувстве голода, нищете и жизни во временках, ответили бы, что детство у них было замечательным. Потому что жили дружно, потому что знали, что такое справедливость, знали цену разломанного напополам куска хлеба.

Потому что делили мир не на богатых и бедных, мусульман и христиан, а на людей хороших и подлецов, причем подлецу очень быстро объясняли, кто он такой.

4

Декабрь 1947 года

Для Ольги это было обычное воскресенье. Не произошло такого, что она проснулась утром и, еще не открывая глаз, шепнула себе: «Сегодня моя судьба изменится».

Изменения приходят в нашу жизнь, часто ничем себя не предвещая. Лишь отматывая время назад, человек может сказать себе: тот день, или та встреча, или то решение стали судьбоносными. В воскресенье можно было бы и поспать подольше, но по утрам проходили молитвенные собрания. Не хотелось даже представлять

себе, что сейчас придется вставать с нагретой постели, покидать времянку, где божественным теплом греют бока глиняной печи, затем выходить на улицу и идти по скрипучему снегу через все село, прикрывая рукой щеки. На улице мороз за тридцать градусов, утонувшие в снегах плетни огородов, сугробы, с деревьев свисает белая мохнатая кисея. И полную тишину лишь изредка нарушает похожий на выстрел громкий звук – у какой-нибудь березы лопнула на морозе кора.

Церковь в Березовке строить, естественно, не разрешили. Собирались у кого-нибудь дома по очереди. Для детей двухчасовые собрания казались мукой.

– Мама, можно я сегодня не пойду на проповедь? – попробовал отвертеться десятилетний сын Марты Эдуард. Марта бесконечно любила своего единственного сына, но в вопросах порядка поблажек не давала.

– Что это значит? Позавтракал и снова в постель? Тебе лень за свою семью помолиться? Иди одеваться! Давай щеки платком повяжу. Мороз жжет...

Ушло в историю то время, когда общинами управляли собрания старейшин, когда за любой несоответствующий заповедям поступок могли выгнать из поселения. Две огромные войны, Гражданская и Отечественная, люди в военной форме с красными бантами на груди, агитаторы в потертых кожаных тулупах, коллективизация, тюремные камеры, где за имя Бога отбивали почки на заплывающем бетонном полу, дети-беспризорники, живущие милостыней в городах, потому что мама и папа умерли от голода, выселение, потеря семей – огромный комок лиха, проехавшийся,

как каток, по людям, смел, раздавил прежнюю религиозную жизнь, и сейчас казалось главным хотя бы просто сохранить для себя и детей знание, что Бог есть.

Именно для этого и собирались.

Раньше детей одевали нарядно. Сейчас – во что придется, перешивали одежду старших братьев и сестер. Казалось бы, война закончилась, жить должно стать легче. Рассказывали, что в большие города фронтовики эшелонами везли трофеи – из Германии, из Польши, из Манчжурии. Велосипеды, аккордеоны, кофточки и платья. Одна девушка из русских поселенцев, недавно побывавшая в Кустанае, захлеб рассказывала Ольге о привезенных из Европы белых кружевных сорочках, длина которых должна быть «по моде». «По моде» означало, что кружева сорочки должны были просматриваться во время ходьбы или танца. Длина юбки при этом оставалась чуть ниже икры, часть ноги открыта. Для выросшей в религиозной семье Ольги такая картина представлялась верхом неприличия.

До Березовки новые веяния не доходили. И уровень жизни почти не изменился. Наоборот, чувствовался какой-то спад. Набравшую мощь военную промышленность страны оказалось не так-то просто перестроить на выпуск гражданской продукции. Поэтому в городах появились артели, кооперативы. Но это в городах. А здесь мамы по-прежнему шили девочкам юбки из мешков и красили их чернилами.

На собрание шли всей семьей. Шарлотта, Марта с сыном Эдуардом, Лидия, которой исполнилось двадцать лет и которая превратилась в красивую тихую

девушку. Ольга шла рядом с Лидией. Недавно женскую тракторную бригаду расформировали: возвращались мужчины, и Ольгу перевели в доярки. Ей исполнилось двадцать два года. По вечерам в воскресные дни они с Лидией ходили на танцы – клуба в Березовке не было, собирались, как и на церковные собрания, у кого-нибудь дома, где позволяло место. Последней по обледенелой улице шла Каролина со своим закутанным в платки сыном Колькой, родившимся не по любви. Сейчас она работала счетоводом. После Шандецкого и рождения ребенка, после разных слухов по селу она стала закрытой, как темная вода, которая неизвестно что скрывает в своей глубине.

По двум сторонам улицы стояли саманные домики в шапках снега на камышовых крышах, дымились печами землянки. Чеченцы строили себе сакли, низкие, темные: они не старались разрастись хозяйством, как будто подчеркивая временность своего нахождения на чужой для себя земле. Кругом белый снег и тишина.

На молитву теперь собиралось человек двадцать, не больше. Многие перестали ходить. Пасторов не было, вели службы по очереди. На собрании кто-нибудь обязательно говорил: «А сейчас давайте помолимся о наших близких, разлученных с нами», – и все будут молиться, в уме называя имена.

Шарлотта будет называть имена сыновей и мужа. В этом году закончился срок его заключения. И представилось, что Генрих Кондратович сейчас идет по Степи, в заочневших руках самодельный фанерный чемоданчик, воротник старенького пальто белый от инея, в степи

сугробы по пояс и вокруг никого. Лишь в восьмидесятых годах придет бумага о его посмертной реабилитации. А до этого Шарлотта каждый день будет ждать его возвращения. Потом будут чтение Евангелия на немецком языке и традиционные песни хором. Под такие песни крестили Ольгу. В который раз ей вспомнятся цветы на воде, уносимые рекой в неведомую счастливую страну. Никуда они не уплыли, прибило их в заводь за ближайшей излучиной, и они там замерзли в вечном льду.

Так сейчас казалось Ольге.

Танцы начинались около девяти вечера, как стемнеет. Договаривались по очереди с теми, у кого дом был попросторней, и, как правило, с бездетными и малосемейными.

В красном углу сажали гармониста. В те времена на селе самыми завидными женихами были гармонист и киномеханик, популярные персоны, управляющие нехитрым деревенским досугом. В Березовке гармонистом-виртуозом был самоучка Толя Сычев. На слух он буквально за пять минут подбирал и выдавал абсолютно любую мелодию, знал около сотни старинных напевных русских, украинских и модных современных песен, играл все танцы от мазурки до чарльстона.

Правда, женихом Толя являлся незавидным. Его признали негодным к воинской службе по причине косоглазия, он любил хорошо поесть и крепко выпить, имел лишний вес и добродушно спокойный до флегматичности характер. Если по какой-то причине он не приходил, артачился, то парни скидывались на бутылку, сообщали ему о натуроплате любимым продуктом,

и он моментально появлялся с гармонью на груди, усаживался на табурет и, отбивая ногой такт, начинал с довоенного танго «В парке Чаир распускаются розы». При этом он склонял голову к гармонии и прикрывал глаза, словно с удивлением вслушивался в звуки, производимые им самим. Девушки, розовые от мороза и смущения, сняв полушубки, телогрейки и платки, прихорашиваясь, незаметно одергивая перешитые мамины платья из сундуков и комодов, по парам становились у стен.

– Оля, Лида, заходите, – позвала девушек Катя Приходько, подруга из семьи первых украинских переселенцев.

В большой по размеру комнате, из которой вынесли все лишнее, горели керосиновые лампы, пластами плавал табачный дым. Толя-гармонист по прозвищу Грай самозабвенно выводил танго «Утомленное солнце». Местные парни, в основном выросшие на глазах Ольги, небольшой группкой стояли в углу.

Сразу бросились в глаза два незнакомых молодых человека. Оба казахи – один громадного роста, с крепко посаженной на короткую шею крупной головой с короткой стрижкой. Пиджак трещал на широких плечах. Почти сразу стало видно, что он ходит, не сгибая колена. Второй ниже, среднего роста, одетый в пиджак и темную рубашку, застегнутую на верхнюю пуговицу. Наручные часы он почему-то надел поверх манжета рубашки. Полные губы, узкие, чуть припухшие глаза. Как-то сразу понималось, что эти двое в отличие от многих местных мужчин умели радоваться жизни: им были в радость и эти доморощенные танцы в глухом селе, и девушки, жмущиеся к стенам, и музыка гармонии.

– Тот высокий – Бахчан, он местный, у него здесь родители и младший брат Толеген, вы их знаете. Нога у него не сгибается после ранения. Второго не знаю, первый раз в Березовке, – шепотом рассказала Ольге подруга. – Вроде воевали вместе. У них в Доме инвалидов в Кустанае артель – обувь шьют. Привезли несколько пар мужских ботинок. Я отцу купила. В следующий раз обещали женские привезти. Я заказала на свой размер.

Этот второй Ольге сразу не понравился. Лицо какое-то дерзкое, смотрел на стоящих у стен девушек и парней пристально, исподлобья. Большие наручные часы напоказ на манжете... Она рассматривала его украдкой, но он, словно почувствовав взгляд девушки, повернулся и в упор посмотрел ей прямо в глаза. А затем направился прямо к ним с Лидией. Было заметно, что парень прихрамывает и опирается на трость.

– Я не танцую, – быстро сказала Ольга, когда он подошел. Хотя танцевать ей очень хотелось.

– Я тоже, – улыбнулся казах. – Просто вижу – красивая девушка. Давай познакомимся.

Последний раз посторонние люди называли Ольгу красивой в далеком детстве. И все равно парень ей не нравился. Наглый какой-то. И очень взрослый. Не по годам: по чему-то, скрытому внутри. Так ей показалось. В этот момент гармонист, притопнув ногой, заиграл «Рио-Риту». Несколько пар, держась за руки, вышли на середину комнаты. Казах не собирался отходить.

– Ольга, – томясь, представилась Ольга.

Внешне она походила на Каролину, но внутренне была похожа на Лидию – такая же скромная, стесни-

тельная. Боковым зрением она заметила, что многие на них смотрят.

– Какар, – назвал в ответ свое имя казах.

В этот момент Лидия сказала Ольге по-немецки, что они с Катей ненадолго отойдут. И лицо парня сразу изменилось. И без того жесткие черты лица заострились, глаза превратились в щелочки.

– Немка, что ли? – сквозь зубы протянул он.

Между ними словно сразу пролегла огромная война. Парень какое-то время постоял возле нее, словно собирался что-то сказать. Но не сказал. Повернулся и пошел. А Ольга осталась под любопытными взглядами других девушек.

– Ну что? Отшила? – ухмыльнулся Бахчан, когда Какар вернулся к другу.

– Она немка, – поморщился Какар.

Неизвестно почему вспомнился короткий бой в лесу в 42-м. Два немца тогда подняли руки, а Сивцов из роты Какара вскинул винтовку и, передергивая затвор, каждому из них, не спеша, как в тире, стрельнул в грудь. У одного из застреленных, кроме обычных трофеев, Сивцов нашел фотографию его девушки – белокурой улыбающейся немки с накрашенными губами. И по вечерам в блиндаже, рассматривая снимок, мечтал: «Сытая, ухоженная... Помадой мажется... Дойду до Берлина, обязательно ее найду. На конверте есть адрес... Буду делать с ней что хочу и шептать на ухо: “Это я, я твоего любимого убил...”»

Было в его фантазиях что-то темное. Ему хотелось отыграться на этой блондинке за свой постоянный страх, за высокомерное превосходство немцев, за то, что советские войска заваливали трупами леса и поля, но не могли взять даже передних траншей. За валяющихся в окопах под ногами мертвых товарищей, за повешенных на осинах русских женщин, за связного мальчишку-партизана, который попался фашистам и которому засунули камень в рот размером с кулак. Проглотить его он не мог – слишком большой, и вытащить тоже не мог. Задохнулся мальчишка, и было видно, как он страдал перед смертью, разрывая себе рот руками.

Эта немка с фотографии стала визуализированным образом ненависти, частью жизни врага, интимной частью, куда Сивцову хотелось добраться. Трудно сказать, что с ним стало дальше. Какара ранили, после перевели в другую часть, их разбитую армию расформировали. Может, и дошел Сивцов до Берлина, может, и нашел эту немку, только она была уже другой – высохшей, бледной, живущей на лепешках из брюквы, пропахшей дымом горящих домов, вздрагивающей от танковых выстрелов, несчастной и запуганной, как мышь. И наслаждения от мести не получилось.

– Помнишь Сивцова? Из третьего взвода. Осень 42-го. Здоровый такой мужик, все о немке мечтал... – спросил друга Какар.

– Нет, – Бахчан поворачивал свою круглую голову, рассматривая девушек. – А чего ты его вспомнил? Смотри, сколько здесь красавиц без мужчин. Забудь ты о войне...

Какар и сам бы не смог сказать, почему это всплыло в памяти. Если специально вспоминать, в жизнь бы не вспомнил. Воспоминание пришло не мыслями, а объемной картинкой. Осень, мелкий дождь, в окопах грязная вода, убитые, озвученные мечты Сивцова и ходящая по рукам фотография. И все это из-за одного немецкого слова, сказанного девушкой.

– Немка... – бормотал про себя Какар, но взглядом весь вечер все равно возвращался к Ольге, простоявшей все танго и вальсы возле стены.

Каждые три-четыре мелодии Толя Грай делал пятиминутный перерыв, которого хватало на то, чтобы выйти в сени, достать припрятанную поллитровку и выпить ровно три глотка живительного натурпродукта. Крякнув и утершись рукавом кофты, возвращался в залу, закуривал папироску, обводил своим фирменным взглядом собравшихся и объявлял:

– А сейчас танго. Дамы приглашают кавалеров и подруг.

Это был ясный предлог показать свои предпочтения и симпатии, но молодежь в основном проявляла стеснение и робость, смелых дам пригласить кавалера не находилось.

Когда танцы закончились, когда Ольга и Лидия шли по морозу домой, Лидия сказала сестре:

– Этот казах... Ты так на него смотрела!..

Вот уж чего Ольга не ожидала. Ей казалось, что она и не взглянула в его сторону. Она попыталась объяс-

нить младшей сестре, что он ей не понравился вовсе, но Лидия только улыбалась.

– Представляю, что бы мама сказала, если бы ты его к нам в дом привела, – веселилась сестра.

– Выгнала бы меня вместе с ним... «Ольга! Он же чужой, другой веры! Жди наших молодых людей, они скоро вернутся домой», – подражая голосу Шарлотты, подхватила Ольга.

Стояла ночь, хрустел снег под ногами, село спало, в чьем-то дворе лаяла собака. Позади раздавались звуки гармони, подвыпивший Толя пытался играть по пути домой, но пальцы на морозе слушались плохо, мелодия оборвалась...

«Имя какое – Какар... – под скрип шагов думала Ольга. – Если он придет в следующее воскресенье, на танцы не пойду». И одновременно: «У Марты есть красивое платье. Вот бы его выпросить, вот бы перешить...»

Анхель Альбертович сказал в эшелоне: «Даже в большой беде: в голоде, в нищете – молодость все равно найдет свою радость». Землянки, сакли, надзор, трудодни, мытье летом в озере – это обертка, а внутри кипит жизнь: первые признания в любви, клятвы верности, радость при пробуждении, что у тебя впереди новые встречи.

«Все, что не смерть, есть жизнь», – понял на войне Какар. И поселенцы это тоже понимали.

5

Специализированного Дома инвалидов в Кустанае не имелось. Покалеченных войной фронтовиков,

у которых не было семей, расселили от военкомата по нескольким общежитиям. Со временем наиболее проблемных инвалидов за пьянки, драки или просто за непокорный характер начали переводить в дома закрытого типа, откуда уже никто не возвращался.

Закрывалась за спиной железная, выкрашенная в зеленый цвет дверь, ведущая внутрь неприметного здания, и только по утрам возле входа можно было увидеть машину, из которой выгружали бидоны с супом, а в окнах иногда виднелись небритые лица, смотрящие на улицу через решетку.

Их словно заживо похоронили, они перестали существовать для внешнего мира.

Общежитие, в котором проживали Бахчан и Какар, располагалось возле Центрального парка. Зимой в парке как в сказке. Деревья стоят в белой кисее, на скамеечках шапки снега, на замерших в безмолвии аллеях ни следа. Ракушка эстрады на танцплощадке в сугробах, вокруг тишина, и ночью кажется, что в морозном воздухе звучат оставшиеся с лета неуловимые звуки вальса. Кустанай чем-то напоминал города Малороссии. При Столыпине сюда поехали украинцы, они составили большую часть населения города. Переселенцев ехало много – десятина земли (чуть больше гектара) стоила 30 копеек.

Областной городок с несколькими заводами, железнодорожным вокзалом с веткой на Челябинск и старинными купеческими домами в центре. Одно- и двухэтажные дома, где первый этаж часто оставался кирпичным, а второй деревянным, стояли на большом расстоянии друг от друга: постоянные ветра из Степи

легко разносили пожары. Красивые каменные дома наиболее именитых купцов занимали центральную улицу, уходящую к покрытым снегами лугам Тобола.

На центральной улице выделялось двухэтажное здание из красного кирпича. Когда-то оно принадлежало именитому виноторговцу. Позже это здание получило название «Народный дом». В революцию здесь соби­рался штаб сопротивления, располагалось местное ЧК, а при взятии города войсками Колчака в доме работала следственная комиссия белогвардейцев. И при ЧК, и при Колчаке это здание воспринималось как какая-то воронка в другое измерение, людей в него заводили, но назад они никогда не возвращались. Красная стена, выходящая во двор, была испещрена следами от пуль.

Работники Народного дома рассказывали, что по вечерам по зданию ходят призраки расстрелянных и их палачи, в коридорах явственно слышатся возня, шепот и стоны...

Сам Какар раньше в Кустанае был всего один раз, когда их привезли из Семиозерного в областной военкомат. Отсюда в 41-м они с Бахчаном уходили на фронт. Когда приехал сюда из госпиталя Житомира, ему казалось, что он почти дома. Зимой в Кустанае дуют ветра со стороны родного Тургайского края, и Какару чудилось, что ветер приносит в город запахи его детства: кизячного дыма затерянных в Степи аулов, запаха крови забиваемого скота, сухой травы, испеченных лепешек. Он представлял, как ветер по пути пролетает над пустым урочищем Кен-Табан, над могилами предков, над разрушенным мавзолеем дедушки Молдрахмета, молитвами которого он жив, над брошенными

юртами, когда-то белыми, а сейчас темнеющими деревянными скелетами каркасов с ободранным войлоком. Тургайская столовая страна, край детства – счастливое и страшного...

В артели его приняли как брата. Бахчан, представляя его, произнес:

– Вот он, Какар, о котором я рассказывал. 3-й Белорусский фронт, полковая разведка. Детдомовец. Он меня под Ржевом спас, на себе вынес...

Общежитие для инвалидов – десяток коек и ручной мойки. Режим свободный, даже вахтера нет. Дали койку, показали, где примус и сковорода. Руководителю артели из гражданских пришло предписание из военкомата – принять в штат.

– Да нет места. Поймите вы, у нас и так по бумагам лишние – попытался объяснить артельщикам руководитель. – Любая проверка, и мне следователи мигом лапти вологодские сплетут.

– Этот – наш. Прими официально, – убедительно повторили инвалиды.

Невысокий круглолицый хозяйственник в пальто с каракулевым воротником явно побаивался своих работников: циничных, небритых фронтовиков с папиросками в зубах. По их мнению, он для них никто – тыловая крыса: отсиделся, пока им руки и ноги в госпиталях отрезали. От таких можно и костылем по башке, и ножом в бок получить... Поэтому долго спорить он не стал. У него хватало ума не спрашивать, зачем им лишние рты.

В артели общий заработок делился по равным паям: брать кого-то означало уменьшать свою зарплату. На тот момент в артели работало около двадцати человек со второй группой инвалидности: у кого-то не было руки, ноги, глаза или голова тряслась от контузий. Но были еще трое с первой группой: двое полностью слепых и один паренек с тяжелым пулевым ранением головы. Они не работали, но числились в артели, получая полную долю, и кормили их, как себя.

Русский паренек с ранением головы не мог говорить, ходил, держась за стену, но все понимал, разговаривая глазами. Голова в шрамах после трепанации. При приступах его выкручивало на кровати. Из госпиталя в Саратове его забрала мать и привезла домой в Кустанай. А через пару месяцев она умерла. Больше у парня никого не было. В двадцать четыре года он остался в тюрьме своего тела, имея в этом мире лишь кровать в общежитии, заботу фронтовых друзей да орден Красной Звезды на парадной гимнастерке, которая лежала в вещмешке.

Хозяйственник понимал, спроси он инвалидов: «Зачем он вам?», ему объяснят это очень веско.

Так Какар стал работать в швейном цеху. Еще осенью 1941 года из Херсона в Кустанай эвакуировали швейную фабрику «Большевичка». Навезли станков, запустили цеха, шили солдатские телогрейки и гимнастерки. В конце войны, когда заказы стали сокращаться, несколько швейных машинок и оверлоков по обращению военкомата передали артели инвалидов.

Шили артельщики спецодежду для трактористов, шапки и обувь. Платили копейки, но сам доступ

к промышленным швейным машинам покрывал все с лихвой: в стране царил дефицит на любые товары. Битые жизнью, ушлые инвалиды договорились с предприимчивыми людьми, эти люди доставали сатин, байку и бязь, даже когда фабрика простаивала из-за отсутствия материала.

Покупали у степняков шкурки сурка, шили из желтоватого меха шапки. За копейки покупали шкурки степной лисы. В общем, место в артели очень ценилось.

Деньги водились, поэтому по вечерам в комнате общежития выпивали. В будние дни немного, в субботу основательно. Подносили стакан и слепым, только парнишке с ранением головы не давали. Нельзя ему было, сразу начинался приступ: корчился на кровати, зажимал голову руками и пена изо рта... Один из слепых, одноногий, невысокий лейтенант из самоходчиков, выпивал водку, замирал, словно прислушивался, как она там проходит, а потом тихо говорил: «Спасибо вам, братцы». Он повторял это постоянно, особенно когда ему начисляли зарплату, деньги он просил отправлять своей бывшей жене и детям, живущим где-то в бараке на окраине города. Жена с ним развелась, но он все равно отправлял ей часть зарплаты и пенсию.

Здесь у каждого была своя история, своя беда, которую не перескажешь словами. Словами можно только написать биографию: «Участвовал в боях, был ранен», но за ними оставался целый океан переживаний – бессонные ночи, вселенское одиночество перед атакой, ощущение себя как песчинки, страх, жалость к себе, боль на операционном столе, несогласие с судьбой

и крики, которые так и не вышли наружу, оставшись внутри.

Сколько людей опалила эта война! Какару вспомнился внутренний дворик областного военкомата Кустаная. Стоял июль, пыль, жара, несколько сотен призывников из разных аулов, многие из которых не понимали ни слова по-русски. Совсем взрослые и юные, безусые, в остроконечных шапках и праздничных чапанах, собранные матерями, в первый раз увидевшие каменные дома. Впереди их ждали маршевые роты: 312-я дивизия, 314-я дивизия Панфилова – и зимние леса под Москвой. Почти все они там и легли, от многих даже тел не осталось, лишь похоронки родным на плохой бумаге как память, что такой-то жил на свете...

Казахстан с лихвой принес жертву этой войне. И не только мужчинами... Многие в этих местах до революции знали семью Мамановых: богатая была семья, строила школы для бедных. При советской власти Мамановых раскулачили, главу семьи вместе с маленькой дочерью отправили в ссылку в Оренбург. Позже отец умер, а девочка по имени Халида закончила медицинский институт. Когда началась война, поехала на фронт, но как дочь врага народа попала не врачом в госпиталь, а рабочей в похоронную команду. Ей доверили лишь закапывать трупы.

И тогда она написала письмо лично Сталину: «Прошу отправить меня в штрафбат». И ее действительно направили в штрафную роту, в Сталинград. Она осталась единственной женщиной, добровольно воевавшей вместе со штрафниками.

Фронтовики знали, что за словами «штрафной батальон» стоит верная смерть, которую еще надо заслужить, как милость...

Как-то в Литве, в сыром весеннем лесу, разведгруппа Какара готовилась на выход. Проверяли оружие, набивали подсумки и карманы патронами, писали на коленке письма домой. Техники в лес нагнали немерено: готовилось большое наступление. Было раннее утро, экипажи в танках спали. Разведчики еще собирались, как к лесу подъехала колонна машин с боеприпасом. По броне танка, что стоял рядом, постучали прикладом, мол, вылезайте грузиться.

Люк механика открылся, и вдруг – у Какара даже глаза округлились – из танка в черном комбинезоне, в куртке-танкетке вылезла молодая заспанная девушка, по виду казашка. Она была без шлемофона, черные, как вороново крыло, густые волосы собраны в пучок на заколке. А следом за ней из люка башни вылезли и остальные трое из экипажа – тоже черноволосые молодые девушки, в одинаковой форме и на одно лиц, то есть весь экипаж боевого танка – его землячки, казашки!

«Приехал, – подумал Какар. – Это от контузии». Но рядом кто-то выдохнул:

– Ух ты...

И разведчик понял, что это ему не привиделось.

– Салем, кыздар (рус. Здравствуйте, девушки), – только и смог сказать изумленный Какар.

Одна из девушек, очевидно, командир экипажа, взглянула на разведчика, кивнула и молча пошла разби-

ратся с погрузкой боезапаса. Она привыкла и к удивлению, и к вниманию. А механик, более молодая, чем другие, улыбнулась задорно, глаза блеснули, и по-казахски, почтительно поздоровавшись, спросила Какара:

– Откуда ты, земляк?

Это был знаменитый экипаж Жамал Байтасовой из Карагандинской области. Женщины-танкистки в войсках встречались крайне редко, как чудо, но встречались. А тут полный экипаж. Он оставался единственным в армии. И создан был не для фотографий, не для воодушевляющих статей в фронтовых многотиражах, а как реальная боевая единица, участвующая во всех боях танкового корпуса. На комбинезоне у девушки-механика виднелась медаль «За отвагу».

Ее звали Кульжамия, красивая, ямочки на щеках от улыбки. Это была одна из тех встреч, которые запоминаешь на всю жизнь, и при воспоминаниях возвращается волнительное чувство. Они с Какаром захлеб говорили на родном языке и не могли наговориться, разведчик и танкистка, земляки и фронтовые братья, молодой парень и девушка, волей случая встретившиеся в мокром весеннем лесу. Какара позвали, группе пора было выходить, а он не видел ничего, кроме лица этой девушки, ее веселых глаз. Перед прощанием, спеша, он взял адрес ее полевой почты, пообещав написать завтра же, когда вернется из рейда. И весь путь до нейтралки повторял и повторял цифры полевой почты, вырубая, словно топором, их в памяти навсегда, не доверяя бумаге.

Потом началось наступление, войска вошли в прорыв, группу Какара мотали по всему участку, дни

и ночи смешались в голове, он написал письмо только через неделю, когда они встали в каком-то городке с красными черепичными крышами и полевая почта наладила свою работу вместе с другими тыловыми службами. Ответа начал ждать уже на следующий день, хотя понимал, что это невозможно. Корил себя, что написал не так и не о том, что надо было по-другому, что он не нашел тогда нужных, правильных слов, а сейчас они появились, но поздно.

Прошел день, два, неделя, а ответа все не было. Убеждал себя, понимая – не ответит она: не то написал, да и кто он такой – не офицер, а простой солдат-земляк. А потом письмо вернулось к нему невскрытым. С пометкой «Адресат выбыл». Он понимал, что это значит, но не хотел верить. И лишь затем достоверно узнал, что девушка погибла в тот же день, когда он с ней разговаривал, в том наступлении, начатом с поля за сырым лесом. Сгорели четыре девчонки в танке – и гордая командир экипажа, и его знакомая Кульжамиля с ямочками на щеках. Все, одни головешки остались, и некому больше написать те найденные правильные слова...

Никому из артели Какар этой истории не рассказывал. Здесь у каждого были свои истории.

Через пару недель после поездки в Березовку Какар спросил Бахчана:

– Может, съездим на выходные на твою родину?

– Зачем? – удивился друг. – Транспорта нет, целый день туда на попутках добираться. И день обратно. Да и сам знаешь, как зимой попутку поймать... Надо на длинные выходные туда ехать. Давай на майские праздники?

Всю следующую неделю Какар работал, как обычно, шил вместе с другими спецодежду по заказу фабрики, а шапки из меха лисы и сурка налево. А рано утром в воскресенье засобирался. За окном было еще темно, пришлось включить в комнате свет.

– Ты куда, брат? – не понял только что проснувшийся Бахчан.

Остальные инвалиды еще спали, лишь раненый в голову парень лежал с открытыми глазами.

– Надоело в общежитии сидеть. В Березовку съезжу. У нас же там заказывали ботинки... Две пары уже готовы. Продам, лишняя копейка не помешает, – стараясь не смотреть на друга, ответил Какар.

Бахчан приподнялся в кровати. Такое объяснение его ничуть не устроило. Как в ускоренной киноленте, он промотал в памяти их недавнюю совместную поездку в Березовку и широко заулыбался, когда понял:

– А-а-а-а! Немка! К этой немке хочешь съездить?

При слове «немка» раненый в голову парень перевел взгляд на Какара. А инвалиды, как по тревоге, попрыскались, заворочались, кто-то, не успев открыть глаза, пошарив руками на тумбочке, первым делом сунул в рот папиросу. Бахчан уставился на друга с нескрываемым удивлением. Но Какар ничего не ответил. Сказал только:

– Если в понедельник опоздаю на работу, прикрой меня, ладно? – накинул на плечи вещмешок, подмигнул раненому парню и вышел за дверь.

Уже через три часа он стоял на станции Джаркуль в поселке Федоровка, удачно поймав машину на выезд-

де из Кустаная. Трасса на Троицк – Челябинск всегда оживленная. Но дальше стало сложнее. От Федоровки на Украинку шла плохо расчищенная дорога, по которой практически не было движения.

Деревья лесополосы вдоль дороги стояли в шапках снега, ветра пока не было, природа словно замерла под голубым замерзшим небом. Какар был одет в полушубок, на руках варежки, под ботинком здоровой ноги двое шерстяных носков, но ему казалось, что даже несуществующая ступня заледенела. Он пританцовывал на обочине, закрывал лицо руками и дышал, чтобы не отморозить щеки, а машин все не было. Пустая оставалась дорога. Спрашивал себя: зима, воскресный день, на что он надеялся? Но когда совсем отчаялся, на дороге в сторону Украинки показалась полуторка. Обдавая его снежной пылью, грузовик остановился.

– Куда тебе, земляк? – открыл дверь заросший щетиной водитель.

– В Березовку.

– В Березовку не еду. В Украинку. Могу довезти до поворота.

– Хорошо. Спасибо. Я там пешком. Двенадцать километров всего, – закинул в кабину вещмешок и, ухватившись рукой за поручень, рывком поднимая тело в кабину, поблагодарил Какар.

Водитель уже заметил, с каким трудом он поднимался, и понял, что перед ним инвалид, но ничего не сказал. Трость Какар поставил между ног.

– Сам из Березовки? – попытался завести разговор водитель.

– Нет. Сейчас живу в Кустанае. А сам из Тургая.

– Из Тургая? Ого... Вozил как-то туда груз – дикие места. На родину возвращаться не думаешь? – водитель бросал на Какара быстрые взгляды, одновременно наблюдая за дорогой.

– Когда-нибудь вернусь, – коротко ответил Какар.

Грузовик подкидывало на ухабах дороги, покрытой спрессованным снегом. Печки в тесной кабине не имелось, в машине оставалось ненамного теплей, чем на улице. От дыхания шел пар, боковые стекла покрыты инеем. В лобовом стекле виднелась прямая белая дорога – и дальше Степь. Изредка попадались заросли кустов, окружавших какое-нибудь замерзшее озеро.

– Повезло тебе, что мне в Украинку надо. В эту сторону почти никто не ездит, – водителю явно было скучно, его не устраивали скудные ответы попутчика. – А зачем тебе в Березовку?

«Действительно, зачем?..» – подумал Какар. Он и сам не смог бы ответить себе на этот вопрос. Запала эта немка в душу, запал ее взгляд. Чем-то она напомнила ему девушку-танкистку по имени Кульжамия, хотя они и были совершенно разными. Но было что-то общее в их взгляде. И Какар не хотел потом жалеть, что прошел мимо. Было что-то еще: может, смутная жалость к девушке, простаивающей все танцы в одиночестве у стены, а может, неосознанный вызов миру, самой сути войны – он и немка... Причины, по которым он направился в Березовку, оставались несформированными, не выраженными в мыслях; он ехал, просто от-

зываясь на неосознанный зов, свой, девушки или судьбы – Какар пока не знал.

– Зачем в Березовку? – спустя паузу, улыбнувшись, повторил он вопрос водителя. – На танцы, брат.

И небритый водитель с удивлением бросил взгляд на попутчика, явно бывшего фронтовика, едущего на танцы из областного города в глухое, заметенное снегами село, затерянное в Степи, с инвалидной тростью. И громко расхохотался. Они разговорились, водила, оказалось, тоже прошел, вернее проехал, всю войну на таких же полуторках, оказался понятливым и чтущим законы боевого братства, не высадил Какара на повороте, подбросил до самой Березовки. Несколько километров по снегу на протезе дались бы инвалиду нелегко. Мало того, оказалось, что водитель на следующий день будет возвращаться рейсом в Федоровку и может забрать Какара обратно. От Федоровки до Кустаная в шесть утра начинали ходить автобусы, можно было добраться и на товарняке.

Какар дождался воскресного вечера в гостях у родных Бахчана и без труда отыскал очередной дом, где проводились танцы в этот раз. Внешне ничего не изменилось. Девушки по парам, парни кучкой, папиросный дым, сидящий в красном углу на табурете виртуоз-гармонист Толя Грай. И та немка, стоящая с сестрой и подругами возле стены. Она посмотрела на Какара с явным испугом, когда он появился в комнате. Увидев новичка, гармонист кивнул ему, как старому знакомому. Все его разглядывали. Для местных оставалось непонятным, почему этот малознакомый казах приехал сюда один, без Бахчана.

Чувствуя себя совершенно нелепо, Какар направился к парням и поздоровался с теми, кого ему представили в прошлый приезд. Он видел, как немка смотрит на него, но стоило им встретиться взглядами, как она тут же отвела взгляд в сторону и напряглась. Одета в старенькое серое платье с пузырьчатыми рукавами. Она показалась Какару какой-то другой, чем в прошлый раз, не хватало чего-то волнительного, того, что не давало ему покоя последние три недели.

Ольга еще что-то говорила стоящей рядом сестре, как вдруг увидела, что Какар направляется прямо к ней. Осеклась на полуслове, ее зрачки расширились. Какару показалось, что она начала сжиматься по мере его приближения.

– Я не умею танцевать, – произнес он, подойдя к девушке. – У меня вместо ступни протез. Если тебя дружба с инвалидом не устраивает – я пойму. Но если тебе это нормально – давай пойдем погуляем. А то все смотрят: скоро дыры глазами прожгут...

Сколько Ольга представляла себе эту встречу, в мыслях отвечая ему «нет». Ей хотелось сказать, что он ей совершенно не нравится, что она надеялась, что он больше никогда не приедет в Березовку, и вообще – что он о себе возомнил? А сама молча кивнула головой, стараясь не смотреть на сестру Лидию. И тут еще гармонист Толя, закончив играть очередной вальс, пробежался пальцами по клавишам гармони, выждал паузу и звучным голосом сельского конференсье объявил:

– Для гостя из самого Кустаная, фронтовика и друга нашего односельчанина Бахчана звучит эта мелодия...

Залу наполнили звуки «Тихо вьется в печурке огонь...». Как будто знал, что это самая любимая песня фронтовиков и самого Какара. Играл Толя действительно великолепно. Казалось, вместе со звуками из гармонии выходит и негромкий голос Бернеса: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...» И хоть на Какара и Ольгу смотрели буквально все, ему почему-то стало легче. Они вышли на улицу.

В небе светила полная луна, мерцали звезды. Кое-где в окнах домов горели огоньки керосиновых ламп. Голоса и звуки гармонии остались за закрытой дверью дома, на улице царила полная тишина, нарушаемая лишь скрипом снега под ногами.

– Знаешь, почему я к тебе поехал? – как-то очень просто спросил Ольгу Какар. – Не захотел ждать. Жизнь – она такая... Бахчан сказал: «Поедем сюда весной», а за это время тебя могут куда-нибудь отправить. Или замуж выйдешь... Зачем потом жалеть, хранить в себе несбывшееся?

С ним оказалось легко, как будто они были давно знакомы. Какар еще что-то говорил, Ольга его внимательно и зачарованно слушала. Они не заметили, как дошли до окраины села. Здесь в основном располагались саманные домики казахов. Месяц освещал крыши домов в шапках снега. Мороз щипал щеки. Ольге хотелось замотаться платком потуже, но тогда она бы плохо слышала Какара. Они шли совсем рядом, соприкасаясь плечами. Он был старше ее всего на пару лет, но ей казалось, что он очень взрослый, такой, как ее учитель Балмукан.



Село засыпало, гасли огоньки керосиновых ламп в низких окнах. Расчищенная от снега дорожка на улице едва просматривалась в свете месяца. Надо было идти домой, мать от Лидии, конечно, узнала, что Ольга гуляет по селу с незнакомым казахом. А Какар все говорил, и так интересно, словно он привез с собой кусок большого мира, непохожего на застывший мирок их села.

– А люди нам говорили, что надо бояться тех, кто пришел с войны, – совершенно невпопад произнесла Ольга.

– Вы до высылки сюда где жили? – словно не слышав ее, поинтересовался Какар.

– На Донбассе. В Доброполье. Это недалеко от Ровеньков. Там, где Миллерово, Лозовое, – девушка вплотную прижалась к его плечу, потому что расчищенная дорожка стала совсем узкой.

Второй раз за последний год Какару напомнили эти названия. Вначале та женщина на вокзале в Житомире, теперь Ольга. Тогда, в Ворошиловоградской операции, они прошли по всему северному Донбассу почти до Запорожья, побывав в десятках сел, и наверное, кого-то еще спасали, но его память возвращала именно в те места, где ранним февральским утром они со старшиной наблюдали в бинокль, как людей гнали в церковь. «Значит – судьба?» – спросил себя Какар.

Он проводил Ольгу до дома. Близко не подходили, Ольга знала, что мать смотрит в окно.

– А как же ты доберешься в Кустанай посреди ночи? – тихо спросила она, когда при прощании лицо Какара оказалось совсем рядом.

– За меня не беспокойся, – Какар на секунду замаялся. – Я хочу тебе сказать... Ты мне очень нравишься. Бахчан собирается сюда в мае. Если ты будешь меня ждать, я приеду с ним. И наверное, останусь здесь. Деньги у меня есть, куплю какую-нибудь временку. Если не будешь – мне здесь делать нечего. Сразу скажи – приезжать мне или нет?

– Приезжай. Я буду ждать, – очень серьезно ответила Ольга.

Утром, дождавшись на окраине Березовки знакомую полуторку, замерзший Какар поздоровался и залез в кабину. Лицо его словно намокло, таял иней с ресниц и бровей. Ноги совсем не слушались, здоровая нога ощущалась как деревянная. Сняв заледеневшие варежки, он дул на пальцы. Фары грузовика выхватывали из темноты колею проселочной дороги, подпрыгивали на кочках вверх, освещая возникающие, словно ниоткуда, темные силуэты деревьев у дороги.

– Ну что, не зря съездил? – только и спросил водитель.

– Да. Точно не зря.

Мысли в голове путались. Тут было и «Что фронтовики скажут, что связался с немкой?». И лицо Ольги. И почему-то воспоминания о санитарном поезде, когда его, только что потерявшего ногу, везли в тыл. Там он хотел жить. И вот она – жизнь. Не вечно же вариться в среде фронтовиков, постоянно возвращаясь в прошлое. Свой дом, семья – никогда у него этого не было, кроме полузабытого глубокого детства. Это и есть жизнь – ее росток,

а пить по вечерам водку в общежитии и ходить во сне в атаки и разведку – это доживание. Свой дом, своя семья, свои дети – не этого ли он искал всю жизнь? И хорошо, что Ольга немка, – назло всей войне.

Все. Дальше будет только та жизнь, о которой мечтал. Которую отвоевал у смерти. И он впервые после фронта про себя помолился:

– Жаугашты. Оразбай. Отебай...

В детдоме Какару говорили, что Бога нет. Он забыл там все молитвы, которым учат мальчишек в казахских семьях с ранних лет. Вместо этого – он сам не знал, как так получилось – в трудные минуты он повторял, как заклинание, как оберег, вызубренную наизусть свою «жети ата» (рус. семь предков, семь отцов) – родословную до седьмого колена, которую обязан знать любой казах:

– Жаугашты. Оразбай. Отебай. Байти. Есенбай. Кыдырали. Молдрахмет.

И на фронте, под бомбежками, при штурмах и в отступлениях, когда тащил на себе Бахчана и когда тащили его самого, он повторял эти имена, как молитву, снова и снова:

– Жаугашты. Оразбай. Отебай...

И мечтал под косыми дождями, в снегах и под палящим солнцем, что когда-нибудь его сын, а за ним и его сын будут повторять эти имена, называя и имя Какар.

И до Тургая он обязательно когда-нибудь доберется, до их урочища, где до сих пор стоят брошенные юрты,

а в них истлевшие ковры и подушки, и где, как ему казалось в детдоме, до сих пор спит в свадебном наряде его мама.

Все повидавший и понявший состояние Какара шофер молча потягивал закушенную в углу рта беломорину. За замерзшим боковым стеклом простиралась невидимая Степь.

До сих пор непокоренная, равнодушная к попыткам ее покорить, живущая своей жизнью, как океан, не замечая копошения людей. Какар не знал, да и никто не знал, что пройдет несколько лет и Великая Степь, от здешних мест до гибельных Тургайских просторов, станет центром притяжения тысяч и тысяч людей со всех концов страны.

Шарлотта тоже ничего не будет знать, пока как-то на рассвете, выйдя в огород, услышав незнакомый гул, не разогнется и с изумлением не увидит бесконечные, пылящие по дороге колонны из новеньких тракторов и комбайнов, выгруженных с платформ на станции Джаркуль. Степь снова начнут покорять – с невиданным никогда раньше размахом.



Часть третья

Целина. Исход

Глава 8

1

Село Березовка, Казахстан, 1954–1960 годы

На этот раз Степь собрались покорять всем огромным Советским Союзом.

Это была по сути четвертая попытка изменить Степь. Первую переселенцы предприняли еще после отмены крепостного права, но освоение Степи закончилось неудачей. Вторая попытка состоялась уже при советской власти, когда Степь пытались превратить в житницу руками самих казахов-кочевников, когда, переломив через колено, власти решили в корне поменять тысячелетний уклад степняков, и миллионы голов скота пошли под нож, а в Кустанае спуск к лугам Тобола был красным от крови из живодерен. И черные, страшные, превращенные в живые скелеты степняки становились на колени и лизали пахнущую кровью землю.

В третий раз в освоении пустующих земель участвовали спецпоселенцы. Корейцы, поляки, немцы. Немцы – рачительные хозяйственники: по замыслу коммунистической партии надо было просто привезти их сюда, а остальное они сделают сами. Сумели же они оживить Поволжье и юго-восток Украины. Но ничего не получилось. Распаханных полей стало чуть больше,

но кладбищ – еще больше. Полмиллиона пропавших в ее просторах немцев Степь даже не заметила.

Началом четвертой попытки можно считать тот момент, когда на стол Никиты Сергеевича Хрущева, Генерального секретаря КПСС, поочередно легли две докладные записки: от министра сельского хозяйства РСФСР Лобанова и министра сельского хозяйства СССР Бенедиктова. В обеих записках предлагалось увеличить производство зерна за счет распашки целинных земель, лугов и пастбищ. Результатом этого предложения мог стать дополнительный сбор зерновых в 8–9 миллионов тонн, а через пятилетку и все 14–16 миллионов.

Прямо так и представлялось желтое, как золото, крепкое зерно, горы зерна, облака пыли над элеваторами. 22 января 1954 года Никита Сергеевич внес на рассмотрение Пленума ЦК собственную записку о распашке целинных земель, где ожидаемый результат был уже чуть больше, а сроки исполнения меньше.

С тех пор и зазвучало по всему Советскому Союзу манящее слово «целина». Это слово звучало на всех комсомольских собраниях, на кафедрах вузов, в армейских курилках, среди шоферов автобаз, желающих поехать за длинным рублем, в стихах поэтов, зовущих молодежь к трудовому подвигу, на «малинах» среди уголовников, мечтающих свалить туда, где их не знает милиция. Другие просто хотели завязать узелком свою непутевую судьбу, изменив ее сменой обстановки.

Это слово прыгало по страницам всех газет, звучало воодушевляющими песнями из динамиков. Все, кто хотел заработать, кто не нашел себя в послевоенном мире,

кто устал от рутины, от жены, от предсказуемости будущего, кто мечтал о романтике, каждый день проходя одним и тем же путем от подъезда до проходной фабрики, где даже мусор валялся всегда на одних и тех же местах, – всех их манило слово «целина».

«Целинник» звучало как «герой». Решение, как когда-то идти добровольцем на фронт, часто принималось мгновенно. Выходил человек покурить вечером во двор, за спиной в светящемся окне кухни было видно, как жена в бигуди с раздражением швыряет тарелки и сковородки в раковину, а над головой, если посмотреть вверх, простиралось бескрайнее небо и звезды. Летел окурок на землю красной искоркой, и в душе рождалось твердое, бесповоротное: «Еду!».

В газетах писали: «Надо накормить народ!». И это тоже действовало. Хотелось внести свою лепту.

Далеко не все на Пленуме ЦК поддержали предложение Никиты Сергеевича. Нашлись и те, кто предлагал не тратить бюджет страны на заведомую авантюру, а перенаправить ресурсы на восстановление старопахотных земель в разоренных войной хозяйствах. Там была хоть какая-то инфраструктура: дороги и железнодорожные пути, недорогая логистика. А то сгниют миллионы тонн, так и не добравшись по одной ветке до перерабатывающих предприятий. Но Хрущев настоял.

Это потом в народе из него сделали карикатурного недалекого толстячка, стучащего туфлей по трибуне ООН. Все, кто его знал лично, говорили, что это он оставался сгустком энергии с крутым нравом. Багровел, когда встречал сопротивление. Ноздри раздувались.

Не в пример маршалам, в войну он ничем себя не проявил, а побед ему хотелось. И поддавшись его напору, пленум принял положительное решение. План по освоению целины материализовался в сотни тысяч добровольцев, отправляющихся в Степь по комсомольским путевкам, в 120 000 тракторов, в 10 000 новеньких комбайнов и 100 000 автомашин. Это только в 1954 году.

Уже потом критики плана Хрущева говорили, что нельзя было начинать столь масштабную кампанию без хоть какой-то предварительной подготовки: при полном отсутствии дорог, зернохранилищ, ремонтных баз, квалифицированных кадров на всех уровнях. И что совершенно не принимались во внимание природные условия края. Многие специалисты помнили опыт поселенцев-земледельцев, приехавших на земли Казахстана в конце XIX века. Опыт состоял в том, что в первые годы целинная земля давала небывалые урожаи, а потом, вследствие непредсказуемости климата и эрозии почвы, урожай уже не покрывал затраченного на него труда. Степь забирала свое назад.

Но перед Хрущевым они молчали.

И поехали на целину бесконечные эшелоны.

Люди в самом Казахстане меньше всего понимали, что происходит. Местные привыкли, что к ним гнали только спецпоселенцев, чтобы они исчезали здесь, как тени, а тут в Степь валом поехала шумная молодежь: студенты, комсомольцы. За первые годы целины население республики увеличилось на два миллиона – и это только тех, кто переехал сюда на постоянное место жительства. А еще командированные, солдаты, вахтовики, просто искатели романтики. Забытые всеми села, такие как Березовка, на-

воднились людьми. Гармонист-виртуоз Толя Грай теперь просто терялся от количества народа, приходившего на танцы. Повсюду в березовых рощах стояли вагончики.

Как-то после заката жители соседнего села в ужасе высыпали из своих домов. Вокруг стоял рев, в глаза били фары. 24 трактора Д-54, двигатели которых шумели, как танки, окружили село. И в самом деле, среди трактористов было немало бывших фронтовиков-танкистов. Один из них высунулся из кабины и, улыбаясь белозубой улыбкой на фоне темного от грязи лица, крикнул:

– Братцы, у вас в селе баня есть? Помыться хотим.

– Нету бани, – пытались перекрыть шум испуганные местные. – В озере моемся.

Улыбающийся только рукой махнул, мол, что с вас взять, «деревня»; моторы взревели, и двадцать четыре трактора, светя фарами, поехали к озеру, гусеницами смешивая с землей аккуратные и ухоженные огороды корейцев.

Степь выворачивали наизнанку плугами.

2

Освоение целины на местах началось с организации совхозов – советских хозяйств. В Федоровском районе на базе хозяйствующего аула Коржунколь, преобразованного позднее в колхоз «Рассвет» (село Костычевка), сел Лесное, Озерное и Березовка был создан совхоз «Коржункольский».

Его название происходило от одноименного озера, которое переводилось на русский язык как «праздничный мешок с подарками для родственников невесты». Три

села стали отделениями нового хозяйства, а центральной усадьбой управлять назначили Василия Науменко – крутого нрава фронтовика из Донбасса, имеющего ордена Славы всех трех степеней. Приехав в Степь, живя в вагончике посреди березовой рощи, он подошел к делу как крепкий хозяйственник. В целинном совхозе появилось много рабочих мест, жить стало заметно лучше.

Целина на несколько десятков лет словно вдохнула жизнь в этот нищий край.

Ольга продолжала работать дояркой. Они поселились с Какаром в купленном саманном домике по соседству с Балмуканом, ее учителем на тракторе и к тому же оказавшимся дядей Бахчана, друга Какара по фронту. Все произошло, как мечталось Какару: свой дом, семья, ранетовые яблони во дворе. Корова, пара кур. И даже конь. О войне в доме не вспоминали, ордена остались лежать на самом дне комода – придет время, и ими будут играть дети. Лишь в один день в году, 9 Мая, Какар с утра тщательно брился, надевал парадную отутюженную гимнастерку с орденами и медалями, закладывал в сельском магазине трофейные швейцарские часы, подарок погибшего друга Трофима Ярчука, брал пару ящиков водки и собирал в березовой роще фронтовиков села, чтобы помянуть всех павших. И не везло тому, кто не воевал, но притирался к шумной компании, где щедро разливали водку в стаканы.

– А ты с какого фронта, браток? – спрашивал его кто-нибудь под шум голосов. – Не воевал? По здоровью? Ну, на, выпей за тех, кто вместо тебя с винтовками в атаки на танки ходил, пока ты здесь баб тискал. Выпей и иди себе на х..., пока цел...

В этот день фронтовики признавали только своих.

В январе 1950 года Ольга родила девочку, которую назвали Зинаидой. А через год после начала целины, в феврале, когда в доме было темно от сугробов, закрывающих низкие окна, родился сын Андрей. Какар, как любой отец-казах, был безмерно счастлив: родился продолжатель его крови, его рода. Потом, через 4,5 года, родится третий ребенок – девочка Софья.

Родной отец Какара Кенжегали, отбыв в лагерях и ссылках восемнадцать лет, в 1947 году вернулся в родные края. Он выжил. Перед переселением в Березовку, летом 1948 года, Какар съездил к нему в Тургайскую степь. Заранее договорился с водителем, за 250 рублей (почти половина месячной зарплаты) согласившимся отвезти его в поселок Амангельды, раньше носивший название Батбаккара. Он достал из сундука ордена и медали – ему казалось, что для отца это будет важно. Весь вечер оставался молчалив, но Ольга понимала, что он волнуется. Ехать предстояло около пятисот километров, поэтому выехали ночью.

После Аулиеколя пейзаж за окном машины изменился, стал ровным и пустым – голодная Степь Тургая. Именно такой она приходила во сны. Водитель что-то непрерывно говорил, а Какар не слышал, пытаюсь вспомнить лицо отца, матери, тети и дядьев. В памяти мелькали какие-то обрывки: запахи пропахшего конским потом чапана, крепкие жилистые руки, обветренные красной сыпью губы... Еще почему-то – потолок юрты с падающими в отверстие нетающими снежинками, но это было уже другое воспоминание. Смутно помнилось хмурое ноябрьское небо, белая Степь и похурые позы людей на повозках. Скрип колес...

Их увозили на верную смерть, большинство не вернулось, но отец выжил. Какар боялся, что увидит его и не будет знать, что делать дальше: что говорить, как себя вести. Не выдержит и заплачет, как беззвучно плакал когда-то в детдоме под одеялом. Он мечтал об этой встрече всю жизнь, пряча свои чувства за семью замками, а сейчас эти замки открывались. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее его начала бить дрожь.

Поселок Амангельды находился прямо у трассы – большой скотоводческий аул, районный центр, типичный для глубинки Великой Степи: глиняные домики, юрты, верблюды на улице. Зелень деревьев у колодцев. На административном здании издали виделся колышющийся на слабом ветру красный флаг.

На въезде на окраине, возле юрт, в тени дерева, стояло несколько казахов пожилого возраста.

– Остановись, – попросил водителя Какар. – Сейчас спрошу у них.

Выйдя из машины, он направился к группе людей. По мере приближения старики стали на него оборачиваться. Один из них, тот, что стоял скраю, чем-то притягивал взгляд. И когда он обернулся, сердце Какара бешено заколотилось, в груди не хватило воздуха.

Это был отец.

Какар узнал его на уровне подсознания, может, по смутно знакомой позе или по движению, повороту головы. Но это был он. Седой, высохший, с темным от загара, покрытым морщинами лицом Кенжегали стоял среди других таких же мужчин, но его невозможно было не узнать. За ним словно виднелись заборы: четырехметровые заборы из досок, заборы из проволоки, с инеем

на колючках, или просто невидимая черта линии открытия огня, обозначенная конвоиром на лесной делянке. Мерзлая баланда в алюминиевых мисках, сосед по нарам, который упал без сил и которого рвала здоровенная сытая овчарка, намереваясь добраться до горла.

Он стоял, а за ним виднелись восемнадцать лет барраков, душных тюремных камер на пересылках, тысячи неотправленных, написанных лишь в уме писем домой, в мертвый аул, и слез, которые не выходили наружу, проливаясь где-то внутри. Восемнадцать лет звериной тоски по семье, по сыну и борьбы за жизнь в мире, где формула выживания «Не верь, не бойся, не проси» написана сломанными судьбами и кровью.

Кенжегали посмотрел на приближающегося к ним прихрамывающего молодого человека с орденами на пиджаке, и его веки широко открылись.

Слово поднялось из глубины, забытое слово: в детстве Какар повторял его несчетное количество раз, а потом выгнал из памяти, и теперь оно поднималось со дна на поверхность, по пути становясь огромным, застревая в гортани. Губы Какара дрожали, прежде чем оно вырвалось наружу.

– Эке (рус. Отец)! – выдохнул он.

Они обнялись и долго стояли так на виду у остальных. Глаза обоих были зажмурены.

– Кахар... – шептал отец.

– Экесі меп баласы кездесті (рус. Отец с сыном встретились), – говорили между собой старики под тополем, они были потрясены.

И сын, инвалид без ноги, плакал, как ребенок, не стыдясь своих слез, как плакал когда-то в болотах под Москвой, когда их в живых осталось всего несколько десятков человек из всего полка.

В отце, несмотря на годы и испытания, чувствовалась та жажда жизни, которую хорошо знал Какар. После освобождения, в 62 года, Кенжегали женился, и у них с женой успело родиться пятеро детей. Он устроился работать табунщиком в колхоз. История с пастухом, сыном влиятельного бая Кадырова в Березовке, повторилась: раньше эти земли принадлежали отцу Кенжегали Молдрахмету. В 1955 году, как раз в тот год, когда у Какара и Ольги родился сын Андрей, первый внук Кенжегали, он, в 71 год работая старшим табунщиком, во время обучения молодой лошади упал и повредил позвоночник. Его парализовало.

Умер Молдрахметов Кенжегали 2 ноября 1955 года в опасном для казахов возрасте «Мушел».

По традиции, когда мужчина умирает, жена и дети должны находиться с ним в юрте, но плакать им нельзя. Мужчина уходит в иные миры, он должен уйти спокойно – не надо его тревожить рыданиями и причитаниями. Кенжегали умер спокойно, он сделал все, что хотел: увидел своего сына, которого младенцем был вынужден отдать своему бездетному брату, у него появилась семья, он умирал не в лагерном бараке или на заснеженной лесной делянке, где конвоиры оттащат его в сторону, а зэки, прежде чем он заоченеет, снимут с него телогрейку и сапоги. Он умер дома, в родном краю, среди семьи.

Его обмыли кусками белой чистой материи, которая потом закапывалась возле могилы, чтобы никто не нашел.

После похорон вдова на закате зажгла в юрте светильник и отворила в сумерках дверь, постелив возле входа кусок белой кошмы. Так она должна была делать сорок дней подряд: считалось, что в течение этого времени дух покойного может возвращаться домой. Пусть возвращается, его ждут, светильник горит в темноте, огоньком указывая путь...

По истечении траура с вдовы должны были снять траурные одежды, она по традиции должна была сопротивляться, но, когда снимали, с этого момента хозяином и наследником становился старший сын. Только не было у Кенжегали никакого земного наследства – чашек, подушек, табунов лошадей. Он оставил потомкам лишь память о себе.

– Сильный был человек мой отец, – сказал Какар Ольге после смерти Кенжегали. – Он думал, что я умер вместе со всеми в нашем ауле. Думал, что его никто не ждет. Ему дали десять лет лагерей, потом добавили еще пять, потом ссылка... Он не должен был вернуться. Но он вернулся. Потому что поклялся себе умереть на родной земле.

Какар хотел сказать, что его отец, как и он на фронте, душой понял слово «Родина». Он хотел добавить, что умом этого нельзя понять, только прочувствовать, но Ольга и так поняла.

Они легко понимали друг друга, внешне оставаясь полной противоположностью, – резкий на слово и на дело казах, воевавший с немцами четыре года, искалеченный на этой войне, и немка-меннонитка, депортированная с Украины, лишенная всех прав и юности.

Жизнь всегда причудливее любых вымыслов.

Шарлотта приняла Какара с поджатыми губами. Она категорично не одобряла выбора дочери.

По ее убеждениям, Ольга должна была хранить традиции общины, а не приводить в семью человека другой национальности и веры. И хоть здесь все жили сообща, помогая друг другу, и ментальность на первый взгляд казалась одна на всех – советская, но разделение всегда оставалось. В соседнем селе молодая чеченка сбежала от семьи и вышла замуж за украинца, зарегистрировав брак в ЗАГСе. Только ее родственникам было плевать на ЗАГС. Ночью, разобрав камышовую крышу дома, кто-то залез в комнату, где спали молодые, и зарезал их обоих на кровати. Милиция даже не стала разбираться.

С приездом огромной массы целинников сохранить свою идентичность стало еще труднее. Шарлотта кипела – еще в 47 году вернулся из Трудармии сын Андрей, и вместо того чтобы жениться на немке, которых сколько хочешь возле стенок на танцах, взял в жены молодую женщину из семьи ранних украинских поселенцев, которая к тому же уже побывала замужем и у которой имелась дочь по имени Тамара.

– Что сказал бы вам отец, если бы вернулся? – кричала Шарлотта на немецком языке непутевым детям, разрушающим, по ее мнению, тысячелетний уклад меннонитов, сохраненный во всех странах, где им приходилось жить.

Мало того, ее любимец, младший сын Герман, больше всех похожий на отца, скромный и красивый парень, тоже женился на украинке Нине Дудник, у кото-

рой тоже был ребенок. Шарлотта не любила невестку. Пару лет назад Нина встречалась с местным украинским парнем Гаврей, родила от него сына Шурика, затем Гаврю забрали в армию. А пока он служил, Нина закрутила с Германом. В результате Герман и Нина поженились, а Гавря, вернувшись с армии, забрал у Нины своего сына и взял себе в жены младшую сестру своей бывшей возлюбленной. Та с удовольствием пошла за него. Видно, соперничество у сестер шло еще с детства.

Шарлотта только вздыхала от запутанных сельских мелодрам. «Мальчики неискушенные, воспитанные в строгости и вере, – думала она. – А тут эти... опытные, побывавшие замужем, знающие, когда надо обнять, а когда заплакать...»

Время было такое – весеннее, радостное, невзирая на пору года: война закончилась, страна зализывала раны, пришла пора любви и рождения новых людей.

И Каролина вышла замуж, изгнав из памяти ненавистного Шандецкого, и тоже не за немца – за целинника, белоруса Терентия Ивановича Мазура. И даже Лидия, последняя надежда на сохранение традиций, тоже через время пошла в ЗАГС с целинником Виктором Евсиковым из подмосковного города Климовска. А когда сняли все запреты, уехала на его родину. Так что Ольга оставалась не одинока в выборе спутника жизни. Но тетья и невестки были хоть понятны, а тут казах – степная душа...

Остальные сыновья вернулись из Трудармии чуть позже Андрея. Они зажили своими домами. Александр встретился со своей женой Марией и четырьмя детьми: Германом, Владимиром, Лидией и младшей Фридой,

которой уже исполнилось 13 лет. У него было такое чувство, что после долгой разлуки ему приходилось заново знакомиться с семьей. О старшем сыне, увезенном в Германию, вспоминали с женой постоянно. Когда началась целина, Александр устроился работать учетчиком во второе отделение совхоза, куда входила Березовка.

Вернулись и Яков с женой Марией. Несчастливая женщина, отдавшая тело своего мертвого младенца конвоирам в поезде, получившая в Трудармии травму таза, и ее муж Яков, молчаливый мужчина, потерявший на Севере глаз. Они остались трогательной парой: их всегда видели вместе, по селу ходили под ручку, как ходят городские.

Пройдут годы, спецпоселенцам разрешат менять место жительства, и Яков с Марией переедут в Одесскую область, в маленькую украинскую деревушку. Яков останется работать почтальоном. Перед смертью Мария будет порываться поехать разыскать могилку их умершей в телячьем вагоне и незахороненной дочери и иногда станет находить ее во снах. А когда она умрет и немцам разрешат выезд из страны, Яков, одинокий, раздавленный судьбой, уедет в Германию и умрет там в приюте города Дортмунда.

В своем лице, вернувшись в Германию, он осуществит мечту многих поколений меннонитов, в XV веке покинувших родину, отправляясь в неизвестность с обозами, детьми, чугунными печками и кофемолками, с женами в белых чепчиках. Некоторые из этих чепчиков, пожелтевшие, полуистлевшие, до сих пор лежат в сундуках бабушек.

Программа освоения целины набирала обороты. В совхозах требовались механизаторы, строители, водители, а приезжали люди разных профессий, поэтому для приехавших открывались курсы востребованных специальностей. Шли на курсы и местные. Приезжали врачи, устраивались в больницы, делясь своим опытом, обучая местный персонал. Приезжали учителя, поднимая уровень образования в какой-нибудь сельской глинобитной школе, где раньше преподавала одна учительница на все классы. Общий уровень квалифицированных работников в республике вырос в разы.

Казалось, что и для детей спецпоселенцев тоже открываются новые возможности. Юридического запрета для обучения детей ссыльных никогда не существовало, высшее и среднее образование для них оставалось доступным, но... Но дело в том, что жили спецпоселенцы в основном в маленьких селах в Степи, а институты и техникумы находились в городах. Поехать туда, хотя бы для того чтобы подать документы, означало выезд за пределы своей комендатуры со всеми вытекающими последствиями. Еще несколько лет назад Марта, души не чаявшая в своем сыне Эдуарде, чтобы лучше подготовить его к школе, пошла с подругой за 12 километров в село Шишковку за школьными принадлежностями – там, по слухам, в магазине было лучше налажено снабжение. В Березовку они вернулись к утру, успели на работу, но кто-то донес в сельсовет, оттуда в комендатуру, и любимую всей семьей неунывающую певунью Марту закрыли на пять суток.

Марте повезло, что она не вышла за пределы района, иначе наказание было бы совсем другим.

Таким приговоры шили, как под копирку, – двадцать лет лагерей. Даже от судьи здесь ничего не зависело, судья в данном случае являлся не человеком, а функцией. И не просто лагерей – а Особлага, лагерей с особым режимом. Экибастуз, Джекказган – они располагались здесь, в Казахстане. Даже в 1954 году, когда Сталин умер, а Степь всю пахали трактора, туда продолжали отправлять поселенцев, покинувших свою территорию.

В женском лагере, называемом Песчаным, в местечке Чурбай-нуре, по слухам, находилось около 40 000 женщин. В основном те, кто в оккупацию, согласно расплывчатой судебной формулировке, «сотрудничал с фашистами». Под сотрудничество шло все: работа на немецкой кухне, где можно было разжиться картофельными отчистками, чтобы накормить детей, интимные встречи с солдатами и офицерами с голодухи, преподавание в школе в оккупации, где в классе висел обязательный портрет Гитлера.

Немки-спецпоселенки попадали туда же, в Песчаный лагерь, в мир зазеркалья кумачовых лозунгов. Там зэчки ели залетающих в зону летучих мышей, с костями и перепончатыми крыльями, а в лагерном клубе выступала для начальства знаменитая Герда Мурре – бывшая певица, примадонна Таллиннского театра, в войну певшая фашистам.

Приговор на двадцать лет Песчаного лагеря означал для родни женщины, что ее можно заживо отпевать и на фотографию вешать черную ленту. Женские ко-

лонны строили на работу, в рядах мат-перемат, и стояла какая-нибудь только что привезенная очередная немка, латышка, украинка, русская, поднимая глаза в небо в немом вопросе «За что?».

Марта отсидела свои пять суток, вернулась еще более худая, но мечты дать сыну образование не оставила. В 1955 году, когда для поселенцев сняли некоторые ограничения, в том числе и обязательную отметку в комендатуре, ее Эдик поступил в горный техникум. Все деньги, что Марта зарабатывала непосильным трудом, выдаивая вручную по тридцать коров три раза в день, пересылала ему, чтобы сынок был сыт и одет не хуже других в городе. Ученого сына Марта любила больше жизни, а он, отучившись, став большим начальником, иногда приезжая в Березовку на своем «Москвиче» вместе со своей франтоватой, в модной шляпке женой, стал стесняться своей малограмотной простой матери-доярки, и проезжая мимо ее дома, останавливался у ее брата Германа. Но святая Марта не обижалась на сына.

Все в селе удивлялись, но ничего не спрашивали.

Марта со своим простым, золотым сердцем, казалось, не замечала этого пренебрежения и после каждого приезда сына всем говорила:

– Сынок так занят, он большой начальник, от него зависят люди, ему даже зайти ко мне некогда. Но в следующий раз он зайдет обязательно, – и ждала...

Она так и умрет в одиночестве, брошенная и забытая своими детьми. Никто из них не приедет даже на ее похороны. Родни окажется много – родных нет.

Она не колеблясь пошла бы на двадцать лет в Песчаный лагерь, лишь бы сделать судьбу детей чуть-чуть лучше, а они это воспринимали как должное, как ее обязанность.

4

Летом жара, палящее солнце, пыль над Степью. Сбор урожая. Комбайны, идущие уступом, как когда-то танки на фронте, молотилки, реки зерна. Зерно виднелось повсюду вдоль дорог, желтой лентой обозначая обочины: груженные машины шли без тентов, теряя зерно на ухабах. Горами оно лежало в полях прямо на земле. Его некуда было девать. Возле куч сидели разжиревшие птицы. Весной вместо запланированных тринадцати миллионов гектаров засеяли восемнадцать, любого скептика целины можно было вывезти на машине в Степь и показать потрясающую картину – до горизонта во все стороны простираются золотистые пшеничные поля.

Урожай оказался необыкновенным, но пошли проблемы: зерно горело на токах, элеваторов не хватало, оставалось невозможным обсушить, сохранить урожай. Горы накрывали тентами огромных размеров, но зерно все равно гнило, его не успевали вывозить. Потом эти горы скидывали тракторами куда-нибудь в овраг, и люди, многие из которых приехали на целину по патриотическому подъему исполнить воззвание партии «дать стране хлеб», знающие, что в России колхознику платят за трудодень всего двести граммов зерна, а здесь его навалом, хватали за грудки бригадиров, ругались на повышенных голосах с директорами

совхозов и даже с секретарями райкомов, требуя вывезти зерно.

Но те не могли ничего сделать: не хватало ни дорог, ни транспорта, ни зернохранилищ.

Чтобы шоферу попасть на целину, ему оставалось лишь устроиться на автобазу в любом городке Советского Союза, и через три дня он уже получал подъемные, машину и ехал с машиной на железнодорожной платформе. Гнали солдат из автобатов, через месяц солдатики становились черными от загара, жили в полях в шатрах-палатках. Народу понаехало немерено, и все равно ничего нельзя было сделать из-за ограниченной пропускной способности проселочных грунтовок и железной дороги.

Получалось, что вся страна жила новостями целины, из каждого репродуктора, из каждого динамика в коммунальных квартирах лилась песня-гимн тех лет:

*«Мы пришли чуть свет
Друг за дружкой вслед.
Нам вручил путевки
Комсомольский комитет.
Едем мы, друзья, в дальние края...»*

А здесь, в Степи, под эту песню погибал труд этих самых героев-целинников.

Впрочем, Хрущев считал, что, несмотря на потери, выгоды все равно оказалось больше.

Обозначились и другие проблемы. Села захлебывались от нашествия людей. Местное МВД оказалось

не готово к такому наплыву и практически не контролировало ситуацию. Повсеместно вспыхивали коллективные драки между молодежью, приехавшей сюда из разных мест. С местными тоже дрались. Ехали ведь не только горящие сердцем комсомольцы, хватало и бывших зэков, и просто случайного лихого народа. Много преступлений происходило на железной дороге, по пути сюда и отсюда, вплоть до погромов на станциях, как это было с поездом из Армении. Драки возникали в основном из-за женщин.

Куда девались те времена, когда девушки простаивали на танцах, неизвестно для кого подкрашивая брови растворенным с мылом углем? Теперь в селах, где проживали целинники, на десять парней приходилась одна девушка. Некоторые жены местных давали повод, и в результате распадались семьи, пускались в ход ножи. Даже в ЦК понимали эту проблему.

В газете «Правда КПСС» было опубликовано обращение молодых целинниц совхоза «Мариновский» к девушкам всей страны с приглашением ехать на целину. Говорят, доходило до анекдотичных случаев: в один из совхозов из Ростова-на-Дону за длинным рублем приехало два десятка женщин легкого поведения, и в результате несколько дней полсовхоза не работало вообще. Тех женщин чуть ли не с боем забрала милиция, и под конвоем жриц любви отправили в родные края.

Другие женщины действительно приезжали в ответ на обращение в «Правде», некоторые преподаватели везли своих студенток-старшекурсниц, чтобы помогать людям в полях добывать хлеб для страны, а их палатки в первый же день окружали пьяные толпы. До-

ходило до изнасилований. Взмыленные милиционеры жили в машинах, постоянно мотаясь по вызовам. Они понимали, что теряют контроль.

То, что люди приезжали сюда по комсомольским путевкам и по идее должны были оставаться сознательными, положения не улучшало. Через несколько лет в Темиртау именно комсомольцы во главе с приехавшими по разнарядке уголовниками поднимут бунт из-за плохой воды – разнесут город, разгонят милицию, и бунт придется подавлять войсками. Много людей погибнет, кого-то расстреляют после, но и райком партии разгонят тоже.

Спасла осень. Когда у спящих в вагончиках по ночам начали примерзать волосы к доскам лежаков, основная часть целинников поехала домой. Армейские автобаты возвращались по местам своей дислокации. В Степи оставались лишь специалисты – механики, инженеры, многие из которых приехали с семьями и получили или построили дома, думая, что останутся здесь навсегда.

Осень в этих краях поначалу золотая, солнечная, с пронзительными запахами отживших трав и курлыканьем пролетающих в синеве журавлей. А потом грустная, ветреная, с первым снежком. Зимой, как всегда, снега по крыши, только чистили дороги уже тракторами. Заметенная Березовка приходила в себя после нашествия, постепенно возвращаясь к привычному ритму жизни до следующей весны. Спецпоселенцы ходили по расчищенным тропинкам на молитвенное собрание. У казахов на зимних пастбищах в юртах можно было заметить локтевую кость барана, привязанную на входе. Кость должна была защищать юрту от злых духов всю долгую зиму.

Старый морщинистый старик-казах с лицом цвета земли, до этого все лето наблюдающий пыль над Степью и рев тракторов, бесконечные вереницы машин с зерном, столь массивное вторжение земледельцев в земли пастухов – сынов Авеля, лишь качал головой. Для него, кочевника, было понятно: Степь сама знает, какой она хочет быть.

Ведь никто из руководства страны, специалистов, ученых не задался вопросом: почему в Казахстане в курганах-захоронениях, где найдены тысячи артефактов – золотые кольчуги, золотые изображения барсов, грифонов и коней, не найдено ни одной фигурки серпа, какие находили у шумеров, скифов или египтян – у любого народа, жившего земледелием?

Что-то происходило. Развенчивался культ Сталина. В воздухе чувствовались изменения. Ждалось – скорее бы. И не верилось... А затем как гром с ясного неба – чеченцы могут возвращаться на родину!

Они с ингушами изначально верили, что не оставит их Всевышний, вернет на землю предков, поэтому многие не обживались хозяйством, жили в жалких, убогих саклях, которые, казалось, толкни – повалятся. Возвращение чеченцев длилось несколько лет, но отъезд первых из них запомнился навсегда – такое это было зрелище...

В один из майских дней, когда березы на въезде в село шелестели на ветру молодой листвой, на краю

мусульманского кладбища собралась толпа мужчин в светлых одеждах. Чеченцы и казахи.

– Вы спасли нас и наших детей от голодной смерти. Приняли нас как братьев. Чеченцы этого вовек не забудут, – говорил казахским старейшинам белобородый чеченец-старик.

Несмотря на седые волосы, кожа на его лице оставалась гладкой и розовой от весеннего солнца, а черные глаза смотрелись крайне живыми и внимательными.

– Простите нас: за эти годы всякое между нами бывало. Жизнь есть жизнь, – говорил он за всех чеченцев. – Но наши семьи выжили благодаря вам. У нас есть старинные слова благодарности, и сейчас мы говорим их всем казахам... Дел рез хуьлд (рус. Да будет доволен тобою Аллах)!

– Дел рез хуьлд, – одним выдохом повторили вайнахи древнее, еще доисламское пожелание, считающееся высшим выражением признательности.

– Пусть Всевышний даст вам легкую дорогу домой, – звучало в ответ от казахов.

Казахи и чеченцы обнялись, совершили молитвы, а затем горцы принялись выкапывать из могил останки своих родственников, умерших здесь за все тринадцать лет ссылки.

Припекало солнце, лопаты откидывали в сторону слежавшуюся землю, мужчины с непроницаемыми лицами работали молча, и было в этом что-то древнее, тайное, непонятное современному цивилизованному человеку. Когда докапывали до кусков полуист-

левшего савана, осторожно выгребали землю руками. Чеченцы не оставляли Степи ничего. Они забирали с собой останки своих близких, чтобы перехоронить их на родине, чтобы их кости упокоились где-нибудь на маленьком семейном кладбище за родным аулом: где предки, где горы и туман, где грохочет река, а над могилой необъятное чеченское небо с точкой парящего орла.

Выкопанные тела заворачивали в ковры, возле кладбища уже ждала нанятая полуторка. А дальше станция Джаркуль и общий вагон с пересадками, где останки в коврах будут лежать на верхних полках, а попутчики недоуменно или возмущенно коситься на молчаливых мужчин, одетых в черное, сопровождающих необычный груз. Старики-чеченцы знали: жизнь земная, она как сон, пройдет – и нет ее, а воля предков – это вопросы вечности.

В первый год после указа из Казахстана уехало около 140 000 вайнахов, примерно треть от общего числа выселенных. Дома их ждали проблемы, их селения давно обжиты чужими людьми, в домах чеченцев проживали иные люди, которых в свою очередь тоже принудительно выселили на чеченскую землю. Начались конфликты... Но это было уже вторично – главное, они возвращались домой.

В Березовке на какое-то время чеченцев и ингушей осталось всего несколько семей.

Детям все равно, какого ты вероисповедания, национальности или социального положения. Важно лишь, какого ты духа.

Трус ты или нет, жаден, завистлив или поделишься куском хлеба пополам и еще будешь радоваться, словно это тебе самому этот кусок отломали? Верен ли ты в дружбе или ты – как вода, которая течет, куда ей проще, на которую нельзя опереться? Мир детей предельно прост, они не признают оттенков и полутонов.

На улице, где жили Какар и Ольга, среди прочих детей выделялись два мальчика по 11–12 лет. Неразлучные друзья: чеченец по имени Муса и немец Эвальд. Худощавые, стриженные под машинку, босоногие, одетые в одни трусы, загорелые до черноты, как и все дети в селе. Вместе они дрались с другими мальчишками, вместе ловили карасей, бегали в степь в поисках сусличьих нор, играли в чику или пристенок медными монетами. Два друга не разлей вода.

У Мусы был родственник – Асламбек, их ровесник. Как-то в переулке Эвальд и Асламбек принялись бороться, и борьба, как это часто бывает, быстро переросла в ребячью драку. Эвальд повалил Асламбека, сел на него сверху и начал молотить кулаками. Муса остался стоять в стороне, не вмешиваясь: один из сопящих на земле мальчишек являлся его братом по крови, второй – братом по духу.

Чуть подальше, в тени дерева, у забора на лавочке, сидел старик-чеченец, одетый в старую черкеску. Его руки опирались на клюку. Старик выцветшими глазами какое-то время наблюдал за дракой мальчишек, беззвучно шевеля губами, а затем коротко и гортанно что-то сказал Мусе.

Муса вздрогнул, поменялся лицом. Медленно, как заворуженный, поднял подвернувшийся камень и, подойдя

со спины к сидящему на Асламбеке Эвальду, ударил его камнем по голове. Друга своего. При этом на его глаза вернулись слезы. Бил и плакал. Слезы означали, что он не хочет этого делать всей своей душой, камень в руке – что он не смеет пойти против старших и нарушить многовековые традиции, где родная кровь и тейп превыше всего на свете, даже такой дружбы, которая у него была.

Старик ушел, опираясь на клюку за свою калитку. Он ушел, а за ним в воздухе словно осталась висеть невидимая тень древних неписаных законов, та самая тень, которая незримо ощущалась в комнате зарезанных ножом молодоженов – чеченской девушки и украинского паренька.

Эвальд, зажимая рукой рану, поднялся и молча смотрел на Мусу. Он не верил, что это сделал друг. А Муса, стараясь не оглядываться на друга, пошел с Асламбеком домой. Тем днем дружба закончилась. Рана на голове Эвальда покрылась коркой и зажила, обида Асламбека сошла на нет, а дружба не вернулась. Они продолжали жить рядом, но при встречах избегали смотреть друг другу в глаза. Предательский удар все перечеркнул.

Много лет спустя, когда и страны СССР уже не будет, во время первой чеченской войны в плен попадут два солдата-срочника – один казах из Челябинска, второй немец из Свердловска, оказавшиеся в Российской армии в одной части. Волей судьбы родители через родственников обратятся к давно ставшему взрослым Эвальду. Он найдет нужные номера, и спустя более тридцати лет в телефонной трубке Муса, по словам знакомых, являющийся одним из полевых командиров, услышит голос из далекого прошлого.

Разговор будет предельно коротким.

– Здравствуй, Муса. Это Эвальд. Мы жили по соседству в Березовке, помнишь?

В трубке длинное-длинное молчание. В мембране шорохи и потрескивания. Потом:

– Салам, Эвальд. Что случилось?

В нескольких словах Эвальд объяснит ситуацию:

– Два пацана в плену, где-то под Бамутом, если можешь, помоги.

В трубке опять молчание. Затем:

– Давай данные.

И все... словно не было в далеком прошлом доверительных и долгих разговоров там, в Степи, какие бывают только между самыми близкими друзьями, словно один другому не кричал по утрам в окошко: «Выходи на улицу!» – и впереди не было бесконечно долгих летних дней, когда, накупавшись в илистом озере вместе с коврами, друзья лежали на земле рядом друг с другом, соприкасаясь локтями, жуя травинки, бездумно смотря в чистое высокое небо.

Надо знать Чечню 1996 года, чтобы понимать сложность этой просьбы, если пленные не у тебя в подвале... Найти тех солдатиков, договориться с отрядом, что их взял и считает своей добычей, а отношения внутри Чечни между командирами очень непростые... Тем более что один из пленных – казах, а значит, мусульманин, а воюющих против них мусульман чеченцы обычно расстреливали.

А если они еще и под Бамутом... Бамут блокирован, в осаде, попробуй вытащи их...

Но Муса все сделал быстро и как надо. Через три недели пленных солдат, накормленных, отмытых, переодетых в гражданскую одежду, перевезли в Ингушетию и передали Руслану Аушеву, Герою России, самому родившемуся и выросшему в Казахстане, а от него – Комитету солдатских матерей.

Эвальд и Муса больше не созванивались. Зачем мужчинам что-то говорить, когда все понятно без слов. Муса делом показал, что значила для него дружба, и слезами счастья неизвестных ему матерей рассчитался за тот удар камнем в детстве в селе Березовка.

Но это будет потом, в другом мире, где цена и ценник будут главнее ценности. А в тот майский день 1957 года мальчишки всего села: казахи, немцы, русские – провожали мальчишек-чеченцев так же, как и старики, обнимаясь друг с другом. А немцы-спецпоселенцы ходили, окрыленные надеждой: чеченцев и ингушей отпускают...

Может, и их скоро?

5

Небо потемнело. Дул сухой, привычный в этих местах, но сейчас он поднимал вместе с пылью слой распаханной земли, и буря стала черной. Вместо солнца чуть заметное пятно. Земля была повсюду – на зубах, на вырезанной узорами газете, украшавшей стол вместо скатерти, черным слоем она собиралась на подоконниках,

на комодах. За пылью не было видно тракторов в Степи. Шарлотта с утра вывесила на дворе постиранное постельное белье, простыни собирали на себя летящую темную пыль.

– Вот, затеяла стирку, – ругала себя Шарлотта, стараясь отвернуться от ветра, снимая непросохшее белье с веревки.

Набитые землей простыни – это еще не самое страшное, что принес с собой ветер. При суховее температура повышалась до сорока градусов в тени. Ветер дул ровно и сильно: для природы это был словно огромный дующий сутками фен. Повсеместно, по всему пространству голодной Степи, от Кустаная до Тургая, куда в погоне за валом тоже приехали трактора, суховея высушивал почву, губя урожай на корню.

Но это была еще не главная беда. Властвующие в Степи ветра сдували раскопанный верхний плодородный слой земли. Этот процесс назывался эрозией почвы. О процессе эрозии знали и академики в Москве, и любой пастух-кочевник в рваном чапане. В погоне за показателями, за званиями, за премиями целинники распахали огромные площади, и только ветрами было сдуто более 10 миллионов гектаров плодородного слоя, на котором росли травы и тюльпаны, которые своими корнями не давали земле носиться на ветру по Степи черными облаками. Степь ответила земледельцам с их планами, тракторами и комбайнами...

– Природа суховея еще недостаточно изучена, – говорил на съезде лицам, ответственным за освоение целины, пожилой ученый из Академии наук. –

По всей видимости, происходит нарушение вертикальной устойчивости воздушных масс, верхние слои как бы обрушиваются вниз и...

– Делать что? – прервал его один из членов комиссии.

– Делать?.. – академик снял очки и протер их носовым платком. – То же, что и предлагалось ранее. Агротехнические методы. Полезащитные полосы из лесопосадок, орошение почвы, севооборот, контурные вспашки... Иначе – постоянный процесс эрозии почвы, который будет расплзаться десятилетиями. Хорошо бы еще – травосеяние...

Ну что с ними говорить – с этими учеными?.. Травосеяние. Заново засеять миллионы освоенных гектаров травой? Поэтому решили: раз естественное плодородие нарушено – надо взбодрить землю химическими удобрениями. И тем самым убить последние водоемы с приемлемой водой...

Многие считают, что, если бы целину осваивали постепенно, следуя рекомендациям ученых, учитывая особенности края, результат был бы иным. Но история не знает сослагательного наклонения. Что произошло, то произошло. Два первых года с небывалым урожаем остались в прошлом, а дальше задули суховеи, процесс эрозии почвы стал необратимым, урожай, даже при применении химических удобрений, получался незначительным. А огромные разросшиеся совхозы оказались убыточными.

Не стало хлеба. В Березовке за хлебом выстраивались шумные очереди. Бывало, вспыхивали драки.

– Куда без очереди? Почему он три буханки берет, когда положено две? – и раз – по зубам так, что искры из глаз...

Целинники уезжали, от первых эшелонов к пятому урожаю оставались считанные семьи. В конечном итоге все вернется на исходную точку, пустыми останутся многие села, и школы закроются, и дороги придут в запустение, лишь останется дуть суховей по когда-то растревоженной Степи... Люди говорят, что все дело было в характере круглого, как шар, постоянно орущего Хрущева. Он мгновенно загорался, сметая все на своем пути, но при первых неудачах быстро остывал и пускал дело на самотек. Зерно стали покупать в США. А Хрущев после поездки в Америку, чтобы как-то сгладить провал с целиной, носился теперь с идеей засеять все пространство страны кукурузой, вплоть до Заполярья. Совхозы перешли на кукурузу.

До сих пор в научных кругах идут споры по оценке кампании по освоению целины. С одной стороны, Казахстану вливание огромных средств в республику позволило в разы улучшить инфраструктуру: построить новые города, заводы, вырастить квалифицированные кадры. Это считается безусловным прогрессом республики. С другой стороны, непродуманная распашка солончаков, пастбищ, земель в засушливых районах Казахстана привела к деградации почвы. В погоне за валом был нанесен непоправимый удар по кочевникам, которые потеряли свои земли для традиционного скотоводства.

– Кругом земли надуло, – бурчала Шарлотта, убираясь в доме. – Распахали все вокруг, а толку? За хлебом в магазине давка...

Невестка Нина помогала Шарлотте по дому. Шарлотте не нравилось, что Нина вносила в уклад семьи свои украинские порядки. Раньше детей воспитывали только на немецком: кухня была немецкой, на стенке молитвы на немецком, а сейчас пошли борщи с пампушками. Шарлотта изо всех сил пыталась сохранить дома остатки прежних меннонитских традиций, но эти традиции размывались, заменялись другими, оставалась только самоидентификация «мы немцы», хотя внешнее и ментальное различие с местными уже почти не замечалось.

В жизнь Шарлотты уместилось множество великих событий, в том числе и освоение целины – последняя масштабная кампания Советского Союза. Находящуюся вместе со своей семьей на острие глобальных изменений, ее волновали обычные житейские вопросы: с утра занять очередь за хлебом или пойти в магазин еще вечером? Что надо купить мыло, помыть внуков в цинковой ванне, полить огород и что спички в доме заканчиваются. Вокруг шла битва за урожай, губилась Степь для кочевников, строились новые города, а для нее это оставалось внешней суетой, а важно было заставить семью вечером прочесть молитву.

И еще послушать – что говорят об отмене поселений?

Все последние годы немцы жили надеждами на изменения. Слухи о смягчении режима спецпоселенцев начали ходить с конца войны: казалось бы, победили, даже Германия появилась новая – ГДР. Но ничего не произошло, наоборот, ужесточили сроки за оставление мест назначенного проживания.

Затем умер Сталин, партия признала перегибы, в 1955 году немцам выдали паспорта, разрешили не отмечаться, но привязку к комендатуре не отменили и спецпоселения не ликвидировали. СССР и ФРГ начали налаживать дипломатические отношения, готовилась встреча канцлера ФРГ Аденауэра с советской стороной в лице Булганина – как ждали немцы в Степи этой встречи!.. Газеты зачитывали до дыр. Каждый из поселенцев, в том числе и Шарлотта, и Каролина, и Марта, верил, что теперь режим точно будет отменен.

Но встреча произошла, советская сторона вняла просьбе канцлера и разрешила вернуться в Германию четырнадцати тысячам немцев, осужденных за военные преступления. А про спецпоселенцев даже и не вспомнили... Чеченцев вернули, ингушей вернули, всех вернули, а они, формально свободные, так и остались в Казахстане.

Правда, в том же 1955 году с режима спецпоселения было снято около 5 тысяч бывших членов КПСС – немцев, которые, как редактор Анхель Альбертович, сами устанавливали советскую власть: воевали в Гражданскую за новое светлое будущее. Впоследствии некоторые из них стали директорами колхозов, и, говорят, благодаря немецкой прагматичности, эти колхозы остались лучшими в округе. Но вряд ли они сохранили веру в любую идею, кроме Бога.

Надежды, надежды... Слухи, ходящие по кругу по селам. Вот-вот разрешат вернуться на прежнее место жительства... Вот-вот всех признают безвинно репрессированными... Вот-вот выдадут компенса-

цию за когда-то оставленные хозяйства. Вот-вот... Уже и отменили Особлаги, закрыли Песчаный лагерь, и возвращались оттуда женщины, сломленные, седые, разучившиеся плакать в свои тридцать лет. Поселенцы писали тысячи писем Председателю Совета Министров: «Когда уже? Когда же вы разберетесь, что мы невиновны?»

И целина уже прошла, как шторм, и совхозы начали потихоньку разваливаться. Березовка возвращалась к прежней патриархальной жизни – заметенная снегами зимой, а летом с черными пыльными бурями, с босоногими мальчишками, стайками бегающими к озеру. А все – вот-вот... Дезертиров отпустили по амнистии сразу после войны, тех немцев, кто совершал военные преступления, убивал, вешал, – тех отпустили, а здесь тишина. Высшее руководство партии приняло решение поэтапно ликвидировать спецпоселения. И все растянулось на годы. А хотелось только одного – услышать: «Вы ни в чем не виноваты, простите нас, если сможете».

Неподалеку от дома Шарлотты жил один парень, целинник по имени Миша. Фамилия забылась. Неплохой парень, веселый, работающий, скуластое лицо, серые честные глаза. Он приехал на целину по комсомольской путевке, работал сварщиком в подвижной колонне, а так как ремонтникам и на зиму хватало работы, он снял угол и остался в Березовке. Они с Германом дружили, и Миша часто заходил в их дом. Как-то он принес пиво, они с Германом сидели за столом, Шарлотта находилась рядом, как всегда, что-то делая по хозяйству. Была осень, на улице накрапывал мелкий дождь, стекая капельками по стеклу окна.

В какой-то момент Миша задержал взгляд на семейных фотографиях на стене. Его привлек снимок Генриха Кондратовича в военной форме царской армии.

– Отец. Умер в лагере, – коротко пояснил Герман.

Миша долго молчал, а затем неожиданно произнес.

– А я ведь срочную во внутренних войсках служил. В Днепропетровске. Конвоировал арестованных в воронке. На этап, на суд... В 53-м демобилизовался. Мы разных возили, и немцев тоже. Врагов народа. Так нам тогда говорили. И мы верили... До сих пор женщина одна из головы не идет – на суд ее из тюрьмы возили и обратно. Бледная такая, трясется... В воронке боксы есть, вместо двери решетка. И вот она мне через решетку какую-то бумажку протягивает, в глазах слезы: «Помогите». А я ей прикладом по пальцам с этой бумажкой... Враги разжалобить хотят – так нас учили. Ну в общем, она там в боксе рыдала, привезли ее в тюрьму, отдали тюремному конвою, а бумажка на полу осталась валяться. Поднял ее, а там адрес, куда записку отправить, и всего несколько слов: «Детки, я ни в чем не виновата». Я потом карточку этой женщины посмотрел – 58 статья с кучей пунктов... Расстрел...

Миша сделал глоток пива и, не поднимая глаз на Германа и Шарлотту, продолжил:

– И до сих пор себя корю – даже не за то, что прикладом ударил, а что записку не отправил: порвал и выкинул. Ну что мне стоило ее в конверт вложить и в ящик бросить?... Это было для нее самое важное – понимаешь? Чтобы детям сказать – невиновна она... Но нам говорили – враги!.. Еще мальчишкой слышал, что немцев де-

портировали, мол, шпионы и диверсанты. Значит, так оно и есть! И до приезда сюда продолжал так думать. И если бы мне пришлось вас сопровождать: и на землю бы клал, и наручники посильнее зажимал, и овчарками бы травил. Это сейчас все открылось – пишут, что столько людей безвинных осудили, расстреляли, сослали. А тогда мы ничего же не знали. Простите меня...

Миша с таким чувством сказал это «простите», словно в своем лице просил прощения за всю власть и все органы, как бы они ни назывались. Он сказал – спасибо ему.

Но от Шандецкого, который когда-то насильовал Каролину, от тех, кто расстрелял сына Николая на заре в тюремном дворике, от тех, кто выбивал зубы на допросах, кто волок за руки, за ноги на вахту умирающих от голода женщин в Песчаном лагере, и от тех, кто все это придумал, слова «простите» люди со сломанными судьбами так и не услышали.

6

Какар ушел из семьи в 1964 году. Незадолго перед этим от военкомата ему подарили машину «Запорожец» с ручным управлением – «инвалидку», как их называли в народе. Дети так и не поняли, что произошло. Папа собрал в машину немногие вещи и уехал к себе на родину, в Тургайскую степь. Ольга только сказала детям: «Отец так решил». И все.

Возвращаясь в памяти назад, можно вспомнить, что Какар часто покашливал. А в последнее время кашель

мучил его каждую ночь. Позже многое стало понятно. Верхушки его легких еще на фронте поразил туберкулез, потом очаги зарубцевались, но оказалось, что болезнь просто притворилась, что ушла, на самом деле оставшись вести свою незаметную разрушительную работу в организме. Пока организм жил на адреналине, зараза пряталась, а затем, с приходом спокойного ритма, резко себя проявила. При кашле в груди словно kloкотало, Какар стал быстро терять в весе. Изматывала постоянная слабость, бывало, он просыпался и с момента пробуждения сразу чувствовал себя полностью уставшим, словно и не спал вовсе.

В таком состоянии человеку хочется уединения, хочется забиться куда-нибудь в угол, лечь там и свернуться, как еж. Когда в мокроте кашля появились первые прожилки крови, без всяких врачей стало ясно – его время пришло. У него начинается распад легких, крайняя форма, а дома дети, их неокрепшим организмам туберкулез особенно страшен.

Все произошло как-то буднично. Мама молчала. Никакого трогательного прощания с семьей не запомнилось, Какар просто обнял по очереди и поцеловал каждого, сел в машину и уехал. И только потом детям стало понятно, что он уехал умирать.

Как-то в осеннее воскресенье возле дома Ольги остановилась грузовая машина. Водитель-дальнобойщик передал детям от отца какие-то подарки дочерям, сыну велосипед и сообщил, что Какар специально устроился работать на заправке на своей родине в поселке Амангельды, чтобы через шоферов держать связь с семьей. Какое-то время он через дальнобойщиков продолжал

передавать домой приветы, теплые слова и незамысловатые гостинцы. Все, что мог, он сделал, больше не осталось сил. Лишь потом детям стало понятно, что перед смертью человеку хочется побыть в одиночестве, наедине с небом. Не стоит его терзать причитаниями «На кого ты нас оставляешь?», он уже бессилён, он на пороге вечности, он передает заботу о семье небу.

Какар умер в 42 года – осенью 1965-го.

Перед смертью он успел сделать многое. Еще в первый день переезда в поселок Амангельды, бывший Батбаккара, земли его предков, он заехал на кладбище, где когда-то стоял мавзолей из красного кирпича, который потом разрушили земляки-большевики. На месте мавзолея остался только серый валун с чуть заметной арабской вязью «Здесь нашел пристанище МОЛДРАХ-МЕТ КАДЫРАЛИУЛЫ, совершивший хадж семь раз». Дедушка, молитвами которого их род не прервался.

Здесь же, в этих землях, лежали его предки, чьи имена он повторял, как молитву, скорчившись в траншее под бомбежкой:

– Жаугашты. Оразбай. Отебай. Байти. Есенбай. Кыдырали. Молдрахмет.

А теперь еще и его отец Кенжегали.

Какар погладил нагретый солнцем валун, но ничего не почувствовал.

Съездил он и в урочище Кен-Табан. Приехал под вечер, когда красное солнце Степи уходило на запад. В урочище ничего не осталось. На том месте, где стоял большой аул, когда-то наполненный жизнью, ржанием коней,

лаем собак, а потом заметенный снегом и вымерший, где в полумраке юрты поверх цветного узорчатого одеяла осталась лежать его родная мать Акжигит, одетая в свадебный наряд, теперь не было ничего, кроме увядающих в осени степных трав. Степь растворила аул в себе.

На душе было грустно и светло. Он заглушил машину, прошелся до кустарника, где когда-то обессиленным мальчишкой ломал ветки для очага, собрал дрова и, приблизительно выбрав место, где стояла их юрта, разжег костер, сев рядом на землю. Солнце уходило, небо на западе догорало красным, Степь накрывала ночь. По-осеннему пронзительно пахли умирающие травы. Огонь в костре, потрескивая, перебирался по веткам сухого карагача, отсвечивая на лице Какара мерцающими красноватыми тенями. Когда-то, возможно, на этом месте горел их родной очаг. Вокруг ночь, тьма и полная тишина.

А на небе, словно в ответ на маленький огонек костра внизу, загорались россыпями и светящейся пылью миллиарды звезд. Нигде на земле, кроме океана и пустыни, не увидеть такого бездонного неба, а с ним – близости Всевышнего. Наверное, поэтому вера в единого Бога пошла по миру из Сирийской пустыни.

Какар не мигая смотрел на пламя костра. Ему пригрезилось, что он умер давным-давно, еще мальчиком, в этой юрте, где через отверстие падали на золу очага натающие снежинки. А все остальное – и поход с Турсин через голодную Степь, и детдом, где он целыми днями все ждал маму, не отходя от окна, и страшное лицо войны, и нога его, оставшаяся в тазу в операционной палатке, и Ольга, и танцы, и прогулки по ночной Березовке, и дети – это лишь сон, долгий, последовательный, про-

должительный сон, который уместился в одно мгновение, когда он закрыл в юрте белые от инея ресницы...

Он просидел возле костра всю ночь, чувствуя себя единым со Степью: частью ее, как золотистый ковыль или как тот жук, которого он гонял пальцем по кошме в далеком детстве. Старики говорили, что, когда приходит время, не имеющая веса душа поднимается на небо, где светящаяся пыль звезд, тело становится землей, а слезы людей Степь-владычица собирает до последней слезинки и проливает на землю живительным дождем.

Он еще с фронта понял, что Родина – это не только теплые воспоминания детства, это нечто большее. Это сотни поколений предков, которые ложились в эту землю, сами становясь ею. Сама земля Степи, трава, тюльпаны – это и были они, растворенные в ней плотью. Земля звала к себе, давала силы до нее добраться, и он знал, что сейчас находился именно там, где должен.

Поднималась заря. Небо на востоке из черного стало фиолетовым, затем красным, затем бледнеющим оранжевым, пока не показался пылающий диск солнца, как и тысячи лет назад, встающий над Великой Степью – безжалостной и доброй, пустынной, суровой и родной землей отцов.

Глава 9

Старинные фотографии...

Вот казахская семья. Невысокий мужчина в круглой шапке, отороченной мехом, в овечьем тулупе. Шапка спадает ему почти на глаза. Темное лицо, черные усы, одна нога выдвинута вперед, словно он с вызовом хочет сделать шаг навстречу фотографу. Рядом жена слегка отворачивает лицо от камеры, ей суеверно кажется, что с каждым снимком душа человека понемногу расходуется, оставаясь частичкой на фотографической бумаге. А впереди мальчик – их сын, в чапане не по росту, один край завернут набок и стянут поясом. На голове шапка большого размера, он ее сдвинул на затылок, смотрит с вызовом в объектив. А позади них Степь, не вмещающаяся ни в одну фотографию, бескрайняя, соединенная на горизонте с небом.

Вот другая фотография. На ней большая семья: старуха в высоком белом кимешеке, мужчины, дети, невеста в свадебном наряде, в высоком саукеле, похожая на ту мертвую девушку необыкновенной красоты, когда-то лежащую среди расстрелянных людей на льду Тургая. Люди на снимках еще не знают, что скоро в Степь придут всадники в буденовках с большими красными звездами, а за ними, как в Апокалипсисе, будет следовать мор: братоубийственная война и повальный голод – Великий джут, еще более масштабный и страшный, чем на Украине, но малоизвестный миру, потому что письменных свидетельств очень мало, казахи традиционно опирались на устные предания.

Кочевники на снимках еще не знают, что у них впереди. Они счастливы: в казанах варится мясо, много

гостей – свадьба, подарки. И скачет наперегонки на жеребцах вокруг аула молодежь, поднимая пыль, устраивая гонки... Впереди у них война и мор.

...Сквозь кровь и пыль...

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль...

(А. Блок)

А вот другие снимки – тоже пожелтевшие, черно-белые. На фотографиях немецкие семьи Екатеринославского времени. Степные мужчины в костюмах, с усами, подбородки гладко выбриты, в карманах жилеток часы на цепочках. Женщины со строгими лицами, дети причесаны, в белых рубашках, неподвижно смотрят в объектив, с напряженным вниманием ждут, когда оттуда вылетит птичка.

И кажется, что эти два мира: дикая Степь, степная цивилизация со своим непонятным западным людям мировоззрением, и немцы в костюмах – совершенно несовместимы. Но их совместили. Дальше идут другие фотографии, меньшего размера, на них мужчины и женщины разных возрастов – испуганные, всклокоченные, казахи, немцы, русские и украинцы, все народности в анфас и профиль, приклеенные к картонным папкам дел, а на делах разными чернилами наискосок: «расстрелян», «расстреляна», «осуждена», «осужден», «умер в лагере».

А вот еще фотографии – вагоны, доски промеж открытых дверей, а за ними темная масса людей, платки, пиджаки и лица у всех одинаковые – ошеломленные, горе по железной дороге едет, невидимое для мира и страны...

Происходило великое – страна, разрушенная до основания, со сгоревшими на кострах иконами и мебельными

гарнитурами, сожженными в буржуйках, с обесцененными миллионами рублей на рынке за килограмм гнилой коноины или жмыха, с толпами беспризорников, с голодной Степью, где люди ели друг друга, затем со Второй мировой войной и миллионами погибших за шестьдесят лет своего существования – за одну человеческую жизнь – выросла в ведущую мировую индустриальную державу без всяких вливаний извне, за счет свечения самих людей, за счет их труда – добровольного и принудительного.

Так было. Где-то в камере бетонного подвала человеку отбивали сапогами селезенку, он корчился на полу и хватал воздух окровавленным ртом, где-то в глубоких снегах под полярным сиянием брел этап, и овчарки рвали отстающих, а где-то в парках играла музыка, кружились пары в вальсе на танцплощадках, пахла сирень, и на улицах было полно счастливых лиц. Люди влюблялись, радовались жизни, строили планы, молодежь шумела во дворах с гитарой, ехала на целину, на строительство горно-обогатительных комбинатов и гидроэлектростанций, и многие точно знали, зачем они родились, искренне веря, что живут в лучшей стране и строят самое светлое общество на земле и в истории.

Вот еще снимок – соединение несоединимого. На снимке сын Шарлотты Александр, потерявший в 1937-м отца и брата и своего первенца осенью 1941 года – это он уже после семи лет Трудармии, постаревший, но сохранивший степенную осанку, жмет руку соседу – казаху Чингинину, у которого отняли имущество и расстреляли в том же 1937 году отца, вынудив его сменить имя и отчество на русский лад. Зима, оба в тулупах, в валенках, на заднем плане пожелтевшего снимка – снег.

До революции отец Чингинина Айтжан считался зажиточным баем. С приходом красных его раскулачили, а в 1937 году осудили по контрреволюционной статье 58-10 и расстреляли. В этой статье имелся подпункт «Члены семьи». Обычно родственники по этому пункту получали десять лет лагерей плюс пять ссылки. Если их на следствии не делали соучастниками. Но двое сыновей Чингинина успели поменять родные фамилии и имена: младший Сансызбай взял фамилию матери, а старший Сарынжип Айтжанович, тот, что на фото, стал Сергеем Антоновичем. Во время войны он пошел на фронт, хорошо воевал, получил ранение. А после вернулся и поселился в Березовке, рядом со своим аулом. И все в округе знали, что это Сарынжип, сын бая Чингинина Айтжана. И никто на него не донес. Никто!

Он прожил в Березовке до спокойной старости. Может быть, конечно, сигналы все-таки поступали, но он перестал быть интересен для госбезопасности, и его дело затерялось у кого-нибудь в столе. Может быть и так...

Но ради веры в людей все-таки хотелось думать – никто не донес.

На этом снимке два друга: сын бая, врага народа, казах, мусульманин, бывший фронтовик Сергей Антонович Чингинин и спецпоселенец из немецкой раскулаченной и раскуроченной религиозной семьи Александр Рейзвих. Тоже сын врага народа, погибшего в сталинских лагерях. Совершенно разные по рождению, они имели одинаковое понятие добра и зла, что такое хорошо и что такое плохо.

А фотографировал их третий товарищ – коммунист и целинник, приехавший в Казахстан по зову партии

и оставшийся здесь навсегда. Разные и в то же время во многом одинаковые судьбы, соединенные вместе в один узор того великого и непростого времени.

Освоение целины стало последней масштабной кампанией Советского Союза. Позже были крупные стройки, которые пытались сделать комсомольскими, вроде Байкало-Амурской магистрали, но комсомольцев туда поехало минимальное количество, да и то не за идею – за рублем. Началась стагнация.

Советский Союз строился на убеждении, что нет ничего сильнее идеи. Но на условном Западе тоже это понимали. И поэтому, в противовес расплывающемуся по миру социализму, достали на свет учение Аристотеля о демократии, где философ в трактате «Политика» еще в 324 году до н. э. советовал делать упор на средний класс, а не на богатых и бедных. До идей социализма о демократии на Западе никто не вспоминал.

С 1920-х годов две идеи боролись, по сути являясь борьбой между коллективным и личным, и личное потихоньку побеждало. Это происходило постепенно – в умах. Советский Союз делал лучшие баллистические ракеты, космодромы и атомные станции, а люди хотели холодильник, который не гудит и не течет, добротную одежду, модную обувь, хорошие продукты в магазинах, телевизор, американские джинсы цвета индиго и болоньевые плащи, привозимые моряками. Западный мир постепенно становился желанным. Свой – нет.

Официальное разрешение самостоятельно менять место жительства немецкие спецпоселенцы получили только в 1972 году. И то с оговоркой – кроме мест проживания до выселения. О компенсации даже не заикнулись. И прощения никто не попросил.

Впрочем, уезжать немцы начали еще с семидесятых годов. Бывшие общинники грезили об Украине, благодатном крае с белой, в цвету, вишней, где прошло их детство. Списывались друг с другом, и в каком-то письме впервые обозначилось село Роцца Одесской области. Небольшое тихое село, плодородная земля, которая сама хочет рожать, виноградники и сливовые сады, зимой снег и дождик – никаких буранов. Первыми туда поехали сыновья Шарлотты Андрей со своей семьей и бездетные Яков с Марией. Затем к ним стали приезжать дети других братьев и сестер. В результате семья как бы разделилась. И когда прошло время, Шарлотта впервые в жизни добровольно, а не по принуждению отправилась в поездку – проведать своих детей, внуков и правнуков.

Первый раз за столь длинный срок она выехала за пределы района. В поезде, в общем вагоне, смотрела в окно. Когда их по этой дороге везли сюда, смотреть можно было только на стенку вагона или залезть к решетчатой отдушине под потолком, как делали дети. Она старалась отогнать те воспоминания, не тревожить себя, бездумно смотря на меняющийся за окном мир или отстраненно слушая разговоры попутчиков.

Но она видела, как изменилось время. В Челябинске в купе сели три женщины, по внешнему виду цыганки. Шумливые, в платках, с золотыми кольцами на всех пальцах, они расположились на нижних полках,

не обращая внимания на других попутчиков, разложив на столе еду, громко переговариваясь на своем языке. Одна – полная, чернобровая, с золотой цепочкой поверх кофты – что-то все время подсчитывала на бумажке. Как Шарлотта впоследствии поняла, все они были торговками, ездящими в Москву за товаром. Что-то незнакомое, чужое виделось Шарлотте в этих нагловатых женщинах. И молодежь по пути попадалась другая: парни с длинными волосами в расклеванных брюках и девушки в таких же брюках, почти не отличимые от парней. Из Березовки Шарлотте было не видно, как изменилась страна и как она стремительно меняется дальше.

В купе на нее посматривали с удивлением. С прямой осанкой, седая, с лицом, словно высеченным из камня до последней морщинки, неразговорчивая, она, казалось, пришла в купе из какого-то другого времени. Особенно когда по вечерам доставала из сумки старый потрепанный молитвослов на немецком языке и что-то шептала, продолжая смотреть в темнеющее окно.

Погостив у родни, Шарлотта вернулась в Березовку, оставаясь в доме младшего сына Германа.

Ольга после ухода Какара замуж больше не вышла. Растила детей, видя в них смысл жизни. По воскресеньям собирала их на молитвенное собрание. Она прожила недолго, ее первой из семьи похоронили на кладбище Березовки в 1975 году. Цветы, что после крещения неспешно уплывали по реке в неведомые страны, оказалось, приплыли на окраину кладбища у березового леса, в маленькое село, получившее название от белых берез.

А за ней ушла и Шарлотта, прожив долгие и трагические 90 лет, и стало два холмика, а позже к ним прибавился холмик Марты. Мать и дочери остались рядом.

Они ушли на небо, куда уходят люди, прожившие жизнь не для себя. Зимой кладбище заметают бураны, летом дуют суховеи, шелестит высохший ковыль... Тысячами лежат на кладбищах затерянных сел бывшие спецпоселенцы – немцы из далекой прошлой Германии: меннониты, лютеране и католики, – тоже ставшие частью Великой Степи.

А у их детей и внуков появились две Родины, как две стороны одной медали. Та, что внешняя, – Германия, а та, что к груди, к сердцу, – русская, украинская, поволжская, казахская Степь.

Во время процессов семидесятых годов, которые можно назвать «оставление целины», после оттока приехавших целинников и запустения совхозов Казахстану остался лишь «зерновой клин» между Ишимом и Тоболом – единственный участок, где план Хрущева сработал. В остальных местах Степь поглотила усилия людей.

Внешне стагнация страны почти никак себя не проявляла. Советский Союз казался нерушим. Все те же 22 копейки за булку хлеба в магазинах, рассчитанная на пятилетки экономика, все так же в казармах солдаты рассаживались на просмотр программы «Время» и молодежь в школах писала заявления на прием в комсомол. Все так же на оловянных и золотых рудниках Колымы трудились зэки. А с космодромов взлетали в космос ракеты. Но наиболее проникательные уже понимали, что личное победило, что идея коллективного

исчерпана, никто в нее не верит, а то самое горение людей, благодаря которому построилось великое государство, теперь лишь имитация.

Не цены на нефть или ошибки в плановой экономике разрушили страну – просто поменялись идеалы. Даже самая пламенная идея сама себя нести не может, ее несут люди, а люди – разные. Спились, умерли от ран и болезней многие фронтовики, оставшиеся инвалиды доживали свой век в закрытых домах, еще раньше ушли в прошлое герои революции; старшее поколение чиновников, которое раньше не щадило других, всю брало взятки; их дети брали взятки вдвойне. Не город-сад теперь строили – свое личное будущее. Это новое Шарлотта интуитивно почувствовала еще тогда, в поезде, глядя на молодежь и торговков, увешенных золотом. А Марта, прожившая 97 лет, рожденная в год начала Первой мировой войны, видевшая рождение страны, успела увидеть и то, как она рухнула.

В декабре 1986 года в Алма-Ате вспыхнули массовые волнения молодежи. Москва прислала нового руководителя вместо снятого Кунаева – казахи его не приняли. Митинги перешли в побоища, волнения перекинулись на другие города республики. По сути, беспорядки в Алма-Ате стали одним из первых протестов против диктата Москвы.

Гласность, принесенная человеком с родимым пятном на голове, позволила маркетологам от национализма выстроить в головах людей цепочку, объясняющую, кто виноват, что уровень жизни в республиках не такой, как в Америке. Началось с культа личности Сталина, а затем пошли параллели: КПСС – Москва – Россия

в целом – русские. Люди, отцы которых вместе ходили в атаки, которые сидели за одними партами в школе, со всей искренностью помогая друг другу, теперь на митингах превращались во врагов. Исполнялось евангельское пророчество об общем доме, построенном на песке без веры: «...И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».

Великое падение – с болью, с кровью, со старыми обидами. Никому не понятные ваучеры, попытка впихнуть плановую экономику в свободный рынок, в один день произошедшее обнищание людей, когда исчезли многолетние накопления на сберегательных книжках, когда народ ограбили напоследок, прежде чем развалить страну несколькими подписями.

Страна летела в пропасть вместе с личной жизнью.

И стоял в людском водовороте рынка-толкучки какой-нибудь аспирант НИИ, продавая за копейки книги из своей библиотеки – нечего ему было больше продавать. А дома его ждала жена, устраивая от безысходности истерики, потому что кастрюли пусты и нечем кормить детей. Жены становились любовницами более удачливых, уходили к ним, разрушались семьи, слабые люди спивались, катилась не учтенная статистикой волна самоубийств, люди штурмом брали магазины, а в них – голые полки, на которых лишь хозяйственное мыло пирамидками. Бывшие полковники шили детские игрушки – собачек из искусственной шерсти, продавали их на базарах, не умея встроиться в новую жизнь, торговую, с большими пестрыми полиэтиленовыми сумками, с растоптанной под ногами грязью рынков,

с коробками «Сникерсов» и «Марсов» – стеклянными бутылками, за которые продавали страну.

Талоны на макароны, талоны на крупу... У людей старшего поколения, таких как Марта, оставалось ощущение какой-то петли времени: они помнили, как все это уже было, когда начинался Советский Союз. Помогало лишь то, что деревни оставались на расстоянии от больших событий, спасало свое хозяйство: печка лучше центрального отопления, потому что автономна, и грабить ребята в кожаных куртках в деревню не ездят.

Но добрались и до деревни.

К началу девяностых годов в Казахстане оставалось много процветающих колхозов, таких как колхоз «30 лет Казахской ССР». Им руководил Герой Социалистического Труда Яков Геринг из семьи депортированных немцев, сын врага народа. Как говорят очевидцы, по сути Геринг создал опередивший свое время первый сельскохозяйственный кооператив. Инновационные системы мелиорации, стабильные урожаи, животноводство... В таких хозяйствах строились шикарные дома культуры, библиотеки, больницы с современными средствами диагностики, даже световые фонтаны, где бьющая вверх вода играла красочными цветами.

К директорам подобных колхозов поехали бритоголовые ребята в спортивных костюмах, затем представительные мужчины с галстуками; начинались какие-то сомнительные сделки, нерасчеты при реализации, кидки, бартер – натуральный обмен товарами. Долги росли как снежный ком. В результате колхозы банкротились, работники по полгода сидели без зарплаты, дома

культуры приобретали заброшенный вид, отключенные от света библиотеки закрывались навсегда, а в бетонной чаше пустого фонтана ветер гонял мусор. Кто отказывал ребятам с их схемами, тех закапывали ночью в Степи.

То же самое происходило и с предприятиями в городах. Пошла эпоха дикого рынка, на глазах обычные люди превращались в волков. Проходили залоговые аукционы, где сыновья и зятья партийных чиновников скупали разоренные заводы и хозяйства. Разворовывали страну. И упаковывал чемоданы бывший руководитель передового колхоза, совхоза, завода, собираясь в страну своих предков – Германию, потому что не оставалось у него больше нервов и сил противостоять беспределу – новое слово, пришедшее откуда-то из закоулков блатного мира.

Двести с лишним лет назад немцы выехали из Фатерланда – «Земли отцов» в поисках собственного рая на земле. К 1990-м годам им разрешили вернуться назад. Уехала с семьей Каролина, уехал любимый сын Шарлотты Герман с детьми после того, как похоронил в Березовке свою супругу Нину. Многие уехали навсегда.

Собирали чемоданы, волновались, готовили документы, с трепетом рассматривали карту Deutschland, уточняя, куда они поедут. Они не знали, что, вернувшись, окажутся для местных вторым, третьим сортом. Они в это не верили. Но оказалось, что это так. Язык, на котором они говорили, давно стал архаичным – их не понимали. Многих ожидала многолетняя бюрократическая волокита по признанию квалификации, подтверждению дипломов. Открытое или завуалиро-

ванное пренебрежение. Пенсии меньше, страховки меньше, чем коренным. Зарплата за одинаковую работу меньше. Местные немцы считали, что понаехавшие их объедают, бездельничают и живут за их налоги.

Те, кто приехал в девяностые, словно получили пощечину.

Труднее всего пришлось подросткам. В таком сложном возрасте их вырвали из привычной среды и поместили в среду, где они автоматически считались чужаками. Дети и подростки все воспринимают очень остро. Проблемы были не столько языковые – молодые схватывают быстро, сколько связанные с неприятием общества. Многие по этой причине встали на опасную дорогу, но оставшиеся выстояли и пошли дальше. И потом догнали и перегнали коренных сверстников.

В среде переселенцев осталась сильна советская позиция о важности воспитания и образования. Это стоило немалых сил и детям, и их родителям, многие из которых были вынуждены сменить профессии на менее престижные и менее оплачиваемые, чтобы дать детям возможность учиться на новом месте. И здесь прослеживается параллель с предками – они тоже смогли выстоять и стать лучше. Часто коренные задавали вопрос, почему для советских немцев так важно получить высшее образование. Им было сложно понять мотивацию, они не проходили школу жизни из поколения в поколение, где необходимо выстоять, не сломаться, дойти до цели – стать лучше.

Совсем плохо пришлось тем, кто приезжал с нулевым знанием немецкого языка, а таких было немало.

Люди впадали в депрессию, сожалели о переезде, у них появлялась озлобленность ввиду непонимания и зачастую нежелания изучать язык, правила, законы. Все это только отдаляло их от общей массы, и злоба их от этого только росла. Они делили приехавших с ними на «мы» и «они».

Но было много и тех, кто заново садился за парту, учил язык и получал новые профессии. И в этом у них тоже много общего со своими предками, которые были вынуждены переехать в Казахстан и начать жизнь заново. Коренное общество совсем не стремилось принять приезжих в свои объятия. Приезжих называли «русскими», и старшее поколение возмущалось – ведь они ехали к своим, а тут оказались чужими. С годами, конечно, эмоции улеглись, но в разговорах по-прежнему присутствует эта тема – «они» и «мы».

...В 2000 году в городе Дортмунде, где умер в приюте дядя Яков, в маленьком магазинчике стояла пара пожилых людей – мужчина и женщина. По внешнему виду их можно сразу было определить, как «русских».

Немка-продавщица, где-то под пятьдесят, крашеная под блондинку, со взбитой челкой, сильно загоревшая в солярии, отчего морщины на ее лице проступили более явственно, услышав, как мужчина и женщина попросили какой-то товар на архаичном немецком, сквозь зубы бросила напарнице: “Sie sind keine Deutshen” (рус. Они не немцы), всем своим видом показывая пренебрежение.

Мужчина и женщина слышали это постоянно. Когда-то их еще детьми забирали прямо из эшелона к себе

в юрты казахские семьи. Обогревали, кормили, одедали. И это делалось с уважением, с радостью, как будто казахи заботились о собственных детях. Они так стремились сюда, но здесь стало ясно, что иной крови, иной веры казахи-степняки на деле оказались им роднее, добрее, чем эта крашенная немка с искусственно загоревшим в солярии лицом.

В Первую мировую за то, что немец, били насмерть толпой. В Гражданскую за то, что немец, рубили шашками махновцы, а красные забирали в ЧК. Пытали, считали шпионами и вредителями, расстреливали, отправляли в северные лагеря – потому что немец... Депортировали, отправляли в Трудармию, давали по двадцать лет за оставление места проживания, женщины заживо гнили в Песчаном лагере, где каждая зэчка могла забрать у них пайку, опять же – за то, что немка.

Но всего этого вместе и по отдельности можно было избежать с необыкновенной легкостью, просто поменяв в метриках фамилию на русскую или украинскую и указав иную национальность. И все...

Но они этого не сделали. Их отцы и матери этого не сделали. Не отреклись. Потому что было в этом что-то очень важное...

Но что скажешь этой продавщице?.. Она и слов таких не знает.

Супруги переглянулись и пошли в другой такой же магазин...

Эпилог

Тысячелетиями Степь живет своей жизнью. На севере проходит граница лесов, там же проходит граница Черноземья. Южнее только бескрайняя Степь – травы и солончаки. Живительной влаги недостаточно.

По легенде, давным-давно в Степи в одном кочевом племени родился мальчик с золотым хохолком, которого назвали Тологай. Мальчик обладал необыкновенной силой – батыр. Он спросил у мудрого аксакала Дана, почему в Степи всегда засуха. «Потому что у нас нет гор, на которых бы останавливались тучи», – ответил ему старик. И тогда Тологай пошел к горному хребту Алатау, чтобы взять одну гору на плечи и принести ее в родную Степь. Он обратился с просьбой к горам, и горы положили ему на плечи одну маленькую гору – в те времена ветра и горы еще слушали людей.

У Тологая хватило сил донести гору до родного края, но потом он упал и заснул, а она его придавила своей тяжестью. Он и поныне лежит под этой горой. Но на одной горе тучи не останавливаются... Не по силам людям изменить Степь.

Весной цветущая яркими красками, как наряды у девушек-казашек, зимой блестящая от льда, она не изменится, когда и тени наших дел не останется на земле. Великая Степь стала гигантским полотном, на котором разными нитями был вышит узор, соединяющий в себе судьбы многих народов и каждого человека в отдельности – всех, кто был собран здесь по своей и по чужой воле.

Соединенное разноцветье нитей этого узора пошло дальше, в другие времена, в другие страны, но это уже иная история. Люди уезжали, но каждый в своем сердце увез кусочек Степи с собой.

Из письма Дины Геберт (Dina Gebert), уехавшей из Березовки в двухтысячные:

«...Ежегодно мой сын, будучи ребенком, возвращаясь с каникул из Казахстана в Германию, горько плакал и задавал один и тот же вопрос: ну почему мы отсюда уехали? И начиная с сентября по август он отсчитывал месяцы и дни, чтобы снова вернуться туда... туда, откуда когда-то уехала я... “Почему?” – спрашивал он... “Почему?” – спрашивала и моя маленькая племянница, которая уже несколько лет прожила в Германии и которой я показывала места, где я выросла.

С малых лет я задавалась вопросом – кто я и чья я? Очень сложно определиться, имея такое мультинациональное происхождение, когда ты растешь в многонациональной культуре. Ты вроде бы чувствуешь себя всеми по чуть-чуть одновременно. Когда я рассказываю в Германии, что с детства в моем доме праздновали два раза Рождество и Пасху, они очень удивляются. Я знаю молитву на немецком не из учебника, а от бабушки, я знаю русские народные песни не из телевизора, а потому что мне их пела в детстве русская мама. Но в это же время я выросла там, где едят бешбармак и баурсаки, на полу и руками. И это мне тоже очень близко.

А звуки домбры... А Степь – ведь я больше не видела нигде такого. А мой любимый казахстанский ветер... Как же я здесь скучаю по всему этому! Когда приезжаю

домой, всегда ухожу в Степь, одна... Там только я и ветер. И это мое родное! Если меня спросить, по чему я скучаю в Казахстане, я отвечу – по детству, по родителям и по Степи... Кто же я? Мой казахский прадед расстрелян безвинно, мой немецкий прадед сидел за то, что захотел вернуться к родным, мой русский дед воевал против фашистов.

Кто я?

Я задавала этот вопрос своему взрослому сыну, который вырос в Германии. Кем ты себя чувствуешь? И точного ответа он мне не дал. Он знает и любит Людмилу Зыкину, он смотрит со мной казахский фильм и берет себе в сети никнэйм на казахском: Каскыр.

Он поет со своей немецкой прабабушкой песни на немецком. Кто мы?.. Возможно, это и неважно: важно знать, откуда мы и кто наши предки, сохранять эти знания и идти с ними дальше.

С первого класса я старалась поставить своего сына на правильные рельсы. Были моменты, где и мне начало казаться, что где-то ему ставят палки в колеса, потому что он другой. Хотя надо отметить, что учителя (не националисты) всегда поддерживали и хвалили его знание русского. Но мы выстояли. МЫ. Потому что были разные случаи, где я приводила ему в пример предков, которые выстояли и дошли.

Мне было очень важно, чтобы он говорил со мной на одном языке, чтобы мы могли обсуждать любые вопросы. Я выросла на русском языке, и мне было важно, чтобы он говорил на нем. Важно было и то, что он мог понимать моих родителей. Он научился позже и читать на нем.

В последние годы я заметила странную (для меня) тенденцию среди молодежи, родившейся или выросшей здесь, в семьях переселенцев. Многие начинают делить общество на “они” и “мы”. “Мы и немцы”, – говорят они. Они болеют в спорте за Россию, они слушают русскую музыку, хотя родились здесь. Они хотят научиться хотя бы понимать русский язык. Возможно, это идет из семьи, и это, безусловно, неплохо. Но я задаюсь вопросом: а будут ли мои внуки считать себя немцами? Я не знаю, как правильно. Мне кажется, важно только одно – знать и помнить, кто ты и откуда пришел.

Как поется в одной популярной песне: “Не забывай свои корни – помни!”

И тогда будет легче идти дальше.

А в общем:

“Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже

Нужны – как в русской бане лыжи”.

(В. С. Высоцкий)

На вопрос моего сына, почему мы уехали, спустя много лет он ответил себе сам, став взрослым, увидев и сравнив реалии. Но он очень любит этот край, где он родился, хоть и не помнит этого и всегда уезжает со слезами на глазах. У него есть там друзья детства, с которыми он ждет встречи каждый год, а самое главное, там есть его родные люди, и он чувствует их безграничную любовь. Что важно мне – он знает свои корни, ему важно мнение его родных, и оно является для него авторитетным, где бы он ни жил.

Сожалела ли я когда-то об отъезде? Нет. Мои казахские гены кочевников дают здесь знать о себе. Мои

впечатления от переезда, от переселения такие же разноцветные и имеют разную форму, как казахское “курпеше”. Одно я знаю точно: я закалилась как человек, я стала взрослой и самостоятельной именно здесь. Не всегда это проходило легко и просто, но – тем интереснее. Но мне все так же не хватает самых простых вещей, от которых щемит где-то там, глубоко... Мне по-прежнему, проснувшись в воскресное утро, хочется выйти на кухню к родителям, попить правильного из узорчатых кисушек чая, поболтать с ними о том о сем или просто посидеть молча у родного окна...

Мне по-прежнему хочется побежать в Степь и, лежа на земле, разглядывать пробивающиеся лучи солнца сквозь купол туч, представляя, что я в юрте... и чтобы мой любимый ветер завывал, наполняя меня своей силой...»

...С 1950 по 2020 год в Германию возвратилось более 4,5 миллиона немецких переселенцев, в том числе из Казахстана, Киргизии, России и с Украины пришло более 1 миллиона 450 тысяч Russlanddeutsche – русских этнических немцев. Они все, конечно, так или иначе встроились в слаженное, организованное, благополучное немецкое общество. Но многим из них будет не хватать малой родины, которую они покинули, как и родине не будет хватать своих уехавших навсегда немецких детей.

Содержание

Часть первая. Кахар.....	6
Глава 1	6
Глава 2	59
Глава 3	110
Часть вторая. Земля обетованная.....	135
Глава 4	135
Глава 5	182
Глава 6	217
Глава 7	240
Часть третья. Целина. Исход.....	299
Глава 8	299
Глава 9	339
Эпилог	354

Литературно-художественное издание

Рейзвих Андрей Кокарович

Степь

Историческая повесть

16+

Ответственный за выпуск *Е. С. Патей*
Компьютерная верстка *О. Н. Воробьева*
Корректоры *К. Ю. Литвиненко, Н. В. Козырева*

Подписано в печать 19.11.2021. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 19,8. Уч.-изд. л. 11,6.
Тираж 2000 экз. Заказ 20121.

Издатель и полиграфическое исполнение:
общество с ограниченной ответственностью «Колорград».
Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных
изданий № 1/471 от 28.07.2015.

Пер. Велосипедный, 5-904, 220033, Минск.
+375 17 361 91 40
post@segment.by
segment.by



Андрей Рейзвих родился в 1955 году в с. Берёзовка Кустанайской области в семье казаха, участника Великой Отечественной войны, и российской немки, депортированной с Украины в казахские степи в 1941 году.

Окончил сельскохозяйственный институт, служил в Советской армии в «королевских» войсках – стройбате.

Живет и работает в Мурманской области.

Выпустил сборник стихов и научно-популярное издание.

ISBN 978-985-896-046-9



9 789858 960469

